# Григорий Канович

# Парк евреев



*Издательский текст http://www.litres.ru/pages/biblio\_book/?art=158673*

*«Избранные сочинения в пяти томах. Том 4»: Tyto alba; Вильнюс; 2014*

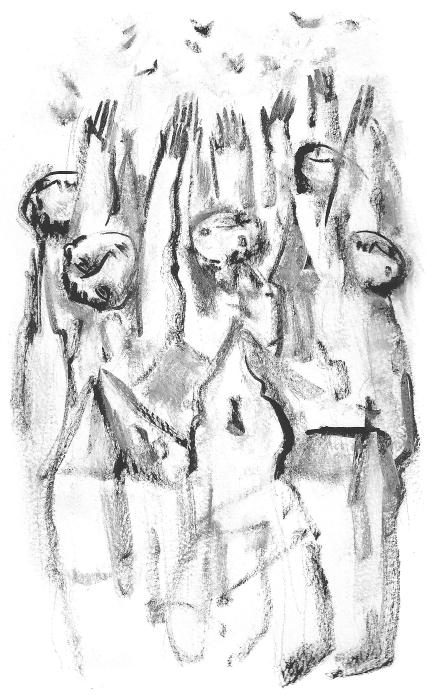
*ISBN 978‑9986‑16‑994‑9*

## Аннотация

Роман «Парк евреев» – рассказ о стариках‑евреях, на долю которых выпали такие тяжкие испытания, как война, концлагеря, гетто. Все они вместе как бы представляют собой сооруженный из слов памятник исчезнувшему восточно‑европейскому еврейству…

# Григорий Канович

# Парк евреев



## Глава первая

Ицхак всегда приходил туда первым. Не потому, что жил ближе всех к Бернардинскому саду, где все дни недели, кроме воскресенья, они собирались под старыми княжескими липами, бесшумно и благостно шелестевшими своими листьями, как ангельскими крыльями, а потому, что он, Ицхак, как служка Мейер, открывал их общую, раскинувшуюся под открытым небом молельню, в которой каждый из собиравшихся был и богомольцем, и раввином, и старцем, и юнцом. Служки Мейера давно не было в живых, но Ицхак неизменно вспоминал о нем с какой‑то тихой и благодарной грустью, с почти что греховной завистью: ему, мол, хорошо, он – там, у Божьего престола. Ицхак вспоминал Мейера чаще, чем своих родных братьев Айзика и Гилеля, расстрелянных в светлое, прозрачное, как подвенечное платье, утро, при самом въезде в местечко, в березовой рощице, сбегавшей с пригорка прямо к реке, к быстротечной таинственной Вилии, в которой он, Ицхак, неслух, любознательный, как только что родившийся козленок, дважды тонул: один раз весной, другой – в середине лета, но так и не утонул. Видно, суждено ему было распрощаться с миром не в воде, а на суше, хотя, как подумаешь, в воде было бы, пожалуй, и лучше – плывешь себе, как живой, кругом рыбы и водоросли, качаешься на волне, словно в люльке, плотва и уклейки подплывают к тебе, торкаются в твои бока, щекочут – благодать.

Если бы в те неразумные, благословенные, купельные времена ему, Ицхаку, безусому, долговязому юнцу кто‑то сказал: дотянешь, парень, до восьмидесяти пяти с гаком, дождешься дня, когда твои глаза потускнеют, как припрятанное скупцом серебро, и ты не сможешь отличить, где река, а где небо, где свет, а где тьма, интересно, что бы он такому предсказателю‑прорицателю ответил? Будь он, предсказатель, даже местечковым раввином Менделем, Ицхак ответил бы ему: «Вы с ума сошли, рабби! На кой черт мне восемьдесят пять несчастий, восемьдесят пять хомутов, которые натирают шею и которые ни на один день, ни на один час не скинешь?!»

Тогда, в те неразумные, проносившиеся над его юностью, подобно цыплячьему пуху, времена, Ицхак хотел жить столько, сколько птица – лишь бы летать, лишь бы щебетать с утра до вечера, лишь бы воспарять все выше и выше.

Он не хотел жить столько, сколько лошадь дяди Рахмиэля, занимавшегося извозом, – что за жизнь, когда тебя день‑деньской хлещут кнутом, хотя и кормят досыта, и стреноженную выпускают на лужайку?

Ицхак Малкин всегда приходил в Бернардинский сад, в эту молельню под липами, первым и потому, что мог какие‑нибудь четверть часа спокойно предаваться воспоминаниям – ему не докучали ненужными вопросами, он был один, как Бог, никого из посторонних вокруг не было, только он и листья, только он и небо, только он и растаявшая в утреннем тумане, изорванная в клочья его жизнь. Правда, никто из тех, кто приходил позже, чем он, не был посторонним, они были для него роднее родных. Да простит ему за такое кощунство Господь, но что толку в мертвых родственниках? Разлетелись в разные стороны и живые – кто в Америку, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в Германию, в ту самую Германию, где он, рядовой Красной армии Ицхак Малкин, встретил Победу и где почти что полгода, до самой демобилизации, обшивал полководцев‑победителей. Сидел у окна в расхищенном галантерейном магазине, тыкал иголкой в тяжелое неподатливое сукно, поглядывал на все еще чинных, но настороженных немцев, прогуливавшихся по улице, и вспоминал окопы под Прохоровкой и Алексеевкой. Ладно, он‑то что, все‑таки вернулся из Потсдама с трофеем – с машинкой «Зингер». А что досталось гвардии сержанту Натану Гутионтову? Две медали «За отвагу» и деревяшка, которой его наградили в военном госпитале в Тильзите. За деревяшку – спасибо. Но велика ли радость быть парикмахером с деревянной ногой – попробуй‑ка выстоять на ней перед зеркалом целый день, целую оставшуюся жизнь!

Гутионтов приходил обычно в Бернардинский сад или, как он его величал, парк ненужных евреев, вторым. Пока его нет, можно предаться воспоминаниям. Только подними голову, только зарой ее в крону липы, и они потекут невесть откуда, как весенние ручьи.

Чаще всего Ицхак почему‑то вспоминал не родительский дом, не отца Довида, знаменитого на всю округу сапожника, не мать Рахель, торговавшую пухом и пером, не братьев Айзика и Гилеля, да будет память их благословенна, а реку, полноводную, кишащую тайнами, как мальками, ее темно‑зеленый окрас, ее изогнутые берега, на которых паслись ленивые коровы с печальными вдовьими глазами, заглянешь – а в них, словно на дне Вилии, плавают причудливые рыбы и колышутся диковинные водоросли.

Ицхак любил смотреть на коров, следить за тем, как они спускаются к водопою, медленно и жадно пьют бессмертную воду и сами, казалось, обретают бессмертие. Закончат свой земной круг отец и мать, умрет он, Ицхак, уйдут в небытие братья Айзик и Гилель, а эти большеголовые, большеглазые животные с поступью древних цариц, торжественной и величавой, пребудут вечно – до скончания дней топтать и топтать им сочную прибрежную траву, поворачивать тяжелую голову, как унизанную жемчугом корону, к закатному солнцу. И так же до скончания дней с их влажных и непроницаемых морд будет стекать утепленная дыханием струйка.

С тех давних пор она, эта струйка, втекает в его, Ицхака, душу. Втекает и сейчас, когда в Бернардинском саду, в парке забытых Богом евреев, он ждет своих собутыльников, тех, с кем целыми днями под сенью дружелюбных и терпеливых лип пьет самый сладкий и самый горький напиток на свете – воспоминания. Воспоминания о раввинах и служках, коровах и лошадях, о речной воде и березовых рощах. О временах, когда и он был бессмертен, как то стадо, как та река, как то солнце над ней.

В наспех вырытых окопах под Алексеевкой и Прохоровкой перед его, Ицхака, заметенными порошей безысходности глазами сверкала эта стекающая с коровьих морд струйка. Он припадал к ней искореженным жаждой ртом и втягивал пересохшими губами каплю за каплей. Но – о, чудо! – вода не убывала, не иссякала, не кончалась.

Как странно, поймал себя на мысли Ицхак, отсюда, от Бернардинского сада, где они собираются на пятачке под липами, до той же Вилии было не более полверсты, но это была *другая* река, то была не та Вилия, которая протекала через его память, через каждое из восьмидесяти пяти его несчастий. У этой реки, до которой было рукой подать, был другой окрас, другой голос, она не кишела теми тайнами, которые сводили его в детстве с ума и из‑за которых он дважды чуть не утонул.

Ицхак то и дело оглядывался по сторонам, но Натана Гутионтова нигде не было видно. По правде говоря, Малкин не жалел, что друг запаздывает. Он наслаждался одиночеством. Ему хотелось все больше и больше хмелеть. Хмель разливался по его телу, туманил глаза, усыплял. Еще миг – и Ицхак уснет, приснится какой‑нибудь сон – берег *той* Вилии, коровы, солнце, шмели.

Хмелеть, хмелеть, хмелеть…

Сразу же после войны – кажется, в сорок шестом – он поехал с Эстер (господи, сколько уже прошло после ее смерти!) на родину в свое местечко – *туда* , где в тесной каморке, под засиженным перекормленными мухами оконцем, не разгибая спины, корпел с шилом в руках его отец Довид, туда, где на дворе стояла пустая телега его дяди – балагулы Рахмиэля, торчащие оглобли которой вонзались в синее равнодушное небо, *туда* , где на бессмертном прибрежном лужке паслись бессмертные коровы и окунали свои унизанные жемчугом короны в бессмертную темно‑зеленого окраса воду.

Ицхак вспомнил, как он и Эстер слезли с неспешного, почти пустого поезда и по теплой, как парное молоко, весенней грязи потопали с местечкового вокзала, еще по‑зимнему стылого и понурого, в *ту* сторону, у которой нет и никогда не будет другого имени, как родина.

Когда они приблизились к местечку настолько, что можно было легко разглядеть белую, засахарившуюся, словно варенье, кладку костела, чудом уцелевшего в лихолетье, деревянную мельницу, напоминавшую огромную засушенную стрекозу, и бросившиеся от них врассыпную дома (во всяком случае, так Ицхаку и Эстер показалось, ибо от неправдоподобно яркого солнца рябило в глазах и все дробилось и рассыпалось), их охватило знобкое волнение. Как Ицхак и Эстер ни пытались отряхнуться от покалывающей дрожи, брызги ее не высыхали на солнце, не исчезали, а отскакивали от разлитой вокруг весенней сини, как от каменной ограды, и снова возвращались к ним.

– Ицхак, – прошептала Эстер и притронулась к его рукаву, – ты уверен: мы сошли, где надо?

Он отчетливо слышал в Бернардинском саду ее голос, тот давний, звучный, не сравнимый ни с какими другими, голос, не искаженный болезнью, не тронутый старостью, голос, а не хрип, не жуткое бормотание смертницы.

– Не знаю, где надо, где не надо, но сошли.

– Там, где надо? – по обыкновению переспросила Эстер.

– Там! – закричал Ицхак и сам испугался своего крика.

На кого он тогда кричал? Ицхак наморщил лоб, пытаясь вспомнить, на кого.

Не на Эстер, конечно. На нее он никогда не кричал.

Наверное, на страх, на время – воплощение страха; хотя время – кричи на него, не кричи, – все равно не переменишь.

И еще на войну, на немцев, на их пособников‑литовцев и еще на себя, оставшегося в живых. Зачем, зачем он остался в живых? Чтобы через десять лет похоронить Эстер, чтобы сорок лет быть прикованным к «Зингеру», чтобы строчить, строчить, строчить до безумия?

Строчи‑не строчи, заново не сошьешь ни братьев Айзика и Гилеля, ни Эстер, ни время.

Никого и ничего.

Впереди забелела простроченная птичьими трелями березовая рощица. По преданию, березы высадил какой‑то русский дворянин по фамилии не то Белокуров, не то Белобородов, бежавший после революции в Литву. Он купил под Каунасом землю, привез саженцы и в память о России и о своих четырех погубленных во время смуты сестрах решил соорудить шелестящее надгробие.

Отец Ицхака Довид уверял, что у этого русского барина из головы выпали все гвоздочки, как из сношенного вдрызг башмака. Рабби Мендель наоборот – восхищался беженцем и не скупился на похвалы христианину.

– Он не только богаче нас, но, может, и умнее, – убеждал всех Мендель. – Что такое деньги? Ведь они не отбрасывают в зной тень для других, не дарят прохладу безымянному страннику, не дают приют залетной птице.

Ицхак снова огляделся по сторонам и поежился. Куда же подевался Гутионтов? Может, с ним, не дай бог, что‑то случилось?

В таком возрасте всякое бывает: сегодня – жив, над другими смеешься, а завтра, не про Натана да будет сказано, глядишь, уже тебя оплакивают. В прошлом месяце двоих похоронили – портного Нисона Каца, который был, как две капли воды, похож на Шарля де Голля, и скорняка Фишеля Мильмана. Одна скамейка в Бернардинском саду опустела. Нет, нет, лучше не думать о смерти. Лучше вместе с Эстер дальше топать по знакомой до каждой рытвинки, до каждого поворота дороге от кирпичного вокзала до родного местечка.

От местечка до вокзала по проселочной дороге провожала в двадцать третьем Эстер своего суженого – статного, голубоглазого, черноволосого Ицхака в литовское войско. По ней отправлялась на свидание к нему в далекий город Алитус, где был расквартирован его полк.

Ицхак служил в уланах – то была немалая честь для новобранца‑еврея (в уланах и обмундирование красивее, и харч куда лучше). Только его отца Довида одолевали страхи: а вдруг его Ицикл выкрестится, превратится из Малкина в Малькявичюса или в Малкаускаса?

Отцовские страхи, однако, были напрасны. Как ушел Ицхак в войско евреем, так евреем и вернулся, хотя мать в первую же ночь его обыскала – задрала у спящего рубаху, но креста на груди, слава богу, не обнаружила.

На проселочной дороге, соединявшей местечко с миром, встречала его Эстер в двадцать пятом. В руках у нее, словно огромный одуванчик, желтел пирог, ибо она хотела, чтобы жизнь их пахла не разношенными башмаками, не гусиными перьями, как в доме Малкиных, а корицей и изюмом, как в доме лавочника Пагирского, где она была нянькой и прислугой.

Ицхак Малкин прислушивался к усыпляющему шуму лип в Бернардинском саду и беспечному пересвисту птиц, и у него из памяти, загроможденной событиями, одна за другой вылетали птицы его молодости.

Они слетались на пирог Эстер, но та отпугивала их и ласково, переполненная счастьем от его возвращения, приговаривала:

– Кыш, кыш! Не для вас пекла… Потерпите, неугомонные, вот сыграем свадьбу, я куплю мешок крупы и весь рассыплю – под каждым деревом, под каждым кустиком. Потерпите…

По этой раскисшей, хлюпкой дороге они (уже муж и жена) провожали в Америку сперва брата Эстер Хаима, потом сестру Ицхака Лею. Америка была далеко‑далеко, но она сияла для них как старинный свиток Торы в позолоченном переплете. Лею пришли провожать все парни местечка, потому что такой красавицы не видывали ни Литва, ни хваленая Америка, ни земля обетованная. Ухажеры Леи плелись за телегой дяди Рахмиэля и что есть мочи кричали:

– Не уезжай, не уезжай! Останься, Лея!

Ничего не скажешь, Лее повезло: ее не расстреляли, ее не заставили перед смертью раздеться догола, никто не прикоснулся ни к ее шумящим, как ветви липы, волосам, ни к ее розовым соскам. Внуки и правнуки унесли ее на Детройтское кладбище.

Ицхак снова прислушался, но на сей раз он услышал не шелест листьев, не пересвист птиц, а веселый ор молодых жеребчиков, провожавших первую красавицу местечка в Америку:

– Лея, Лея! Останься!

– Лея, Лея, – повторил Ицхак пересохшими губами.

Ее именем было залито все вокруг – и проселочная дорога от местечка до вокзала, и аллея в Бернардинском саду, и чистые заасфальтированные тропинки на еврейском кладбище в Детройте.

Ицхак давно убедился в том, что если хорошенько прислушаться, если выбраться из‑под завалов случайных и неслучайных событий, застрявших в памяти, можно услышать и гул минувшего времени; и голоса покойников; и имя сестры, уехавшей полвека тому назад; и шуршание птичьих крыл над пирогом, выпеченным твоей невестой; и бодрый самонадеянный стук высоких уланских сапог, изготовленных не то в Чехословакии, не то в Англии, о мостовую в далеком городе Алитусе; и скрип тележных колес исчезнувшего, как мамонт, еврейского балагулы Рахмиэля; и капель, весеннюю капель в двадцать пятом году.

Можно не только все услышать, но и увидеть, даже след журавля в небе, ибо все остается, все откладывается и запечатлевается, если любишь. Разве наша память – не любовь к тем, кто ушел и никогда не вернется ни на проселочную дорогу, ни на скамейку под липой, ни за сапожничий верстак, ни за свадебный стол?

Ицхак сидел на скамейке и, не мигая, вглядывался в ту далекую и уже недосягаемую проселочную дорогу, пролегшую как бы не по земле, а по небу. Усилиями слабеющего, похожего на старый приемник с севшими батарейками мозга он настраивался на какую‑нибудь отзвучавшую волну, пытаясь вернуть ей прежнюю чистоту и ясность, выталкивал из забвения кровоточащие куски жизни в надежде на то, что ему еще удастся сложить из них что‑то живое – ну если не живое, то хотя бы пульсирующее, трепыхающееся, еще не отдающее тленом.

Господи, как хорошо, что его друг и вечный собеседник Натан Гутионтов задерживается. Ничего удивительного в его опозданиях нет. Натану не двадцать и не тридцать. Пока приладит деревяшку, пока доберется до третьего номера троллейбуса, пока втиснется в него через переднюю дверь, пока доедет до площади имени великого князя Гедиминаса – по его милости евреи и оказались шестьсот лет тому назад в Литве, – пока перейдет через улицу, глядишь, час и пролетит, может, даже два. Главное, чтобы с ним ничего не случилось. Хватит с него и одного инфаркта.

Вдвоем, конечно, веселей. Недаром они кучкуются все дни недели, кроме воскресенья. Хотя что это за кучка – пять‑шесть человек: он, Ицхак; Гутионтов; Лея Стависская, которую Бог покарал больше других, отняв у нее память; Гирш Оленев‑Померанц – флейтист, лагерник; зубной техник Моше Гершензон – грамотей, пересмешник и спорщик. Приходит иногда жена Гутионтова Нина и внучка Стависской. Грамотей Моше Гершензон недаром сказал: «Вместе жечь костер воспоминаний приятнее. Каждый подбрасывает в огонь свою охапку хвороста. А у кого хвороста нет, тот на него дует. Подует, и пламя – ярче».

Какой хворост, такое и пламя, вздохнул Ицхак. Но как ни крути – вместе лучше. Правда, хорошо, пусть и недолго, побыть одному. Бывает, и другу всего не расскажешь, даже дереву не поведаешь. Поведаешь, а оно возьмет и всем разболтает своим шелестом. Но разве молчание уберегает от пересуд и неприятностей? Как пораскинешь мозгами, ведь тебя слышат, даже когда ты молчишь. Ты молчишь, а твои мысли, как на ладони. Ну, в первую очередь, слышит Он, Господь, нас сотворивший. Слышит и мотает себе на ус и записывает в свою книгу. А книга его – без конца и края, страниц на всех хватит, Он никого не забудет. Слышат тебя и деревья, и этот вот замурзанный воробей, прыгающий в поисках крохи покрупнее от одной скамейки до другой, как евреи из одной страны в другую.

И ветер слышит. Не зря же он треплет твои седые космы и шумит над ухом.

Ничего не поделаешь, когда никого на свете не остается, поймал себя на мысли Ицхак, надо научиться жить в ладу и в согласии с ними – с листьями липы, с ветром, с этими замурзанными воробьями – ротный Тюрин называл их жидками.

Не дай бог, листья перестанут шуметь, ветер – ворошить седые патлы, воробьи – чирикать! Пусть шумят, пусть чирикают, сколько душе угодно, пусть ворошат остатки твоих волос. Моше Гершензон, выхваляющийся своей грамотностью, правду ищет в газетах. Кому что. Одному воробьи интересны, другому подавай наводнение или землетрясение, свадьбу английского принца или бунт в Китае. Моше Гершензон, между прочим, о китайцах все знает. Послушать его, так он в прошлой жизни был не евреем, даже не литовцем, а китайцем.

Ицхак сам знал евреев, не желавших ими быть. Они во что бы то ни стало хотели быть русскими или литовцами. Кем угодно, но только не Ицхаками и Натанами. Но чтобы евреи рвались в китайцы!..

Если Ицхак правильно понял Моше, то и он, Малкин, в прошлой жизни кем‑то был.

– Ну кем, кем я был?.. – спросил он однажды напрямую у Гершензона.

– Кем? – задумался Моше. – Ну, может, кошкой, а может, курицей.

Ицхак на него даже обиделся: сам так он в прошлом – китаец, малаец, нанаец, а ты – черт‑те кто, чуть ли не собака.

Нет, нет, может он, Ицхак, в прошлой жизни был вот таким серым воробышком, который прыгает от одной скамейки к другой и заглядывает ему по‑братски в глаза; воробышком, никогда не служившим в уланах, не мерзшим в окопах под Прохоровкой и Алексеевкой, не привозившим никаких трофеев из Германии, – заурядной, как горошина, птичкой, у которой никогда, кроме непривередливого клюва, кроме маленьких крыльев и такого же маленького сердца, ничего не было.

Да бог с ней, с прошлой жизнью! Куда важней, кем судьба судила ему быть в будущей.

Раз есть прошлая жизнь, то, наверное, и будущая каждому уготована. Не в раю, а на земле. Может, в том же городе Вильнюсе, где он, Ицхак Малкин, прожил почти полвека и даже изредка, до кончины Эстер, был глупо счастлив.

Если бы Господь Бог, скажем, посчитался с его пожеланиями (поди посчитайся, если к тебе толпы стоят, да что там толпы, – толпы толп, тьма‑тьмущая просящих и уповающих на твою милость), то он хотел бы быть не китайцем, не русским, не евреем, не богачом, не властителем, а ветром. Ну конечно, не всяким, а обязательно юго‑западным, ну в крайнем случае, восточным, только не северным – стужи на его веку хватило вдоволь.

Нет доли лучше, чем обвевать теплом чью‑то голову, трепать чьи‑то седые космы, умощать чье‑то лицо влагой южных морей, опрыскивать каплями, как опрыскивал одеколоном своих клиентов Натан Гутионтов, обдавать каждого встречного и поперечного запахами оливковых и апельсиновых рощ. Пусть пахнут, пусть благоухают!

Разве можно для себя придумать участь более прекрасную, чем быть ветром – ветер никогда не стареет, его никогда не мучают никакие хвори, ветер – не еврей и не китаец, он – ветер, для всех и для каждого. Умаявшись под вечер, он укладывается на ветки липы или на перистое облако, чтобы поутру проснуться и облететь весь земной шар.

Мысль Ицхака металась между прошлым, настоящим и будущим, и всюду ей было неуютно, всюду она искала для себя покойную нишу, как ласточка для гнездовья. Она, его мысль, втискивалась, как Натан Гутионтов в третий номер троллейбуса, в узкую, выбитую тележными колесами колею проселочной дороги, которая вела к его детству, к его молодости, и то сверзалась в сырую траншею под русской деревенькой Алексеевкой, то на цыпочках входила в коридор Генштаба Второго Белорусского фронта с мундиром из английского сукна на руках, сшитым для командующего Рокоссовского, то вместе с могильной глиной падала в свежевырытую яму, где нашла свое упокоение Эстер.

Прошло два часа, но Натана Гутионтова все еще не было. Чтобы избавиться от дурных предчувствий, Ицхак встал со скамейки и зашагал не по аллее Бернардинского сада, а по той проселочной дороге, пролегшей как бы не по земле, а по небу.

Уже повеяло домовитым печным дымом – провозвестником жилья.

Ицхак напряг глаза и всмотрелся в даль. Клубы дыма вились вроде бы над местечковой синагогой.

Мало что вьется в памяти, подумал поначалу Малкин.

Но разве рядом с молельней, в которую он ходил с малолетства и в которой за день до войны, в субботу, вместе со всеми читал недельную главу Торы об исходе евреев из египетской неволи, не осталось ни одного дома, ни одной литовской хаты с печью? Разве в них перевелись хозяйки, что‑то варящие и пекущие? Время пирогов для живых только и начинается. Это мертвые уже никогда не сядут за стол и даже крошки от печева не отщипнут. Это расстрелянные в белой рощице не выковыряют ни одной изюминки, ни одной маковой росинки – их пироги и булочки сожрали равнодушные черви.

Запах дыма Ицхак любил чуть ли не с колыбели. Ему нравилось, когда над крышами на рассвете зарождались верткие голубые кольца, поднимавшиеся к самому небу. Он, не отрываясь, следил за их причудливыми извивами. В непредсказуемом струении дыма было что‑то загадочное, непостижимое, влекущее, как в речном Зазеркалье. Колечки то соединялись, то расплывались, напоминая невиданных зверей, бесплотных птиц и цветы, лишенные запаха, но поражающие своими формами.

Однажды отец – сапожник Довид, перехватив его взгляд, сказал:

– И наши души воспарят после смерти, как печной дым, и ангелы встретят их за облаками и на белых крыльях бережно унесут к сияющему Божьему престолу.

С тех пор Ицхак верил (он эту веру сохранил и поныне), что когда он умрет, когда умрут его близкие, их души совьются в легкие голубые кольца, воспарят к небосводу и будут долго плыть в утреннем мареве, пока не сольются с небесной синевой и не станут невидимой частью неба. С тех пор Ицхак верил, что холст неба и впрямь соткан из отлетевших душ – сапожников и служек, раввинов и водовозов, детей и взрослых.

Правда, через много‑много лет в гибельных окопах под Орлом он вдруг усомнится, сможет ли его вымокшая в крови, задубевшая на морозе душа воспарить в небо. Наверное, не сможет, ибо кровь и небо несовместимы.

Малкин не мог взять в толк, кому понадобилось топить печь в пустой послевоенной синагоге, ведь в местечке не осталось ни одного еврея. Кто в первые три июньских дня полег под белоствольными березками, высаженными русским дворянином Белокуровым или Белобородовым и шелестевшими своими траурными листьями, кто был убит у своего дома, у своей лавки, у своего верстака.

Может, печь топится сама? Может, ее топит дьявол?

А может, через трубу в небо взлетают, превратившись в дымки, души убиенных, и пока они не поднимутся к Божьему престолу, труба будет дымить и дымить. Господи, сколько же еще лет, сколько веков?..

Вот воспарила к небесному престолу душа рабби Менделя, чистая, как зоревое облачко.

За ней медленно вознеслась душа дяди Рахмиэля – балагулы, и вместе с ней – душа его лошади. Разве не похож вон тот дымок на ее гриву?

Вон поплыла вверх душа волоокой Брахи, дочери мельника Гольдштейна, той самой, которая была влюблена в него, Ицхака, по уши и которую своими запретами отец безвременно свел в могилу («Выбирай его или мельницу!»).

Вот поднялась к небосводу душа портного Шимшена Яновского, учителя Ицхака, знаменитого мастера и знатока Торы.

Вот отправилась на свидание со Всевышним душа местечкового сумасшедшего Мотеле – прозрачный, тающий на глазах кренделечек синевы.

Может, печь топит какой‑нибудь доброхот – мало ли их на белом свете! – литовец, поляк или старовер с густой, как чаща, бородой. Приволок бревно, распилил, наколол поленьев и развел огонь, чтобы всем было теплее – и мышам, и Богу, и душам, перед тем, как они воспарят к Нему.

Чем ближе они подходили к синагоге, тем суше и ровнее становилась дорога, пока совсем не влилась, как приток, в мощеную булыжником улицу, такую знакомую и такую чужую.

Боже праведный, сколько раз он шагал по ней с бабушкой в молельню. Старуха, нарядная, непривычно торжественная, в цветастом, как весенняя поляна платке, плетется, бывало, сзади, а он, словно жеребенок, бежит впереди, распахивает дверь, взбегает по каменной лестнице туда, где молились женщины, и, притаившись в углу, ждет. Бабушка, близорукая, полная, одышливая, оглядывается в испуге, ищет его и взывает в пустоту:

– Ицикл, солнышко мое! Ицикл, сердце мое!

Никто и никогда на свете не называл его так ласково, так растерянно влюбленно, так щемяще печально, как она. Ему казалось, пока его окликают с такой простодушной верой, с такой готовностью жертвовать собой, с ним ничего дурного не может случиться.

– Ицикл, Ицикл…

Грамотей Моше Гершензон говорит, что нет на свете ничего страшнее того дня, когда, как Лея Стависская, забываешь свое имя. Лучше наложить на себя руки. Лучше в петлю…

Да, тут Моше Гершензон, пожалуй, прав – лучше в петлю. Не страшно забыть название своего местечка, не вспомнить номер полка, в котором служил уланом, можно навеки забыть какую‑нибудь важную дату – день свадьбы или день Победы в Берлине, но не дай бог забыть свое имя, ибо тот, кто его забывает, несчастнее, чем камень. А с камня какой спрос?

Не успел Ицхак войти во двор местечковой синагоги, как у входа в Бернардинский сад в конце аллеи замаячила чья‑то фигура.

Нет, то был не Натан Гутионтов, не Моше Гершензон, не вечно подвыпивший Гирш Оленев‑Померанц и не Лея Стависская. К скамейке под липами не спеша, осанисто, как пава, шла немолодая женщина. В одной руке она держала большую казенную метлу, которая не только не портила осанку, но даже подчеркивала ее; в другой – такое же казенное ведро с помятыми боками и ржавым ободком, похожее на то, которое когда‑то к задку своей допотопной телеги подвешивал дядя Рахмиэль.

Ведро позвякивало в утренней тишине Бернардинского сада, и от этого глухого равномерного позвякивания Ицхаку казалось, что женщина идет не по аллее, а по выжженной пустыне за верблюжьим караваном, груженным серебром и златом, шелком и шерстью.

Как ни странно, но образ пустыни частенько возникал в голове у Малкина. Может, оттого, что грамотей Моше Гершензон задурил им всем головы своими россказнями о древней Иудее, о царях иудейских, о кладах, которые странники находили среди песков, о чудотворных колодцах – зачерпнешь из них пригоршню воды и излечишься от всех болячек.

Россказни россказнями, но когда тебе восемьдесят пять с гаком, пустыня приходит тебе на ум и без всяких баек. Каждый из них прошел через свою пустыню – только не было ни кладов, ни чудотворных колодцев, ни серебра, ни злата, ни шелков, ни шерсти. Слава богу, хлеба хватило, и пуля миновала.

Пустыня и сегодня велика и бескрайна, а их шаг ничтожен и мал – шагаешь, шагаешь, и кажется, бог весть сколько отшагал, а оглянешься и увидишь: почти что с места не стронулся, впереди тот же зной, тот же песок, раскаленный от собственного бессилия.

Женщина подошла к скамейке и, крутанув бедрами, поздоровалась:

– День добры, пан Малкин. Як сон маш?

– Дзенькую, пани Зофья, допуки жиемы.

– Никого нема? – не то разочарованно, не то обрадованно пропела женщина. – Навет пана Натана?

– Так.

Разговор по‑польски давался Ицхаку нелегко; чужая речь утомляла его. Лучше, конечно, было бы говорить с пани 3офьей на идише. Но кто сейчас его знает?

Было время – на мамэ‑лошн нельзя было и слова сказать. Скажешь, а на тебя так посмотрят, как будто ты Богородицу обесчестил. А ведь каждому охота мяукать и чирикать по‑своему.

– Тшеба трохи одпочинуть, – объявила пани Зофья, еще не начав работу, и, не церемонясь, опустилась на скамейку рядом с Малкиным.

По правде говоря, Ицхак давно отвык от женщин. После того, как вторую его жену разбил паралич, и ее отвезли в дом престарелых, он остался один. Женятся, конечно, люди и в восемьдесят, и в девяносто, но Малкин строго сказал себе – хватит. Хорошее слово «хватит», не хуже, чем лекарство. Хватит, хватит, хватит – каждый день по три пилюли. Впереди все равно пустыня – на улице, в постели, даже тут, в этом шелестящем вековыми липами парке.

Что за радость, если рядом с тобой в постели мумия, как и ты сам; притронешься, и заорет, словно от ожога. Да и притрагиваться не за чем – кресало и дрова отсырели, вздохами и храпом пламени не раздуешь.

А если второй брак – ошибка, тогда и вовсе худо. Корчишься в постели и затуманенной мыслью притрагиваешься к другой женщине, которая всю жизнь спешила навстречу к тебе с пирогами, у которой каждая родинка на щеке сияла, как звезда на утреннем небе, а каждый ее волос привязывал к себе навсегда, как смерть.

Над Ицхаком смеются, когда он говорит, что даже от ее брани пахло маком и корицей.

Что с того, что у них не было детей. Мало ли у кого на белом свете нет детей. Беда, когда король и королева бездетны – у них обязательно должны быть наследники. И потом, что такое вообще дети? Вещи, взятые на время в долг: сына одалживаешь у невестки, а дочь – у зятя. Отдал, и не проси обратно, и процента не требуй. Даже если тебе их вернут, то ты получишь их не такими, какими они были.

– О чим пан тэраз мисле? – неожиданно и, как Ицхаку показалось, чересчур кокетливо спросила пани Зофья.

– О жене. О первой жене, – поправился он.

– Пан ее любил?

– Наверно.

– Она давно умерла?

– Она никогда не умрет. Мы с ней только что вместе вошли во двор синагоги.

– Какой синагоги?

– В местечке над Вилией. Мы там с ней под хупой стояли. Пани что‑нибудь слышала про хупу?

– Так, – не задумываясь, ответила уборщица. – Я сама мечтала о хупе. И, как бы испугавшись своего признания, продолжала:

– Пану подобёнся польки?

Ему было неловко от ее вопроса.

Ей давно было пора приняться за уборку, но она не спешила. Листьев за ночь намело в Бернардинском саду уйму – ветер, негодник, озоровал до утра. Пани Зофья хоронит их каждый день: она – могильщик облетевших листьев – либо закапывает их, либо сжигает на пустыре. Малкин за то, чтобы их закапывали, как людей.

Он от кого‑то в детстве слышал, что когда придет Мессия, то из могил восстанут не только люди, но и животные, оживут увядшие растения, воскреснут опавшие листья. Ветер, который всегда возвращается на круги своя, развесит их там, где сорвал, – на каждой веточке, на каждом сучке, и все снова встретятся: и листья, и ветер, и одноногий парикмахер Натан Гутионтов, и Эстер, и грамотей Моше Гершензон, и рабби Мендель, и пани Зофья, и все братья Малкины, и обретшая память Лея Стависская, и все начнется сначала, с первого крика, с колыбельной, со свеженабухшей почки, с провожания в литовское войско, со скрипок на свадьбе…

– Hex пан не муве, же не подобёнся. Вам они завше были до густу. Фремде вайбер – зисе вайбер (чужие женщины – сладкие женщины).

– Ты говоришь по‑еврейски? – остолбенел Ицхак.

– А бисэлэ, – сказала пани Зося и показала ему кончик заскорузлого мизинца.

– Кто тебя научил? Может, отец был евреем?

Пани Зофья мотнула головой:

– Отец был подпоручиком в Армии крайовой, а мать – учительница польской гимназии.

– Так кто же тебя научил?

– Лучшая учительница, пан Малкин, – любовь. Мой Яцек называл меня ночной еврейкой, – сбивчиво, почти захлебываясь, прошептала пани Зофья.

– Ночная еврейка? – пробормотал в замешательстве Малкин.

Впервые за тридцать пять лет ему захотелось затянуться дымком. Он огляделся, метнул взгляд под скамейку, увидел смятый окурок, устыдился своего желания и снова уставился на пани Зофью. На вид ей было лет шестьдесят, не больше. Крашеные, словно остекленевшие волосы, напоминавшие жнивье, не молодили ее, а старили. Продолговатое, еще миловидное лицо было вспахано преждевременной старостью: неровные бороздки морщин тянулись по щекам вниз, к полным затаившейся страсти чувственным губам, которые она то и дело покусывала от волнения.

На ней было грубое, без декольте, платье, какие обычно носят больничные санитарки. Дешевый ситец облегал ее еще задорные груди и бедра. Единственным украшением были большие цыганистые серьги, от которых исходило неверное и недолговечное сияние.

– Настоящее его имя было Йосель. Йосель Копельман. Может, слышали такую фамилию?

На своем веку Ицхак не раз слышал фамилию Копельман. Один из них – сержант Зелик Копельман погиб под Алексеевкой. Шальная пуля попала ему в голову, когда он, хлебая солдатский борщ, рассказывал возле полевой кухни про хелмских глупцов. Мертвое лицо было растянуто в улыбке. Его так и похоронили – улыбающегося.

– Слышал, – сказал Ицхак. – Со мной один служил в армии. Но он погиб под Орлом.

– Мой Яцек тоже погиб, – с печальным равнодушием произнесла она.

Малкин смотрел на нее и диву давался. Надо же, ходит рядом с тобой человек, ты каждый день видишь его, но знать‑не знаешь, ведать‑не ведаешь, кто он и что он. То ли святой, то ли мерзавец, то ли мученик, то ли мучитель. Все у него как бы под замком – стучись‑не стучись, ни за что не откроет. Что говорить о других, если к самому себе до гробовой доски ключа не подберешь, а если и подберешь, то прячешь его куда‑нибудь подальше: неровен час, откроешь тем ключом самого себя, откроешь и содрогнешься – боже милостивый, да там пусто, да там холодно, как на погосте!

– Днем я была полькой… работала посыльной в тогдашнем магистрате, всякие бумажки разносила. А ночью… ночью бегала в гетто, к своему Йоселе‑Яцеку. Дура была, ох, какая дура! – едва сдерживая скорые бабьи слезы, сказала она.

– Умные никогда не бывают счастливыми.

– Какая же я умная? Дура, последняя дура, – бросила она и замолчала.

– Где же вы встретились? – осторожно спросил Ицхак, боясь отпугнуть ее своим любопытством.

– В гимназии.

Малкин вытаращил на нее глаза.

– Нас до войны учила моя мама. – По ее морщинистым щекам скатились слезы, непрошеные, скупые.

Эстер с порога местечковой синагоги смотрела, как Ицхак (господи, неужели он такой старый!) ворковал с чужой женщиной на скамейке под липами Бернардинского сада, и безропотно ждала, когда он откроет дверь в молельню.

Пусть Эстер не ревнует.

Минуло то время, когда на него, даже семидесятилетнего, заглядывались молодухи. В семьдесят лет он еще крепко держал иголку в руке, одевался как иностранец, посмотришь – залюбуешься. А как же иначе? Ведь он был одновременно и Ицхак Малкин, и, как бы ходячая реклама: смотрите, мол, какой я портной, приходите на Садовую улицу, и я сошью вам костюм на заглядение. Пусть Эстер не ревнует. Прошли те деньки, когда он спиной чувствовал, кто за ним идет – женщина‑огонь или женщина‑пепел.

– Я, наверное, вам голову задурила, – виновато пробормотала пани Зофья. – Вы не поверите, но я никогда никому об этом не рассказывала.

Ицхак понимал, что ей хотелось излить душу. В самом деле, кому расскажешь о Йоселе‑Яцеке, если не еврею. Может, другой тебя тоже терпеливо выслушает, но что для другого слова «гетто», «немец», «полицай» – место жительства, национальность, должность.

Пани Зофья жаждала погреться у чужого костра, подбросить в него свою чурку. Когда вокруг стужа, каждый может кинуть свое полено в огонь и протянуть над ним руки.

Ицхак быстро смекнул, что за ее легкомыслием, за ее нарочитой развязностью скрывается что‑то другое – серьезное, может, даже непоправимое. Не всю же жизнь размахивала она метлой, сгребала листья, окурки, мусор, позвякивала казенным ведром, в которое в поисках добычи нет‑нет, да залетали вездесущие воробьи, долбившие своими натруженными клювиками его неподатливое днище. Долбила свое днище и пани Зофья.

– Мы ютились на чердаке… На углу Конской и Рудницкой… В голубятне.

– В голубятне? – изумился Ицхак, и вдруг над его головой, над Бернардинским садом затрепыхали крыльями голуби его местечка – сизари, витютени, дутыши. Стая висела над его седыми взлохмаченными патлами, не уплывала, как облако, не таяла, была как бы пришпилена к небу, и Ицхак видел крылатый полог так же зримо, как крону липы над скамейкой.

– Первые полгода мы были все вместе, – журчало контральто пани Зофьи. – Я, Йосель и они…

– Его родители?

– Нет. Голуби. Дом с голубятней принадлежал пану Шварцбанду, – объяснила она обескураженному Малкину. – Пан Шварцбанд был завзятым голубятником. Когда Яцек был студентом, он работал на его кондитерской фабрике и всегда приносил мне конфеты.

– Ясно, ясно, – успокоил ее Ицхак. Он боялся, что она не успеет закончить свой рассказ до прихода Натана Гутионтова, а уж при любезнейшем, рожденном как будто только для поклонов, Гирше Оленеве‑Померанце и вовсе рта не раскроет.

Но она никуда не торопилась. Не будь над ней начальства (а перед ним надо было каждый день отчитываться), пани Зофья сидела бы и сидела, рассказывала бы и рассказывала.

– Ну что ж ты замолчала? – поторопил ее Малкин.

– Сейчас, сейчас, – заерзала она и добавила, – по‑моему с вами можно говорить обо всем.

– С мертвыми можно говорить о чем угодно, – подтвердил Ицхак. – Нет более благодарных и терпеливых слушателей, чем мертвые.

– Да какой же вы мертвый! Вы еще ого‑го! Мы еще вас женим.

Малкин почувствовал, как стыдным румянцем залило его лицо; кровь, текшая с ленцой, вдруг прорвалась через закупоренные, заизвестковавшиеся прошлыми радостями и грехами, надеждами и соблазнами кровеносные сосуды и подступила к небритым щекам (Натан Гутионтов который день грозится побрить его прямо тут, под липами).

– Вы только ничего не подумайте. Я знаю, сейчас на вас, евреев, у бабонек спрос, как на французские духи. Всем хочется отсюда вырваться, уехать, куда глаза глядят. А если не уехать, то хотя бы после их смерти ордер на квартиру отхватить. Но вы не подумайте ничего… У меня своя крыша: комната и кухня в Старом городе.

– Да я ничего и не думаю, – не очень твердо произнес Ицхак.

– Вот и чудненько, – сказала пани Зофья. – Я совсем о другом.

– Говори, говори, я тебя слушаю. – Кровь так же лениво и натужно отхлынула от щек и потекла обратно. Через секунду‑другую она доберется до сердца, и дыхание Ицхака облегчится.

– Кто бы мне объяснил, почему я так ненавижу голубиное воркование, но и жить без него не могу, – вдруг призналась она.

– Ты сама, наверное, знаешь лучше всех, почему.

Пани Зофья закусила губу. Она сидела в прежней позе, опершись о черенок метлы, как о земную ось, и вокруг него, замусоленного, захватанного руками, вращалась вся ее жизнь, вращались ее беспечные детство и молодость, о которых Ицхак ничего не знал, кроме того, что отец у нее служил в какой‑то Армии крайовой; вокруг черенка вращались поляки и литовцы, немцы и евреи, венские голуби и опавшие листья, вращались серые казенные здания, над которыми реяли в разные времена разные флаги‑штандарты; вращались чиновники, исполнявшие волю четырех ненавидевших друг друга властей и похожие друг на друга, как ржавые прутья в железной ограде.

Ицхак терялся в догадках, почему она столько и с такой настойчивостью рассказывает о голубях, пусть даже и привезенных из Вены, почему растягивает свое короткое горестное удовольствие. Впрочем, разве они, Натан Гутионтов и Моше Гершензон, Гирш Оленев‑Померанц и он, Ицхак Малкин, не занимаются тем же? Разве по глоточку, по капельке не пьют ту же благословенную, сладостную отраву? Только отними у них стакан, опрокинь его, вылей оставшееся на донышке, и на свете не сыщешь несчастнее их – смерть покажется им избавлением.

Если бы кто‑нибудь задумался, что их еще держит на свете, то долго ломать голову ему бы не пришлось: их держат не лекарства, прописанные докторами, не письма, наспех написанные из заморского рая, а эта отрава. Дай только им лизнуть языком прошлое, их грехи, кажущиеся им сейчас добродетелью, их добродетель, кажущаяся сейчас им греховной, дай им войти дважды, трижды, тысячу раз в ту же реку, не стопой, а их любовью и их верой. Ведь вера сама по себе река, орошающая все пустыни во все времена.

Господи, подумал Ицхак Малкин, как много вокруг несчастных, как много вокруг обиженных!

– Прошлое, – сказал вдруг Ицхак, – погреб, где даже камень кажется застывшим бабушкиным вареньем. Вот почему – может, я ошибаюсь – ты до сих пор не можешь спуститься со своей голубятни на землю. Вот почему и над моей головой летают и духи, и птицы, и вурдалаки с ведьмами, и я летаю с ними. Вкладываю два пальца в рот, свищу и взлетаю с ними ввысь.

– И я свищу в два пальца. Ему – Яцеку. И он приходит ко мне, вырывает ведро и метлу, берет меня под ручку, и мы идем в ресторан – в «Нерингу» или в «Янтарь» у вокзала. Мы садимся в углу, напротив оркестра, все глазеют на нас, охают и ахают: ах, какая пара! Только сосед, заезжий немец, хватив лишку, наклоняется ко мне и говорит: почему у вашего кавалера на груди желтая лата?

Пани Зофья снова прослезилась. Сердце Ицхака сжималось от жалости к ней. Ему было невдомек, почему для своей исповеди она выбрала его, а не, скажем, грамотея Моше Гершензона или тишайшего Гирша Оленева‑Померанца. Тот, глядишь, не только бы выслушал ее, но, может, потом даже на флейте сыграл бы что‑нибудь про несчастную любовь или про разлуку.

– Я вам со своими бреднями еще не надоела? – спросила пани Зофья.

– Нет.

– А я боялась, что вы скажете – выдумала. Ведь все с какой‑нибудь целью можно придумать.

– Не все.

– Все, – заупрямилась она. – Вся жизнь – выдумка. Придумывают те, кто внизу, кто в пропасти, кто день‑деньской в грязи. Они и Господа Бога придумали. Вот если бы Он жил тут, среди вони и копоти, крови и дерьма, разве мы молились бы Ему? Прости и помилуй! – пани Зофья перекрестилась.

– Разве любовь – дерьмо? Разве печаль – дерьмо? Разве листья – дерьмо?

– Пан Малкин! Пан Малкин! Какой вы… – она не знала, какое слово подобрать. – Ребенок…

Птицы удивились их молчанию и сами притихли.

– Яцек тоже был, как ребенок. Недоверчивый ребенок. Пан Малкин, что – все евреи такие?

– Какие?

– Недоверчивые.

– Когда тебя три тысячи лет бьют и в хвост и в гриву, от такого битья доверчивым не станешь.

– Но вы же верите в то, что я говорю? Вы же добрый…

– Так ты меня, пожалуй, уговоришь. Честно признаться, у меня уже времени не осталось ни для доброты, ни для злости.

– Долго еще я тебя буду ждать? – обрушился на Ицхака далекий голос Эстер.

Он не мог ей объяснить, что пани Зофья еще недосказала ему историю про голубей и про своего возлюбленного. Эстер слыхом не слыхала ни про пана Шварцбанда, ни про ночную еврейку.

– Каждый вечер Яцек ждал меня в подворотне, – не замечая странного и непонятного волнения Малкина, продолжала пани Зофья. – Юркну, бывало, в темноту – и через пять минут уже на чердаке.

Ицхак слушал ее рассеянно, в ушах все еще звучал строптивый голос Эстер, но пани Зофья не унималась.

– Чердак тесный, словно монашеская келья, – с нескрываемым пылом, как провинциальная актриса, рассказывала она. – На одной половине – огромная, купленная в Вене клетка… Кормушки, тонкие деревянные жердочки для сидения, общая поилка. Песчаный островок для помета…

Рассказчица перевела дух, глухо кашлянула, достала сигарету, чиркнула зажигалкой, закурила.

– Дым вам не мешает?

– Нет. Я – махорочник с дореволюционным стажем.

– Первым делом Яцек открывал дверцу и насыпал в кормушку раскрошенный хлеб – четверть буханки, не меньше. Потом я меняла в поилке воду. За сутки они выпивали почти что литр. Пан Шварцбанд велел поить их чистой водой, от ржавой, мол, у них портится желудок. За окном облавы, стрельба, смерть, а он печется о голубиных желудках. Бывало, поедят и давай хлопать крыльями, давай ворковать, сердито и сладострастно. Самые отчаянные вырываются, когда открываешь дверцы, и пока их не выловишь, перелетают с балки на балку. Хорошо еще, что дом стоял во дворе, вдали от патрулей. Вы же знаете, как было: куры ферботен, индюки ферботен, утки ферботен, даже кошки ферботен. Если бы не Яцек, все было бы кончено в первую ночь. Он умел с ними ладить. Сам был голубем и их уговаривал по‑голубиному: тише, тише. Голуби и примолкнут до утра. А под утро снова негромкое ур‑р‑р, ур‑р‑р, ур‑р‑р. А Яцек прижмется ко мне и вслед за ними: ур‑р‑р, ур‑р‑р, ур‑р‑р.

– Простите, вы не подскажете, как пройти на площадь Гедиминаса? – раздался вдруг фальцет раннего прохожего.

– Прямо по той аллее, – недовольно процедила пани Зофья.

– Спасибо, – словно окурок, бросил прохожий и исчез.

– Пан Малкин, вы не поверите, но первое время я стыдилась при них раздеваться.

– При ком?

– При этих воркующих сизарях. Потом, правда, привыкла. Притулюсь к Яцеку, свернусь в калачик и, как он, ур‑р‑р, ур ур‑р‑р. Так мы с ним и урчим до рассвета. «Выпусти их на волю, пока они нас не погубили, – умоляла я его, – твои же сородичи с удовольствием купят. Голубиное мясо – кошерное.» А Яцек: «Нет и нет. Что я скажу пану Шварцбанду, когда он вернется?» А я ему: «Пан Шварцбанд никогда не вернется, никогда. Твои родители вернулись? Твои братья вернулись?»

Она вдруг осеклась, воровато оглянулась и, понизив голос, прошептала:

– Идет!

– Кто идет? – не сообразил Ицхак.

– Ваш приятель, пан Натан, – она произносила его имя с ударением на первом слоге.

– Слава богу, слава богу, – обрадовался Малкин, но радость его не была такой искренней, как обычно. Мог бы Гутионтов прийти и попозже. Пани Зофья недолюбливает его и потому сегодня больше рассказывать не будет. Что поделаешь: Натан – парикмахер, а парикмахер на всех смотрит свысока. Да это и понятно – у них в руках не иголка, а бритва.

– Здравствуйте, здравствуйте, – пропел Гутионтов. – Какая парочка – гусь да гагарочка.

Как всякий еврей, Натан любил выражаться поговорками, но пользовался ими невпопад.

Пани Зофья быстро встала и откланялась.

– Довидзеня, пани Зофья, довидзеня, – пробасил Гутионтов. – Тиха вода бжеги рве.

– Довидзеня, – из приличия произнес Ицхак и обратился к своему другу:

– Я уже не знал, что и подумать.

– Кто рано встает, тому Бог подает. Вот он мне и подал новую заботу. Джеки заболела. Пришлось везти ее к ветеринару.

– Ну что он сказал?

– Сказал: на всякую старуху бывает проруха. Велел завести новую.

Что я тут разболтался, корил себя Ицхак. Меня же Эстер ждет. Но до местечковой синагоги, до ее порога снова было полвека. Пани Зофья обернулась и победоносно подняла вверх метлу. Малкин помахал ей рукой. Бедняга, наверное, сто двадцать, сто тридцать получает.

Но что значат жалкие бумажки с изображением Ленина не Ленина для тех, кому жалованье было оплачено не имеющими цены, сводящими с ума «ур‑р‑р, ур‑р‑р, ур‑р‑р» на волоске от жизни и на волоске от смерти?

Надо созвать большой хурал, подумал Малкин, и принять ее в братство. В братство ненужных евреев, ночных или дневных, неважно каких. Голоса Гутионтова и Гирша Оленева‑Померанца – у него в кармане. Под сомнением только грамотей Моше Гершензон. И все‑таки большинство будет «за». А с большинством – пусть и ненужных евреев – не считаться нельзя.

## Глава вторая

– Хлебом пахнет, – растерянно сказала Эстер, когда Ицхак, оставив, наконец, пани Зофью и своего друга Натана Гутионтова, подошел к синагогальной двери.

Молельня была и впрямь продута горячим хлебным сквозняком.

Свежим хлебом пахло от облупившихся, давно небеленых стен – обычно их белили не чаще, чем один раз в два года, – от черепичной крыши, на которой вместе с воробьями и крикливыми воронятами сидели, как Ицхаку казалось в детстве, смирные ангелы, дожидавшиеся чьей‑нибудь души, чтобы подхватить ее и унести на белых свадебных крыльях к Всемогущему из всемогущих и Справедливейшему из справедливейших. Время от времени птичью сходку распугивал пушистый, стремительный, как молния, кот рабби Менделя, такой же неусыпный и бдительный страж святости, как и его хозяин.

Свежим хлебом пахло от чахлых, страдавших какой‑то таинственной болезнью кленов, под которыми, не чинясь, на виду у отмолившихся евреев мочились завсегдатаи корчмы братьев Кучинскасов. Возмущенные евреи требовали, чтобы бургомистр распорядился спилить эти клены, и, получив отказ, грозились их срубить сами, но так и не отважились – негоже, дескать, размахивать топором на чужой земле.

Заведенным тестом, казалось, пропахли даже весенние лужицы, сверкавшие неподалеку от синагоги на солнце. Да и оно само как бы уподобилось круглому караваю, заброшенному в небо.

– Пахнет, – мечтательно произнес Ицхак, вдыхая струившийся аромат хлеба.

– Хорошо еще – хлебом, а не конской мочой, – раздраженно бросила Эстер. – Немцы в синагогах лошадей держали.

Малкин не стал перечить.

Настроение у Ицхака вдруг сломалось. Чувство странной приподнятости сменилось печалью, запах хлеба вытеснился запахом беды, случившегося с ними несчастья. Ицхака ни с того ни с сего охватило желание повернуть назад, добраться до вокзала, дождаться поезда и, плюнув на все, вернуться в Вильнюс, как будто никогда ничего и никого не было – ни отца Довида, ни матери Рахели, ни реки Вилии, ни кленов, страдающих таинственной болезнью, ни луж, сверкающих на солнце, ни самого солнца, ни синагоги, пахнущей хлебом. Немецкие самолеты и танки; бравые земляки в белых повязках, согнавшие полместечка в рощицу, высаженную беглым русским барином; хлебопекари, дружно выполняющие пятилетку там, где пёк свои хлеба милосердный, справедливый, безжалостный и ничему не научившийся Бог евреев – их не прогонишь из памяти, как пернатых с крыши: они не оголодавшие воробьи и не крикливые воронята, а он, Ицхак Малкин, – не пушистый кот рабби Менделя.

– Может, вернемся? – обронил он.

– Нет, – твердо, с несвойственной ей решительностью ответила Эстер. – Мы что, зря столько в поезде тряслись, по грязи топали? Я хочу помолиться.

– Где? В хлебопекарне?

Толкуй ей, не толкуй, все равно сейчас ее не переубедишь.

Было время, когда дом молитвы и благочестия отличался от других домов в местечке, он был не жильем, хотя в нем и жил служка Мейер, а сутью, не строением из кирпичей и досок, из стекла и жести, не местом, а вместилищем – бесплотным и осязаемым одновременно. Во что же оно, вместилище, сегодня превращено? – подумал Малкин. В заурядную пекарню, где в пузатых чанах пузырится тесто; в хлебобулочный цех с тусклыми, похожими на опухоли или на нагноившиеся нарывы лампами под потолком, с почерневшими столами, уставленными противнями с булочками, смазанными не взбитыми яйцами, а чужими несчастьями.

Эстер сама все видит. Ей ничего не надо объяснять. Дом молитвы был для их дедов и прадедов, для отцов и матерей, для них самих не плотом, гонимым ласковыми волнами по чужому вздыбленному морю, не островом, затерянным среди пучин, а родиной.

Нет у них больше родины.

Нет.

В раздумья Ицхака вдруг вторгся озабоченный голос Натана Гутионтова:

– Доктор велел мне купить другую собачонку. Денег мне не жалко, но я подумал, зачем она мне? В могилу ее с собой не возьмешь.

Малкин не отвечал. Запах ржаного хлеба сорок шестого года все еще плыл над его седой головой, и странно было, что Натан Гутионтов его не чувствует.

Как можно не чувствовать этот запах, если на него слетаются даже парковые воробьи и голуби – вон как всполошились!

– Что же мне делать? – тем же озабоченным голосом допытывался Гутионтов.

Ицхаку не хотелось обижать друга, но и разговаривать о Джеки среди чанов с пузырящимся тестом, на виду у пекарей, в раскаленном, как пустыня, цеху он не мог. Оставил бы его Гутионтов в покое со своей собачонкой.

– Тебе плохо, тебе нехорошо? – лучик искреннего участия позолотил голос Натана.

– Не до собак мне сейчас, Натан, не до собак.

– А о чем ты думаешь?

– О многом, Натан.

– А я о многом не умею…

– Я думаю сейчас не о собаках, а о коте рабби Менделя, – на свое несчастье признался Ицхак.

– Ага, о коте так можно, а о собаках – нет.

– О каждой твари можно думать, как о Боге. Бог – в каждом из нас. Он – и в человеке, и в дождевом черве.

– Думай. Не буду тебе мешать. Когда кончишь думать о коте, поговорим о моей Джеки.

Гутионтов погрузился не то в молчание, не то в дремоту. Он не слышал, как Ицхак снова вошел в синагогу‑пекарню, как жар пустыни дохнул ему в лицо.

Возле чанов с тестом хлопотали распаренные женщины в надвинутых на лоб белых косынках, напоминавших Ицхаку воздушных змеев, которых он в детстве запускал на пустыре за школой. Запустишь – и змей, колыхаясь, как бы пританцовывая, устремляется в недосягаемую голубизну, туда, где на своем золотом престоле в окружении ангелов и серафимов восседает Господь Бог. Господь Бог спрашивает у ангелов: чей это змей? И ангелы и серафимы дружно отвечают: сына сапожника Довида Малкина – Ицхака, и имя его разносится под голубым куполом и плывет во все пределы, во все концы.

Ицхак покосился на работниц, и на миг грешная мысль проклюнулась в его голове – ах, если бы и они, не сотворившие никакого зла, никого не убившие, взмыли вверх над столами, уставленными противнями с булочками, над чанами с пузырившимся тестом и, подгоняемые струями ветра от трескучего вентилятора, вылетели через распахнутые окна синагоги во двор!

Ах, если бы их, как бумажных змеев, подхватили воздушные потоки и унесли к родным деревням, под соломенные родительские крыши! Ах, если бы сюда вошел белоголовый рабби Мендель и вслед за ним влетел стремительный, как молния, его пушистый кот!

Он, Ицхак Малкин, и она, Эстер Малкина, в девичестве Минее, чего бы только не отдали за то, чтобы все было, как прежде, как полвека тому назад, за то, чтобы рабби Мендель и его пушистый кот привели сюда, в дом благочестия, на их поруганную родину и братьев Ицхака – Айзика и Гилеля, и пятерых сестер Эстер – всех, всех…

Женщины продолжали работать. Их руки по локоть вязли в белом неуемном тесте, которое пыталось перетечь через края кадок и чанов. Работницы отрывали от месива большие куски и лепили из них крохотные, неказистые булочки, без изюма и без корицы.

Изюм и корицу можно было выковырять только из памяти. Но в синагоге‑пекарне властвовала не память, а удушающая жара.

Никто, кроме заведующего пекарней – на то он и заведующий, – не обращал на пришельцев никакого внимания.

Заведующий был рослый, крепко сколоченный мужчина, пышноволосый и пышноусый. Усы прикрывали не только верхнюю губу, но и рот, служили как бы ширмочкой, за которой свое тайное существование вели слова, – казалось, ни одного лишнего, неосторожного не услышишь. Военная выправка выдавала в нем офицера‑отставника. Он носил брюки галифе, заправленные в хромовые сапоги, и выцветшую гимнастерку, к которой был приколот орден Красного Знамени. В глаза бросались именные часы, большие, как компас, на которые он то и дело поглядывал, как будто куда‑то очень спешил.

– Шаркинас, – представился он. Имени он своего не назвал, но Ицхак понял – местный русский, может, даже старовер.

– Малкин, – пробормотал гость.

– Эстер Минес‑Малкина.

Шаркинас долго и сочувственно вглядывался в пришельцев.

– Я понимаю вас, – неожиданно сказал он и вздохнул. – Прийти в синагогу и вдруг увидеть чаны с тестом, печи… – Он помолчал и добавил: – Ничего не поделаешь, людей надо кормить.

Он ждал, когда Ицхак согласно кивнет головой, но тот отрешенно глядел на стену, на молчащих женщин, на раскатанное тесто.

– Всех ваших богомольцев немцы перевели, никого не осталось. – Он погладил ширмочку усов, за которой ждали своей очереди такие же округлые, взвешенные слова.

Ицхака коробила его снисходительность. Эстер же наоборот – была благодарна ему за понимание, за приветливость.

Гости долго молчали, бессмысленно переминались с ноги на ногу, не зная, что делать: уходить неприлично, а оставаться невмоготу.

Они и ушли бы, если бы не вопрос, буравивший мозг и сердце каждого из них.

– Скажите, пожалуйста, – почти виновато начал Малкин, – может, кто‑нибудь из вас слышал о судьбе наших братьев и сестер – детей сапожника Довида Малкина и жестянщика Хаима Минеса?

Ицхак и Эстер догадывались об их судьбе, но все‑таки надеялись на чудо. Вдруг кто‑то скажет: не убили – увезли на работы в Германию, в Эстонию, в Латвию…

– Товарищи женщины! – громко выкрикнул Шаркинас. – Может, кто‑нибудь из вас слышал о Малкиных и Минесах?

Работницы испуганно переглянулись. Раз ищут кого‑то, значит, дело нечистое, неважно кого – еврея, русского, литовца. Теперь ищут либо мертвых, либо тех, кто их умертвил…

– Таких, вижу, не имеется, – после паузы обратился он к гостям. – Поверьте, я очень сожалею. К нам уже приходили, спрашивали про Драгацких, Перских, Сагаловских, Эпштейнов. Ни слуху ни духу.

В синагоге‑пекарне стало тихо.

Шаркинас повернулся к своим подчиненным и произнес:

– Давайте, как у нас водится, завернем гостям в дорогу буханку литовского хлеба и булочек к чаю.

– Спасибо, спасибо, – зачастила Эстер.

Они не собирались нигде чаевничать – заглянут в какую‑нибудь столовку или забегаловку, и обратно в Вильнюс. Но Ицхак взглядом дал понять – не отказывайся, мол, возьми.

Женщины аккуратно завернули в шершавую неприглядную бумагу хлеб и с десяток булочек.

Булочки, чуть завьюженные сахарной пудрой, были теплыми, как только что снесенные куриные яйца. Эстер передала их Ицхаку, и странная, неожиданная мысль залила его глаза печальным и призрачным светом. Сейчас, подумал он, на глазах у орденоносного, молодцеватого Шаркинаса и его покорных работниц из них, из этих булочек, вылупится его родной дом на Каунасской улице; тесная каморка, заваленная изношенными ботинками; колодка с насаженным на ней сапогом; отец Довид; потом мать Рахель; потом братья Айзик и Гилель; потом, как из скорлупы, проклюнется и выедет праздничный стол с зажженным семисвечником; потом появится и она сама – веселая незабываемая Ханука.

Ветер памяти сдувал, как сахарную пудру, все лишения и невзгоды, легко и неотменимо сдувал смерть и погибель.

Нехорошо, конечно, что в синагоге пекут хлеб, подумал Ицхак, но это куда лучше, чем если бы ее превратили в конюшню.

Мысль так громко стучала в его висках, что ее услышал и Шаркинас. Он принялся терпеливо объяснять Малкину, что у них пока другого выхода нет, рады были бы печь хлеб в другом помещении, но – сами видите – уцелели только почта, костел и синагога, на которую и пал выбор. Но этот выбор временный. Когда построят химзавод – а его строительство намечено новым пятилетним планом, – тут вырастут всякие подсобные производства. К концу пятилетки, даст бог, освободят синагогу и отдадут ее краеведческому музею. Такой музей, по мнению Шаркинаса, очень и очень нужен. Пусть люди приходят и знакомятся с жизнью евреев местечка в недавнем и далеком прошлом.

– Хорошая затея, – сказал Ицхак. – Жаль только, что посетители не увидят на стендах будущего евреев.

– Ваше будущее зависит от вас самих, – уклончиво заметил Шаркинас.

– Вы так думаете?

– Я в этом абсолютно уверен.

– А не может ли так случиться, – съязвил Малкин, – будущее наступит для всех, но не для евреев?

– Побойтесь бога, – возмутился Шаркинас. – За что же мы воевали?

– Я не знаю, за что.

Эстер незаметно ущипнула мужа: молчи, мол, старый осел.

– Чем зря спорить, лучше поднимемся на женскую половину, – предпочел сойти с ломающегося льда на берег Шаркинас. – У вас, оказывается, мужчины и женщины молятся раздельно.

Пока они поднимались по каменной лестнице наверх, заведующий не переставал сыпать еврейскими фамилиями, перечислял своих еврейских друзей, хвастался тем, что после того, как принял хлебокомбинат, что‑то сберег и для будущего краеведческого музея («Я вам там, наверху, что‑то покажу»).

Ицхак в детстве три раза на дню поднимался с бабушкой по этой лестнице, он знал все ступеньки, как свои пять пальцев, каждая из них имела даже свое прозвище, но сейчас он ничего не узнавал. Все было переделано, перекрашено, переиначено. Его до боли смущала неузнаваемость того, что было когда‑то так близко, так знакомо и так необходимо.

Он испытывал какое‑то чувство вины перед своим совсем еще недавним прошлым, перед своими богобоязненными родителями, перед рабби Менделем. Он, рабби Мендель, и обвенчал его и Эстер здесь в далеком двадцать пятом году в только что отстроенной после пожара синагоге.

Была смущена и Эстер, которая с теплым свертком в руке шла по ступенькам так, как будто на них были рассыпаны недотлевшие угли.

Вместе с ними снизу, из пекарни, поднимались волны жара, смешанные с обволакивающим, липким паром, затруднявшим дыхание, пышущая огнем печь работала на всю мощь.

Ицхак в душе корил себя за то, что свой поминальный путь они начали не с пепелища родного дома, не с кладбища, где похоронены их деды и прадеды, не с белой рощицы, а с синагоги. Не такими уж примерными богомольцами они были. Но что сделано, то сделано.

Держа под мышкой буханку, Ицхак вслед за Шаркинасом юркнул в узенький, заваленный всякой рухлядью коридорчик, и вскоре очутился перед знакомой дверью.

Комната рабби Менделя, высеклось искрой в памяти. Сюда приходил он готовиться к бармицве – совершеннолетию.

От черной шляпы рабби Менделя, от его черного сюртука и черной с проседью бороды, как и от Торы, пахло вековой мудростью и притягательной тайной.

Ицхака так и подмывало открыть дверь, войти внутрь и выдохнуть в пустоту:

– Добрый день, рабби. Это я – Ицик Малкин.

Память искрилась, как костер, искры летели во все стороны, на миг освещая и углы, и потолок, и стертые, неразличимые письмена на некрашеных стенах.

Искра осветила комнату старосты синагоги Ноаха Шперлинга. Заносчивый, с лицом старого полуослепшего бульдога, следивший за всеми в местечке ревностнее, чем сам Господь Бог, он всегда оставлял у входа свои замысловатые галоши.

«Я вам там, наверху, что‑то покажу», вспомнил Малкин слова заведующего. Не галоши ли Шперлинга? Они действительно были достопримечательностью в местечке. Как уверяли евреи, их прислал ему из Канады старший брат Авигдор – владелец обувной лавочки. Резина блестела, как озерная вода в тихую погоду. Теплая байковая подкладка, толстые, в пупырышках, подошвы.

Малкин силился угадать, что же могло остаться от синагогальной утвари, но кроме галош Ноаха в его воображении ничего не возникало – ими все начиналось и ими все кончалось. Было бы чудом, если бы их не присвоили. Ведь после того, как одни бежали из местечка, а оставшихся под дулами погнали в белую рощицу, у евреев забрали все. Только мертвых не присвоили.

Ицхак на миг представил себе чудом сохранившиеся галоши Шперлинга – стоят под толстым стеклом в местном краеведческом музее, на задниках надпись: «Обувь евреев в буржуазной Литве». Представил себе, как в одно прекрасное утро они выбираются из‑под музейного стекла, шмыгают в двери и пускаются по опустевшему местечку, где когда‑то жили не музейные, а настоящие евреи, и зычным голосом Ноаха Шперлинга возглашают:

– Евреи, на утреннюю молитву! Молитва слаще, чем сон.

И евреи просыпаются – кто ото сна, кто от смерти. Напяливают на себя что попало и сломя голову бегут сюда, в синагогу, к рабби Менделю, под его голубиное крыло. Он всех приласкает, для каждого отыщет краюшечку надежды.

Шумели липы в Бернардинском саду, сладко, как убаюканный няней младенец, посапывал Натан Гутионтов. Его сопение возвращало Малкина из сорок шестого года, со второго этажа местечковой синагоги сюда, под эту крону, на эту скамейку. Ицхак старался не шелохнуться – пусть Натан спит, он недоспал в войну. Хотя на войне, пускай и урывками, каждый старался спать в любом положении: стоя, сидя, даже на марше. Когда затихала канонада, и в немыслимой, в невероятной тишине комариный писк воспринимался, как пение ангелов, даже командир не отваживался будить прикорнувшего солдата – спящий мог выпустить в него спросонок всю обойму.

Что снится ему, Натану Гутионтову?

Наверное, Балахна. Тихий русский городок под Нижним Новгородом. Сорок второй год; холодные, пропахшие хлоркой казармы, в которые их, местечковых Ициков и Зеликов, Хаимов и Довидов – молодых литовских евреев, согнали и наспех обучили военному делу. Обучили и бросили прямо в пекло – под Орел.

Может, ему снится Нинка или, как ее прозвали полковые остряки, Нинка‑осетринка.

Ицхак до сих пор никак не может взять в толк, чем Натан приворожил русскую красавицу. Он говорил на языке своей возлюбленной так, что все вокруг помирали со смеху. В то время он не знал не только ни одной русской поговорки, ему даже трудно было выговорить название местности, назначить свидание.

Сама Нинка подхватила его, завертела, закружила, как русская вьюга, и он, еще двуногий, послушно и счастливо прилепился к ней.

В праздничные дни Нинка прибегала к проходной, приносила ему, ненасытному, пирожки с капустой, и невесть где добытую осетрину. Когда дивизия отправлялась на фронт, она подарила ему, своему суженому, шелковый кисет с вышитыми вензелями «Н. З.» и надписью – «Милому Николаю».

Никто на фронте не получал столько писем, сколько счастливчик Николай‑Натан Гутионтов. На каждом конверте было крупно и размашисто выведено «Н. З.», а на каждом листочке рисуночек – голова рыбы, конечно же, осетра.

Наверное, большая русская рыба и сейчас вплывала в его сон, как раньше в траншею.

Пусть Натан спит, пусть сладко посапывает и пусть омывают его «Амурские волны», под звуки которых он и познакомился со своей избранницей в огромном, как земной шар, клубе машиностроителей. Пусть кружится под музыку старинного вальса и хотя бы на полчаса забудет о своей деревяшке.

– Милости прошу в мой кабинет, – сказал Шаркинас, пропуская вперед Ицхака и Эстер.

Подавленные, сбитые с толку, Малкины протиснулись в дверь.

– Садитесь, – предложил заведующий, – небось, притомились.

– Немножко, – ответил Ицхак. Сел и устремил взгляд на стену.

На стене красовался большой, обрамленный массивной дубовой рамой портрет Сталина в парадном мундире, со всеми регалиями, пестревшими на груди, как грибы‑мухоморы. Вождь был застеклен; стекло сверкало чистотой, и Ицхак не мог отделаться от ощущения, что все перед ним плавает, как в аквариуме – и мухоморы‑ордена, и усы, и погоны генералиссимуса, и отливающие золотом пуговицы.

– Раньше там висел Рамбам, – сказал Ицхак и тут же замолк.

– Кто, кто? – вежливо переспросил Шаркинас, и Малкин впервые почувствовал в его голосе нотку неприязни.

– Рамбам, – повторил Ицхак. – Наш великий рабби.

– Чем же он был так велик? – осведомился заведующий.

– В двух словах не расскажешь, – не желая испытывать терпение Шаркинаса, благоразумно уклонился от прямого ответа Малкин.

– У каждого в жизни свои учителя, – назидательно произнес хозяин пекарни. Он вынул из глубокого кармана галифе ключ, подошел к приземистому, как надгробие, сейфу, открыл его и, порывшись, достал сложенное вчетверо молитвенное покрывало – талес и бархатный чехольчик с вышитыми на нем древнееврейскими письменами – в такие набожные евреи вкладывали свои молитвенники.

– Может быть, ими пользовался кто‑то из ваших. – Шаркинас протянул их Ицхаку. – Когда принял комбинат, нашел их среди хлама в подвале.

Эстер и Ицхак застыли от неожиданности.

Шаркинас, ошеломленный собственной откровенностью, стоял, не двигаясь, держа в руках находку, потрогайте, мол, притроньтесь, может, что‑то вспомните.

Первой пришла в себя Эстер. Она шагнула к Шаркинасу и, как рыба наживку, схватила бархатный чехольчик. Пялясь близорукими глазами, она принялась не спеша читать древнееврейские слова, повторяя каждое из них вслух и поглядывая на мужа.

От чехольчика пахло подвальной сыростью. Но для Эстер он пах чем‑то другим – далеким и невыразимым. Может, потому память ее, как выловленная и брошенная в садок рыба, металась в поисках того, кому принадлежал чехольчик, кто вытаскивал из него перед молитвой сидур. Всех евреев вспомнила она поименно, но почти у каждого были такие же бархатные чехольчики, даже у тех, кто приходил в синагогу только по большим праздникам – на Песах и Йом‑кипур.

Ицхак погладил талес, развернул его и совершенно непроизвольным движением набросил на себя – на свою выцветшую гимнастерку, и плечи его вдруг согнулись под бременем этого почти невесомого полотна, как будто он, Ицхак Малкин, сподобившийся великого и горестного счастья выжить после страшной кровавой войны и вернуться на свою истерзанную родину, взвалил на себя не полотно, оскверненное чужими руками и пропахшее мышиным пометом, а все грехи мира, весь этот пепел, черневший на месте жилищ, все эти сломанные надгробья, всю эту синагогу‑пекарню с ее чанами и пылающей печью, все артиллерийские снаряды, которые четыре года летели в них, еврейских и нееврейских солдатиков, все эти оторванные руки и ноги, которые остались на полях сражений, как забытые богом плуги, всех своих близких, расстрелянных в белой рощице.

Малкину казалось, что вот‑вот он упадет на пол, но он устоял под этой невыносимой ношей.

– Спасибо, – сказал он Шаркинасу.

– Не за что, – не понял тот его благодарности.

Ицхак смотрел на него с почтительным удивлением. Он‑то поначалу думал, что Шаркинас сухарь, чинуша, даже антисемит. Как хорошо, что он, Ицхак, ошибся, недаром же отец Довид учил:

– Не спеши судить других. Никто не рождается на свет навеки хорошим или навеки плохим. В плохом человеке в один прекрасный день просыпается хороший, а в хорошем всегда бодрствует плохой.

– Послушайте, – несмело начал Малкин. – У меня к вам небольшая просьба.

Эстер в испуге глянула на мужа.

– За чем же остановка? Просите. Если это будет в моих силах…

– Я вам его обязательно верну, – пообещал Малкин и прошелся, как по клавишам, пальцами по полотну талеса. – Через часа два, а может, и раньше.

Шаркинас задумался.

– Ну что ж, – сказал он, – пока вещь не музейная, берите. Надеюсь, никто вас в таком виде не остановит и в участок не заберет, – засмеялся он некстати.

Малкин протянул Эстер завернутую в бумагу буханку подаренного хлеба – всю жизнь Ицхак получал его не в подарок, не за так, а зарабатывал честно: до войны – потом, на войне – кровью; поклонился Шаркинасу, тот заговорщически подмигнул, и гости быстро спустились по лестнице и вышли во двор.

Весеннее солнце стояло уже высоко над местечком.

Ицхак шел медленно, все время оглядывался по сторонам, как будто выискивал знакомых, но никого из прохожих не узнавал. Ему было небезразлично, кого он встретит первым. Казалось, от этой встречи что‑то зависит. Что? Малкин сам не мог себе ответить.

Как же он удивился, когда первым знакомым оказался местечковый ксендз. Высокий, дородный, в сутане, смахивавшей на надувную лодку, старик поравнялся с ним и поздоровался:

– Не сын ли вы Довида Малкина? – спросил настоятель.

– Да, – ответил Ицхак.

Они стояли друг против друга, один – в черной сутане, другой – в белом талесе.

Местечковый ксендз состоял в родстве то ли со вторым, то ли с третьим президентом Литвы. Фамилия его была Гринюс. Перед войной святой отец чинил у Довида Малкина ботинки. «У ремесла, – говорил он, – нет веры. Кто лучше шьет, кто крепче подошвы подбивает, кто прочней строит, тот и ближе к Господу».

– Надолго приехали?

– Нет, – коротко бросил Ицхак.

Разговор явно не клеился.

– Жаль. Жаль… – сказал ксендз и раскланялся.

Ицхак не стал вникать в то, о чем Гринюс сожалел. Ему было ясно – настоятеля печалила не только краткость их пребывания.

Какой‑то малец в пилотке без звездочки чуть не столкнулся с ними – перебежал дорогу и скрылся.

Ицхака и Эстер не оставляло желание расспросить кого‑нибудь о своих семьях, хотя спрашивай, не спрашивай, ничего утешительного не услышишь. Правды тебе никто не скажет – ни Гринюс, ни Шаркинас. Когда правда в крови, каждый ждет, чтобы ее смыл другой. Все охотно перекладывают правду друг на друга, мол, вы что, я ни капли чужой крови не пролил, я все четыре года пахал, косил, торговал, учил, шил, строил, рыбу ловил, молился. Господи, как мало тех, кто ее проливал, и как много почему‑то убитых!

Чего греха таить, и он, Ицхак Малкин, проливал чужую кровь. Два с половиной года, весной и летом, осенью и зимой, до того, как попал в интендантский взвод после тяжелого ранения и принялся обшивать полковое начальство, он день‑деньской в кого‑то без устали стрелял, в кого‑то беспрерывно целился, нажимал, зажмурившись, на курок и, вероятно, в кого‑то попадал. Что с того, что это было в смертельном бою, а не в белой рощице при въезде в родное местечко? Что с того, что противник – немец – был вооружен до зубов и тоже нажимал на курок, тоже палил круглые сутки и попадал, может, чаще, чем они, наспех обученные в Балахне? Как ни тяжко признаваться, но и на нем, на Ицхаке, – чужая кровь.

Это его братья Айзик и Гилель были безоружными – у них и патрона на двоих не было, и ружья. На них даже талесов не было – а вдруг пули отлетели бы от священного покрывала, как от брони, и застряли бы не в сердце, а в складках полотна.

Что за безумное время, что за проклятый век: вокруг столько смертей и так мало, так ничтожно мало правды! Он, Ицхак Малкин, не мудрец, у него вся голова не премудростью, а иголками забита, но даже он понимает то, чего не понимают вожди и полководцы: убивая друг друга, люди убивают и ее, правду.

Ицхак и Эстер не заметили, как очутились на Каунасской улице, там, откуда когда‑то колокольно на все местечко раздавался стук сапожничьего молотка.

От дома сапожника Довида Малкина остались только руины. В первые дни войны в него, видно, попал снаряд или бомба. Еще чернел фундамент, еще зияла полузасыпанная воронка погреба, где мать Рахель держала всякие варенья и маринады, где к весне зацветала купленная впрок картошка, где пылились деревянные санки, на которых до начала зимы катались неутомимые, проворные мыши.

Эстер стояла посреди пепелища, и взгляд ее искал следы еще недавно живой, не очень зажиточной, но и не бедной жизни.

– Тут, – тихо произнесла она, – была наша комната. – И ткнула пальцем в кучу мусора – смесь щебня, толченого стекла, полусгнившего тряпья.

– Да, – пробормотал Ицхак. – Вон там стояла кровать.

– А тут висело зеркало, – подхватила Эстер.

– Да, – упавшим голосом повторил он вслед за ней. – Ты очень любила смотреться в него. Мама добродушно ворчала: смотрись, не смотрись, красивее не станешь.

Эстер вздохнула.

– Четыре года мы в зеркало не смотрелись – не до зеркал было, – промолвил Малкин. – Может, ты хочешь посмотреться? Давай повернемся в ту сторону оба… ты и я…

Эстер и Ицхак, как по уговору, повернулись в ту сторону, где когда‑то висело семейное зеркало Малкиных с облупившейся амальгамой, казалось, оно было в сплошных бельмах.

– Ты нисколько не изменилась, – сказал он. – Только поседела. Но тебе идет седина. Ей‑богу, идет.

– Ври, ври, – болезненно улыбнулась она.

Они не сводили глаз с кромки горизонта, освещенного солнцем и сиявшего, как огромное зеркало с неподверженной порче поверхностью, в которое могут глядеться все погорельцы и изгнанники, все сироты, лишившиеся крова, все несчастливцы.

Ицхак и Эстер некоторое время стояли неподвижно, как будто давали какую‑то клятву, и царившее вокруг разорение – эта свалка, это пепелище, это толченое стекло, этот ужас, проникающий во все поры, – не отчуждало от их порушенного дома, а еще крепче соединяло с ним.

Ицхак никак не мог поверить, что когда‑то – в кои веки это было! – тут, под потолком, качалась его люлька, тут, на этом пятачке земли, по скрипучим половицам он сделал свой первый шаг, тут он первый раз в жизни прикоснулся к нагой женщине. Как же так, неужели тут больше никогда не раздастся стук молотка, не вспыхнет субботняя свеча, не прозвучит ни одна молитва?!

– Послушай, – сказал он Эстер, – мне пришла в голову хорошая идея.

Она боялась его идей, даже хороших.

– Зачем нам таскать весь день этот хлеб и эти булочки? Давай оставим их тут.

– Как тут? – не сообразила Эстер.

– Все раскрошим и рассыплем. Прилетят птицы, ночью сбегутся мыши, и снова в доме Довида Малкина забурлит жизнь.

– Ну уж, – хмыкнула она, – так уж и забурлит. Но если тебе так хочется… – Она вынула из свертка булочку и стала ее крошить.

Раскрошила и рассыпала. Потом взялась за другую…

Эстер ходила по руинам, как крестьянка‑сеятельница. Ходила и что‑то сквозь слезы приговаривала. Звала не птиц и не мышей, а своих родителей и пятерых сестер, расстрелянных в белой рощице.

Раскрошив и рассыпав булочки, они переломили буханку, сперва пополам, потом – на четыре доли, потом – на восемь и разбросали по кругу мягкие, еще хранившие тепло катыши.

Первыми с крыши соседнего дома, где жил путевой обходчик Игнас Довейка, спасший в войну Эстер, прилетели зоркие воробьи.

– Шолем алейхем, – сказал Ицхак и под их чириканье стал читать поминальную молитву – кадиш.

Воробьи клевали теплые хлебные крохи и счастливо чирикали; молитва стекала с уст Малкина, как стекают в Вилию вешние воды – неудержимо, клокоча и пенясь. Молитвой было освещено лицо Ицхака, умиротворенное и в то же время суровое, ее свет заливал все вокруг – и мостовую, и маячащую вдали белую рощицу, и само небо.

Вслед за воробьями пожаловала крикливая ворона. Она громко закаркала, замахала своими поминальными крыльями над Эстер и над Ицхаком.

Карканье врывалось в молитву, пятнало ее, и Эстер, шепотом повторявшая за Ицхаком каждое слово, руками отгоняла незваную гостью. Но катыш хлеба был для крикуньи более желанной добычей, чем молитва. Ворона взмывала вверх, делала круг над руинами и, скосив недобрый глаз, снова обугленной головешкой падала на землю.

– Кыш! Кыш!

Наконец, Ицхак выцедил из сердца весь кадиш.

Ворона, забыв про все опасности, смело вышагивала по толченому стеклу и то тут, то там выклевывала свою добычу.

– Кыш! Кыш!

– Не трогай ее, – сказал Ицхак Эстер. – Что с того, что она ворона. Может, она нас помнит лучше других.

Молитва преобразила Малкина. Прежняя печаль оставила его. Скорбь не утихла, но обрела какую‑то несуетную и неземную меру.

Поправив сползающий с плеч талес, Ицхак зашагал к дому соседа – Игнаса Довейки. Если бы не Игнас, он, Малкин, приехал бы сюда один, без Эстер. Это Довейка спас ее. Сперва спрятал в товарном вагоне на железнодорожной станции, потом отвез в лес к дяде‑леснику под Паневежисом, где скорее надо было опасаться оголодавших кабанов, чем немцев и их подельников.

В Паневежисе в сорок пятом Ицхак и встретился первый раз после войны с Эстер. Лесник Йеронимас привез ее на телеге и передал Малкину.

Прошел год, а Малкины еще ни разу не наведались к Довейке. То Эстер долго болела, то Довейка куда‑то уезжал и в письмах просил приехать в другой раз.

У Ицхака даже закралось подозрение, что Довейка их и не очень‑то хочет видеть.

Малкин толкнул знакомую калитку, и пес Довейки Лушис – Барс сердито залаял.

– Не узнает, – пожаловался Ицхак жене.

– Забыл, наверное.

– Забывают люди, а не собаки.

Отвыкший за четыре года от еврейской речи, Лушис залаял еще громче.

От его непрекращающегося лая проснулся прикорнувший на скамейке в Бернардинском саду Натан Гутионтов. Он подтянул свою деревяшку, уставился исклеванными сном глазами на своего однополчанина и друга и пробасил:

– Не поверишь, мы все были в талесах и ты был в талесе.

– Откуда ты знаешь? – удивился Малкин. – Ты что умеешь, как Вольф Мессинг, угадывать чужие мысли?

– Причем тут Вольф Мессинг! – отрубил Гутионтов. – Тюрин выстроил всех нас…

– Кого – всех?

– Всю роту. Скомандовал: «Смирно!». Стоим, не шелохнемся. Тишина такая, что слышно, как его портупея скрипит. И вдруг – бывает же такое во сне! – ротный начинает читать кадиш. По Яше Кривоносу, по И делю Хейфецу, по Исааку Шапиро, по Баруху Пузайцеву, по Ханону Лейпскеру, по Зелику Копельману…

– Ничего не скажешь, хорошенькие сны тебе снятся, – выдохнул Ицхак.

– А где их, другие, возьмешь? Для других снов другая жизнь требуется. Каков поп, таков и приход.

Поговорка, как всегда, никакого отношения к разговору не имела, просто Натана Гутионтова распирало от желания рассказать Ицхаку про сон, пока тот слушает его, пока не погрузился в свои глубокомысленные раздумья о коте рабби Менделя.

– А кончилось все для меня нарядом вне очереди.

– За что? – пожалел Натана Ицхак.

– За пустяк. Подошел я к Тюрину и сказал: «Товарищ лейтенант, у нас без головного убора нельзя говорить кадиш, наденьте, пожалуйста, пилотку». Все обошлось бы, если бы вся рота не грохнула от смеха.

– Ну и что было дальше? – снова пожалел его Малкин. Зачем обижать человека? Он, Ицхак, и так с ним бывает слишком резок.

Другой на месте Натана давно послал бы его к чертовой бабушке. Но Натан всем все прощает. Послушать Гутионтова, так доброта и есть прощение. Прощение даже выше доброты. Сделаешь что‑то доброе Янкелю‑Шманкелю, а он тебе не только спасибо не скажет, а еще и озлится в душе. А вот если кого‑нибудь простишь за какую‑нибудь гадость, он тебя никогда в жизни не забудет. Гутионтов до сих пор немцев прощает. Ему ногу оттяпали, а он прощает. Не всех, понятно, а тех, кто в окопах мерз и по принуждению убивал себя и других.

– Послушай, Ицхак, ты у нас отгадчик снов. К чему мой сон?

– К новому наступлению, – попытался сострить Малкин. – К какому, к черту, наступлению? Все наши наступления давно отбиты. Сейчас идет полное отступление. И не говори, что я свихнулся. Нас уже знаешь, куда отбросило?

Ицхак догадывался, о каком отступлении Натан говорит, но не перебивал его.

– Мы уже отброшены к воротам еврейского кладбища. Скоро нас туда всех снесут поодиночке.

– Снесут, – согласился Ицхак. – Тебе хорошо, у тебя есть носильщики – жена, дочь. А у меня – никого. Может, портные из моего ателье соберутся, вынесут и…

– Ладно, ладно… – перебил его Натан.

О чем бы они ни спорили, ни судили, ни рядили, все их разговоры кончались кладбищем.

По сути дела, кладбищем были и все их бесконечные воспоминания. С той только разницей, что на кладбище воспоминаний не было мертвых, призраки по нему бродили, как живые, а живые – как призраки.

– А у нас новость, – бодрясь и неестественно оживившись, без всякой связи с только что приснившимся сном произнес Гутионтов. Глаза его были печальны, как у мученика на русской иконе.

Ицхак всегда относился к сообщениям Гутионтова снисходительно‑недоверчиво. Натан частенько начинал высокопарно, как диктор, но его новости не только не потрясали, но и не отличались новизной. Они повторялись и, уже несвежие в зародыше, от повторения покрывались еще большей плесенью. Ицхак обычно прислушивался к ним, что называется, одним ухом – старина опять расскажет что‑нибудь смешное и трогательное о своей Джеки, примется расхваливать какое‑нибудь индийское лекарство или поругивать Горбачева и Ландсбергиса – первый, мол, литовцев не отпускает, а второй, мол, слишком спешит.

Но на сей раз Малкин в словах Гутионтова уловил что‑то и впрямь новое, не зачерствевшее, как старый хлеб. У этой новости был другой запах, от нее пахло, если не бедой, то чем‑то тревожным и неотвратимым.

И Малкин не ошибся.

– Ты не поверишь, но Лариса прислала вызов, – сказал Гутионтов и испуганно замолк. Он не знал, как это известие воспримет Ицхак, но понимал, что оно его скорее опечалит, нежели обрадует. Шутка ли – столько лет вместе провели и на войне, и после войны. И вдруг – прощай, вдруг расставайся навеки. Случись с ним, с Натаном, там, в Израиле, что‑нибудь – Ицхак плечо под его гроб не подставит. И он, Натан, оттуда не приедет, не прилетит, когда наступит час…

– Вызов? – переспросил Малкин.

– Ни я, ни Нина у нее никаких бумаг не просили. Про кофе писали, про таблетки от астмы. Я на новую бритву намекал, но чтобы вызов… – стал почему‑то оправдываться Гутионтов.

Ицхак не отвечал, сидел, зажмурившись, как слепой. Солнечный свет, разлитый над Бернардинским садом, раздражал его. Ему хотелось побыть в темноте. С ним не раз так бывало, особенно когда захлестывала печаль. Еще отец учил его: радоваться хорошо на свету, а горевать – во мраке.

– Ну скажи, не сдурела ли девка?.. Зачем мы Израилю? Зачем Израиль нам?

Ицхак молчал. Его мысли были далеки от Израиля. Они витали где‑то во тьме, где не было ничего, кроме крыш родного местечка.

– Там что – русских жен не хватает? – тормошил Гутионтов Ицхака.

И до русских жен Малкину не было никакого дела.

Нина, та ни в какую. Если куда‑нибудь и поедет, то только обратно в Балахну. Ее Израиль – Россия. Там ее земля обетованная. Сам, говорит, поезжай.

Натан ждал, когда Малкин оставит свою тьму, но тот и не думал из нее выбираться.

– А без Нины Андреевны что мне там делать? – скорбно вопрошал Гутионтов. – По‑твоему, кто дороже – жена или дочь?

– Не знаю, – тихо произнес Ицхак. – У меня никогда не было ни сына, ни дочери.

– Прости, – сказал Натан. – Слушай, а что если я приведу ее сюда?

– Кого? – не сообразил Малкин.

– Кого, кого – сам знаешь, кого. Будь другом, поговори с ней.

– Не поможет.

За калиткой исходил злобой Лушис. Он метался на длинной цепи и рвался в бой. Лай его заглушал все вопросы и ответы.

– Ты меня не понял, – обмяк Гутионтов. – Я хочу, чтобы она не уехала в свою Россию, в свою Балахну. С моей деревяшкой ее не догонишь.

– Хорошо, – пообещал Малкин, – поговорю. Нечего ей ехать ни туда, ни туда. Как говорил мой дядя Рахмиэль, приехали – распрягай лошадь, прячь кнут.

Мимо с метлой прошествовала пани Зофья. Она бросила взгляд на разморенного исповедями Ицхака – ему все исповедуются: и листья, и воробьи, и люди. Хмыкнула и скрылась за деревьями.

– Я давно распряг лошадь, а кнута у меня никогда не было.

– У тебя был пряник, – пошутил Малкин.

– Ты шутишь, а мне страшно. Приду однажды домой из парка, а дом пустой. И на столе записка: «Счастливого пути. Н. З.» Как на кисете. И ищи ветра в поле. – Он облизал губы и продолжал:

– Я никогда от тебя ничего не скрывал и скрывать не намерен. Мне уже никуда не хочется, никуда.

Разговор ему давался с трудом.

– Есть у тебя таблетка? – тяжело дыша, спросил он.

– Есть, – засуетился Ицхак и достал из верхнего кармашка пиджака валидол.

Натан положил под язык лекарство, подождал, пока таблетка рассосется.

– Ни к дочери, ни к внуку меня уже не тянет. Мне все равно, где лежать. Я не Гирш Оленев‑Померанц – ему подавай братскую могилу, место, известное всему миру. Мне что Понары, что бейт‑кварот в Бней‑Браке, где моя Лариса, то бишь, Лиора с сыном живет, что коммунальное еврейское кладбище тут, в Вильнюсе. Хотя мы‑то с тобой знаем: весь мир – одна могила. Как от других не отгораживайся, а дотлевать приходится всем вместе, в одной земле. Есть один человек на свете, который меня понимает, – это ты. Ведь и ты, небось, не согласился бы мерзнуть или потеть на том свете отдельно от жены, только потому, что она – русачка. Вместе с Ниной столько прошли, вместе и лежать должны. Если дочка захочет над нами слезу пролить, то купит себе билет на самолет и прилетит. Нам много слез не надо. С нас хватит и одной‑единственной. Иногда одна слезинка целого моря стоит, потому что в ней умещаются все моря на свете, если плачут не глаза, а сердце.

Ицхак никогда от Натана ничего подобного не слышал. Речь Гутионтова, освобожденная от расхожих поговорок, очищенная тревогой от житейского сора, пламенела, как подожженный спирт. Полная горечи и смятения, легко разгадываемых недомолвок, она изумила Малкина и повергла в уныние. Гутионтов никогда не был говоруном. В отличие от своих собратьев по ремеслу он не докучал своим клиентам неумеренной болтовней, не рассказывал анекдотов и небылиц, не хвастал своими победами над женщинами, даже работал он в необычном месте – на базаре. А в прибазарной парикмахерской не очень‑то разойдешься. Народу – уйма. Гул, галдеж, ругань, спешка – только поворачивайся, только стрекочи ножницами, посверкивай бритвой, только отсчитывай сдачу. Стрижка – копейки, бритье – чуть ли не задарма. У Гутионтова – а ему, как фронтовику, доверили еще и заведывание цирюльней – все привиленские деревни стриглись, да еще пол‑Белоруссии: Вороново, Лида, Гродно, Молодечно, Сморгонь…

Клиенты любили его, хотя за глаза и «дешевым жидом» называли. Но Натан на них не обижался – что с деревенщины возьмешь, ум у них жиже, чем бороды.

Ицхак смотрел на Гутионтова, как на совершенно незнакомого человека. Таким, как сегодня, он его никогда не видел. Полвека дружат, водой не разольешь, и надо же – так удивить! Мудрец, златоуст, страдалец.

Только что же ему посоветовать? Самое простое – бросить вызов в мусорную корзину или изорвать на мелкие клочки и спустить в сточную канаву. Но такой совет и любой дурак даст.

Легко сказать – в сточную канаву, в мусорную корзину! Ведь от этого, как подумаешь, зависит, куда жизнь повернется, долга ли она, коротка ли, как спичка.

Может, там, за тридевять земель, под расточительным солнцем, которое светит во всю круглый год, там, рядом с дочерью, какой‑никакой, но твоей кровиночкой, с внуком, имя которого не сразу и выговоришь, на год, на два протянешь дольше, будешь каждый день, как пишет Лариса, витаминиться – уплетать персики и абрикосы, виноград и апельсины, и другие диковинные фрукты, в Израиле их вроде бы столько, сколько в Литве сосновой хвои.

А тут что? Скамейка в парке ненужных евреев, термос с заваренным чаем, бутерброд с постной колбаской, ломтик литовского сыра. И сны. И воспоминания. Наверное, нет на свете страны, где люди так богаты воспоминаниями, где прошлого гораздо больше, чем настоящего. А будущее? Будущее заколочено крест‑накрест, как покинутая усадьба.

Конечно, все они – и Ицхак, и Моше Гершензон, и Натан Гутионтов, и Гирш Оленев‑Померанц – свой вызов уже получили. Что такое бумага Ларисы, скрепленная казенной печатью, по сравнению с ним? Небесная почта работает безотказно. Если почтальон – посланец Господа Бога – и задержится чуть в дороге, он все равно явится и постучится в дверь. Найдет тебя и скажет: распишись в получении.

Распишешься и подведешь черту под всеми своими снами и воспоминаниями.

Ицхак не мог и не хотел себе представить, что пройдет месяц‑другой, и он поутру направится не в облюбованный всеми ими парк у подножия княжеского замка, а на пропахший паровозным дымом, едким потом, прокисшими объедками, бездомностью и сиротством железнодорожный вокзал, чтобы проводить в другой город, в другую страну, на другую планету своего старого друга. Как ни тщился Малкин, он не мог вообразить эти проводы, похожие на похороны, на которых есть покойник, но нет гроба и на которых каждый провожает каждого в тот же путь, но делает вид, будто они отправляются в разные стороны.

Одно было Малкину ясно с самого начала: без жены Натан никуда не уедет, он без нее даже на курорт в Друскининкай не уезжал.

Как ни странно, Ицхака пугал не сам отъезд, а сбор на выщербленном перроне, под большими вокзальными часами, которые отсчитывают другое – неземное – время. Придут, конечно, и Моше Гершензон, и Гирш Оленев‑Померанц, и беспамятливая Лея Стависская с внучкой и, может быть, ночная еврейка пани Зофья. Придут, станут у подножки вагона, прижмутся друг к другу и вдруг, как никогда, осознают: как их мало, как их до жути мало.

Неужели, кроме них, никого не будет? Только маленькая горстка, заметенная, как снегом, нетающей печалью.

Где же те солдаты, с которыми Натан Гутионтов вместе во сне читал кадиш?

Где суровый ротный Тюрин в пилотке и талесе?

Где все эти бородачи из Вевиса и Гедрайчяй, Сморгони и Молодечно, которых он, Натан, обрызгивал одеколоном «Гвоздика»?

Где эти – косая сажень в плечах – торговцы белорусской бульбой и литовской антоновкой, которые плюхались в обшарпанное, обшитое кожей кресло, и которых он укутывал в белые простыньки, как в пеленки?

Где они, эти клиенты «дешевого жида» с их хмурыми лицами, заросшими рыжей щетиной, как лесные прогалины мхом?

Натан Гутионтов смотрел на притихшего Ицхака и уже жалел о том, что сказал ему про вызов. Только расстроился человек. Ему‑то, Ицхаку, не на что надеяться.

– Кажется, дождь пошел. Может, махнем в павильон? Второй день подряд ношу с собой и бритву, и помазок, и крем, и одеколон. В термосе – кипяток. Нина даже полотенце положила. Не бойся, не прирежу. У всех Гутионтовых в руках ума было больше, чем в голове. Так уж Бог рассудил. А Он – не ротный повар, Ему не скажешь: добавь, Васек, мозгов.

Они встали со скамейки и направились к летнему павильону, где размещалось кафе, – непрочному, аляповатому строению с брезентовым куполом, напоминавшим не то пляжный тент, не то раскрытый парашют.

Лил дождь, сумбурный и щедрый.

Пес Игнаса Довейки, спасшего от погибели Эстер, забился в конуру; часы на перроне еще показывали не время разлуки, а хрупкое время совместного, нерасчлененного житья‑бытья; на столик под куполом кафе, рядом с пепельницей, легла старая бритва, истосковавшаяся по умелой руке мастера и по ароматной мыльной пене.

И в эту минуту они все были счастливы – и Натан Гутионтов, и Ицхак Малкин, и далекая Лариса, и пес Довейки, и дождь.

## Глава третья

– Лея пожаловала, – проворчал Гутионтов, намыливая правую щеку Малкина. – Стоит под деревом и ждет, когда дождь кончится.

– Давненько ее не было, – не поворачивая головы, бросил Ицхак. – Я уже думал – не придет. Болезнь‑то нешуточная, не про нас да будет сказано.

Дождь барабанил по брезентовому куполу кафе; медленно скользила бритва; пахло весенней прелью, предвещавшей близкое цветение.

Ицхак прислушивался к поскребыванию бритвы, и мысли его невольно устремлялись туда, в дождь, под дерево, к его дальней родственнице, страдавшей от неизлечимого, прежде не известного местечковым евреям недуга. Ни Ицхак, ни его отец никогда не слышали, чтобы кто‑нибудь вдруг и навсегда потерял память.

Лея редко приходила в Бернардинский сад. Если и приходила, то не сама – ее приводила либо внучка Авива, либо дочь Сарра, толстуха с широко расставленными, черными, как у цыганки, глазами, со старомодной длинной косой, уложенной калачом на голове.

Они оставляли Лею на попечение Малкина, иногда до полудня, а иногда и до вечера. Он смиренно соглашался, все равно, мол, просиживает в парке почти полный рабочий день. Что ему стоит присмотреть за своей тихой, как липа, родственницей? Тем паче, что он, как сам признавался, положил на нее когда‑то глаз, а глаз, положенный на кого‑нибудь в молодости, подобен ожогу – не кожу жжет, а сердце.

Сарра Стависская работала поблизости в банке, не то кассиром, не то бухгалтером, и ровно в четыре, тютелька в тютельку, как и подобает человеку, имеющему дело с деньгами, прибегала за матерью.

Лея, бывало, исчезала на месяц‑полтора, а потом так же неожиданно возникала. Каждое ее исчезновение воспринималось Малкиным, как знак беды. Во время посещения могилы Эстер на еврейском кладбище Ицхак даже искал ее, Леи, надгробие.

Все, кроме Моше Гершензона, относились к Стависской сочувственно. Только грамотей Моше не терпел ее и делал все, чтобы отвадить старуху. Кому, дескать, нужны ее кривляния, ее зевки, ее пугающие ахи и охи? Они собираются тут не для зевков, а для того, чтобы что‑то вспомнить. Пока человек вспоминает, он жив, он и впрямь подобие Господа, ибо в чем заключается величие Всевышнего? Разве не в Его бездонной, бесконечной, неиссякаемой памяти? На то, по мнению Моше Гершензона, Он и называется Творцом, что помнит все свои творения.

Ицхак, Гутионтов и Гирш Оленев‑Померанц заступались за Стависскую, взывали к великодушию Моше, но Гершензон и слышать не хотел. «Ее место – дома или в богадельне. Зачем нам эта развалина?»

– Все мы развалины, – говорил Ицхак. – Может, Лея вспоминает молча – взглядом, жестом, сердцебиением? Может, случится чудо, и к ней вернется память, пробудится ото сна разум?

– От зевков, что ли? – не отступал грамотей Гершензон. – Если вам так нравится ее общество, пусть приходит, пусть сидит, зевает, кривляется, портит воздух…

Малкину все‑таки удалось уломать упрямца. Моше не злой человек. Он просто несчастный. А несчастье не любит, когда рядом другое несчастье – оно только подчеркивает твое собственное. Как всякого несчастливого человека, его раздражали разговоры о чудесах (видно, слишком долго он их ждал и совсем в них разуверился). Ицхак не раз пытался ему объяснить, что без веры в чудо еврей – не еврей. Как поразмыслишь, еврей сам по себе – чудо: на кострах его жгли, газом травили, по сей день чернят и поносят, преследуют и унижают, а он живет. Почему? Потому, что уже в пеленках верит в чудо.

Гутионтов не спешил, он как бы наслаждался своей работой, который раз намыливал щеки своего друга, снимал ремень, привязывал его к стулу и затачивал об него бритву. Ицхак не торопил его – пусть порадуется, пусть отведет душу.

Малкин всматривался в завесу дождя, но тот не прекращался, щедро высевая, как зерна, крупные, ядреные капли.

Не приведи господь, оказаться на месте Леи, поймал себя на мысли Ицхак. Врагу не пожелаешь. Живет и не живет. И никакого лекарства нет. Под язык спасительную таблетку не сунешь.

Единственное, что Стависская помнила, хотя и смутно, это восемнадцатый год, когда ее, молодую, смазливую девчонку, принял продавщицей в свою лавку колониальных товаров Бениямин Пагирский. После этого время для нее как бы остановилось – внезапно, резко, как скорый поезд на конечной станции, поезд, в котором никогда не сменятся ни пассажиры, ни машинисты и для которого уже никогда не будет другого маршрута, чем «детство – прилавок»; не будет другого времени года, кроме золотой осени восемнадцатого; никакой другой лавки, никакого другого хозяина и, что самое страшное, никакой другой Леи Стависской – она навсегда останется шестнадцатилетней.

Прошло почти что семьдесят лет, но Лея Стависская и сейчас помнила, какие товары лежали на полках лавки и какие хранились в огромной, запертой на семь замков кладовой. Чего только там не было – чернослив и арахис из Турции, миндаль и курага из Персии, орехи и марципаны из Греции, рис из Китая, кофейные зерна из Бразилии. Лея помнила цены на товары и фамилии тех, кто приходил в лавку, их вкусы и прихоти. В ее памяти роились, как пчелы, все покупатели.

Мельник Гольдштейн всегда брал у Пагирского фиги и шоколад, он был ужасный сластена, мог в один присест съесть кучу сладостей.

Жена фельдшера Флека мадам Амалия обожала цейлонский чай, всегда закупала его впрок: пока, мол, доставят новую партию с Цейлона или с какого‑нибудь другого диковинного острова, она, мадам Амалия, и состариться успеет.

Красавчик Лех Тиминьский, сын местного помещика, заранее заказывал свои любимые кубинские сигары; Леха обслуживал сам Пагирский, раскуривал, бывало, с ним сигару и рассуждал о несокрушимой мощи Российской империи: мол, все его, Тиминьского, надежды на освобождение Польши смешны и напрасны.

Гроздья невиданных плодов висели в испорченной памяти Леи Стависской, как на дереве. Память‑дерево цвело редко и недолго, но когда оно зацветало или плодоносило, Лея Стависская оживала, и в тишине Бернардинского сада звучал ее, казалось, не тронутый временем, грудной шестнадцатилетний голос.

– Три фунта изюма стоили рубль.

Или:

– Корица шла по цене от десяти до пятнадцати копеек за кулёчек. А как пахла! Как пахла!

Лея принюхалась к липе, как к коричному дереву, и в те просветленные мгновения не только ей, но и им мнилось, будто от обыкновенной литовской липы по всему парку струится ни с чем не сравнимый сладостный аромат далеких рощ и морей.

Моше Гершензон, и тот шмыгал своим увесистым, как огурец, носом. Но больше всего радовался Ицхак Малкин: оказывается, и ее, Леи, воспоминания могут щекотать ноздри. Велика ли радость, когда входишь в воспоминания только, как в мертвецкую, из которой разит трупным запахом? Уж лучше дышать воздухом колониальной лавки. Что с того, что ничего не купишь? Но зато в свою кладовую, в сердце, можно все сложить безоглядно и навсегда.

Натан Гутионтов, забыв о своем увечье, вьюном вертелся вокруг Ицхака. Он размахивал бритвой, как шашкой, ее лезвие сверкало в воздухе, и от этого сверкания рябило в глазах.

Право слово, никогда еще в жизни Натан не работал с таким тщанием и ответственностью, как сейчас. Даже самый маленький порез был бы для него позором, даже капелька крови запятнала бы его честь, его радость, по которой он так истосковался.

Господи, он снова парикмахер! Неважно, что трудится не в сверкающем зеркалами салоне, а в закрытом до начала лета кафе, что на нем не белоснежный халат, а дождевая курточка с капюшоном, что клиент сидит не в кожаном кресле, а на выщербленном пластмассовом стуле и что на таком же пластмассовом столике нет ни штифта, ни зеркальца, ни пульверизатора.

Зачем ему, Гутионтову, пульверизатор и одеколон – он освежит Ицхака своей благодарностью, своим дыханием. Как жаль, что за его работой не наблюдают ни брюзга Моше Гершензон, ни опаленный несчастьями Гирш Оленев‑Померанц. Натан им бесчисленное множество раз предлагал: приходите ко мне домой, я буду вас стричь и брить бесплатно до гробовой доски; не хотите бесплатно – вытаскивайте кошельки, я вас не разорю, возьму с вас копейки. Но они, негодяи, не желают ни даром, ни за деньги.

Брался за бритву Гутионтов и раньше – бывало, забежит пьяница‑сосед, Натан его пострижет и побреет и даже магарыч тому поставит, только, мол, приходи.

Но одно дело пьяница, а другое – Малкин. Ицхак сам уже лет пять иголку в руки не берет. Как отпраздновал свой трудовой юбилей – семьдесят лет с того дня, как в подмастерья попросился, – так и не шьет. Воткнул все иголочки в подушечку и повесил над кроватью.

Правда, неукротимый Гирш Оленев‑Померанц уверяет, что Малкин нет‑нет, да оседлает «Зингера».

Когда Гутионтов спросил у флейтиста, а что Ицхак, оседлав своего коня, делает, Гирш Оленев‑Померанц замялся и сказал:

– Сидит и нажимает на педали. Портному хорошо: закрыл глаза – и кати по белу свету. Разве сравнишь его с парикмахером? Есть и у цирюльника машинка, но стрекочи, не стрекочи, никуда на ней не уедешь, никуда не улетишь.

Как жаль, что до сих пор не пришли ни Моше Гершензон, ни Гирш Оленев‑Померанц. Если же дождь прекратится, и подоспеет Лея Стависская, то в ней что проку?

Не успел Гутионтов подумать о Лее, как она вдруг двинулась сквозь дождь, без зонтика, к павильону летнего кафе. Шла она не одна, а в сопровождении чернявой внучки Авивы, высокой девочки в белоснежной майке, на которой по‑английски было начертано: «Beatles». В руках у нее была зачехленная ракетка. Авива по вторникам и четвергам училась играть на корте, расположенном по соседству.

Стависская шла, вытянув вперед руку, как будто пыталась, как занавес, раздвинуть струи дождя.

Ицхак неотрывно смотрел на нее и ловил себя на мысли, что перед ним – ослепшая нищенка, которая вот‑вот застучит клюкой о мокрую землю. Он силился представить ее черноокой местечковой красавицей, продающей в лавке колониальных товаров все сладости мира, но никак не мог.

Какая страшная участь: все, что было до шестнадцати лет, – помнить, а все, что происходило после, – забыть и словно погрузиться в кромешный, непроницаемый мрак! Весь мир втиснулся для нее в одну точку – в лавку колониальных товаров Бениамина Пагирского. Бениамин Пагирский был для Леи Стависской Господом Богом, сотворившим все: и ее, третью дочь в семье плотогона Нахмана, и мельника Гольдштейна, и фельдшерицу Амалию Флек, и помещичьего отпрыска Леха Тиминьского. Сердобольный лавочник был для нее тем, кто создал все блага на земле: в первый день сотворил инжир и марципаны, во второй – кубинские сигары и китайский рис, в третий – грецкие орехи и финики, в четвертый – цейлонский чай и бразильский кофе, в пятый – оливковое масло, в шестой – турецкий чернослив и арахис и, отдохнув, на седьмой день вылепил из бедра Адама ее, Лею Стависскую.

Придя в Бернардинский сад, она обычно спускалась к журчащей Вилейке – притоку Вилии, молитвенно окунала в воду руки, а потом час‑другой отрешенно и безмятежно паслась на берегу, как смирные коровы ее детства. Иногда с берега до слуха Ицхака, прохаживавшегося на всякий случай по откосу, доносилось ее негромкое пение. Это было даже не пение, а какой‑то невнятный всхлип, какая‑то клочковатая жалоба на все вокруг, на прошлое и на будущее. Настоящего для нее просто не существовало. Слова песен, чаще всего колыбельных, трудно было различить, ибо Лея пропускала в них то один, то другой слог, и Ицхаку приходилось прилагать немало усилий, чтобы из нелепицы звуков составить представление, о чем она поет.

В молодости у нее был низкий грудной голос, который выделял ее среди подруг, недаром она, совсем еще юная, была запевалой на свадьбах.

Взбудораженный и растроганный ее пением‑всхлипом, Малкин спускался с откоса к реке, садился на траву и чуть слышно, хрипловато подпевал.

Со стороны, наверное, их пение производило ошеломляющее впечатление – так поют перед концом света, но никто на них, слава богу, не обращал внимания, и, усеченные, чем‑то напоминавшие култышку Гутионтова еврейские колыбельные плыли над журчащей Вилейкой, над склонами священной княжеской горы.

Через некоторое время оба они умолкали и принимались суеверно вглядываться в воду, как будто на ее поверхности могли прочесть что‑то такое, чего до сих пор не знали и что, может, и не осчастливило бы их, но и не сделало бы несчастнее. На рябящей речной глади возникали, беспрерывно меняясь, какие‑то образы и видения – казалось, река была усыпана часами со сверкающими под стеклами циферблатами.

Он не знал, о чем думала, глядя на воду, Лея. Наверное, снова о лавке Пагирского. Ицхак же вспоминал другой берег, другую реку. Он видел себя восемнадцатилетним, рядом с дочкой плотогона Нахмана – у Леи изо рта торчит былинка и у него такая же, прикушенная губами; одна былинка тянется к другой, тянется, тянется, пока не коснется другой кончиком, и так без начала и без конца, так до самой звездной полуночи.

Еще совсем недавно Ицхак не верил в ее болезнь, думал: Лея придуривается. Каждому на время выгодно юркнуть в беспамятство, как нашкодившей мыши в норку.

Прошлой осенью – Малкин до сих пор стыдится своего поступка – он устроил ей проверку:

– Помнишь, как мы с тобой около старого моста над Вилией всю ночь былинками друг друга щекотали?

Лея Стависская даже головы не повернула в его сторону. Она бродила по берегу Вилейки – дочери Вилии – и срывала увядшие до срока ромашки.

– Помнишь, как твой отец повалил меня на землю, стянул портки, врезал почем зря своей огромной ручищей и, схватив тебя, на прощание бросил: «Еврейские дети до свадьбы в такие игры не играют».

Но и тогда у нее в памяти ничего не вспыхнуло.

– Следующий! – по обыкновению объявил сияющий Натан Гутионтов, закончив бритье. Никто не отозвался. В павильоне летнего кафе «следующих» не было.

– Ты еще мастер, – не поскупился на похвалу Малкин и несколько раз погладил свои чисто выбритые щеки. – Ни одной ранки, ни одной щетинки. Да и морщин, кажется, поубавилось. Ты что, и их умеешь сбривать?

– Я все умею, – искренне похвастался Натан.

– Молодец.

– Молодец среди овец, – поспешил блеснуть еще одной русской поговоркой Гутионтов.

– Мог бы, пожалуй, еще годик поработать, – расщедрился Ицхак.

– Предлагали одну халтуру, но я отказался.

– Отказался? – удивился Малкин. – Почему?

– Ну, во‑первых, место неподходящее. Дом печали. Чего‑чего, а печали у меня и без того хватает. Во‑вторых, не тот контингент. Я никогда, Ицхак, не стриг и не брил мертвых.

– Да‑а‑а, – неопределенно протянул Ицхак.

– Директору что? Был бы работник. Ему все равно, кто колдует над покойником, – такой старик, как я, или молодой чемпион мира – обладатель Золотой бритвы. Я же люблю смотреть клиентам в глаза, слышать их дыхание, их кашель, их чихи, видеть, как они крутятся‑вертятся, знать, кто честит правительство, а кто стелется перед ним травкой, у кого любовница, а у кого четвертая жена. Тогда и я поношу правителей, тогда и я стелюсь травкой, тогда – страшно вымолвить – и у меня любовница, хотя у меня никогда никого, кроме Нины, не было и не будет. Следующий!.. – задиристо выкрикнул Натан и, кинув на руку полотенце, застыл в выжидательной стойке.

– Ничего не поделаешь, Натан, хороший мастер должен уметь не только ладно шить и брить, но и ждать.

– О, тут мы с тобой чемпионы.

В павильоне пахло кремом для бритья. Натан вдыхал этот запах полной грудью, как дух весеннего луга, и что‑то неосязаемое и неуловимое вдруг подхватило его, вознесло над Бернардинским садом и увлекло к началу начал – к парикмахерской Пинхаса Ковальского, брадобрея из брадобреев, получившего диплом в головокружительном, недосягаемом Париже.

– Что такое парикмахер? – спросил он у юного Гутионтова, когда тот переступил порог его заведения и испуганно застыл перед зеркалом. – Не раввины, юноша, – посланцы Бога на земле, а мы. Что могут раввины? Научить человека читать, молиться.

Натан стоял, вытянувшись перед своим будущим учителем Ковальским в струнку, как новобранец на плацу.

Всевышний одел человека в плоть, влил в его жилы кровь, а все остальное сделали парикмахеры. Без них человечество заросло бы мхом.

Молоденький Гутионтов не смел ему перечить, хотя и не понимал, почему человечество заросло бы мхом – ведь можно побриться и постричься не только у парикмахера – ножницы есть и у портного.

– Если вы, молодой человек, запомните главную нашу заповедь – возлюби бритву, как ближнего своего, – то я вас, пожалуй, приму в ученики.

– Возлюблю, – поклялся Натан. – Возлюблю.

И впрямь возлюбил до самой старости. Больше ближнего своего, больше себя самого.

Порывы ветра швыряли пригоршнями капли дождя во все стороны. Господь Бог из своего неиссякаемого пульверизатора щедро поливал Бернардинский сад, княжеский замок на горе, скамейки под липами, брезентовую крышу сиротливого кафе.

От щедрот дождя оживала и память Гутионтова.

Он еще долго не выходил из парикмахерской Пинхаса Ковальского, таскал ему из тесной кухоньки, где шипел примус, горячие компрессы для клиентов, хватался за метлу, подметал чужие волосы и каждый день был счастлив – от пара, от пыли, от веселого позвякивания ножниц, от сверкания огромного зеркала, купленного хоть и не в Париже, но где‑то заграницей. Он до сих пор помнит свое отражение в нем и не хочет себя видеть другим.

Ливень одолел и Лею. Она остановилась, снова прижалась к корявому стволу липы и, как кроной, накрыла кольцом своих рук голову Авивы. В этой ее неожиданной ласке, в этом желании уберечь внучку от струй, было что‑то от нее прежней, памятливой.

За долгие годы, которые они провели в этом удивительном парке, в этом дарованном самой судьбой укромном уголке, Ицхак научился по выражению лица, по глазам, по наклону головы угадывать, о чем каждый из его друзей думает, что вспоминает.

Воспоминания преображали лицо, лишали его будничности и окаменелости, озаряли другим, нездешним светом. Оно вдруг расслаблялось, мягчело, теплело – неважно, кто что вспоминал: роковой случай или невинный пустяк, плывущую под потолком люльку или окопы на Орловщине, смертельный лагерь в Воркуте или добродушное мурлыкание кота рабби Менделя на крыше, прибазарную парикмахерскую или ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа.

Никто ни у кого не спрашивал, не допытывался, придумано ли все или не придумано, высосаны ли рассказы из пальца или на самом деле все так и было, никто никого не укорял, ни в чем не винил, не пытался поймать на лжи или на преувеличениях. У всех у них не было времени что‑либо проверять, сличать, поправлять. Да и вряд ли эти поправки, эти сличения что‑то для них значили, ибо жили‑то они, по сути дела, в немыслимое, невероятное, неправдоподобное время, а в неправдоподобное время правдоподобной, настоящей жизни не бывает. Расскажешь обо всем пережитом правнукам – да что там правнукам! – внукам, и они не поверят.

Скверную привычку унаследовал от отца Ицхак Малкин. Другие целый день шьют или тачают сапоги и ни о чем, кроме как о брюках и сапогах, не думают. И так проходят годы, десятилетия. Но не таков Ицхак. Сколько раз он себе говорил: какое тебе дело до того, что творится в этом сумасшедшем, в этом ужасном мире? Разве своей иголкой все его дыры залатаешь? Разве вывернешь его наизнанку и из старого барахла сошьешь обнову? Пусть мир перешивают другие, а ты возблагодари Бога за то, что у тебя в доме двери не закрываются, – и шей, шей, шей.

Но Ицхак не внял голосу разума. Еще когда он был подмастерьем, он уподобил иголку человеческой мысли. В отличие от иголки, думал он, мысль можно долго не менять, если затачивать ее, чтобы не затупилась и не заржавела. Потому он и не жалел сил на заточку. Но ржавеет мысль, изнашивается сердце, которое вдруг споткнется о какую‑нибудь беду и развалится, как ботинок.

Дождь изнемог, небо прояснилось. Из конуры снова вылез Лушис – пес Игнаса Довейки; снова загремела цепь на притихшей Каунасской улице; закаркали ненасытные вороны над руинами отчего дома; снова Эстер дернула за хвостик проволоки у калитки: дзинь‑дзинь‑дзинь.

На крыльцо никто не вышел, видно, Довейка куда‑то уехал. Да его и винить нельзя – Малкины не предупредили его ни письмом, ни телеграммой. Да и куда пошлешь, если у тебя ни точного адреса нет, ни уверенности в том, что за год ничего не случилось. Мог переехать в другой город, могли за какие‑нибудь грехи и ухлопать.

– Последний поезд в Вильнюс в шесть тридцать, – прошептала Эстер. Она была чем‑то угнетена, но боялась, чтобы ее подавленность не передалась мужу. Поездка их вдруг обессмыслилась, исчерпалась – ну еще одни руины, ну еще одно кладбище, ну еще один пес на цепи…

– Здравствуйте, – пропела Авива. – За бабушкой в четыре придет мама. Бай! – помахала она рукой Ицхаку, Натану и Лее и упорхнула.

– До свидания, – ответил за всех Гутионтов.

Старуха прошла в павильон и опустилась на плетеный стул рядом с Ицхаком.

– Красавица у тебя внучка, – подбодрил ее он.

Лея рассеянно глянула на него. Ицхак знал, что ни хула, ни похвала ее давно не трогают – пробормочет что‑то нечленораздельное или улыбнется так, что только мурашки по спине.

– Чемпионкой будет, миллионы заработает, – прибавил к похвале Ицхака Гутионтов. Его все еще распирало от радости, и он был не прочь отсыпать ее, как горсть семечек, другому. – Ты, Лея, хорошо сегодня выглядишь. Мы сегодня все хорошо выглядим. Весь мир сегодня хорошо выглядит, – проспрягал он напоследок.

Стависская запустила обнаженную по локоть, сморщенную, в мелкой гречке, руку в волосы, громко задышала и вдруг, против их ожидания, вытолкнула из горла:

– Еврейская кровь есть еврейская кровь.

Ицхак и Натан переглянулись. Что она имела в виду?

Малкину на ум почему‑то пришло крещение Авивы в Эчмиадзине в Армении. Отец ее, армянин, увез маленькую дочку на свою родину и окрестил. Правда, Сарра настояла, чтобы девочку назвали Авива – Весна. Весна так весна, согласился отец‑христианин. Но Лея произнесла слова с такой яростью, с таким молодым неистовством, что Ицхак отбросил свою догадку.

– О чем это она? – не выдержал Натан.

– Помолчи.

Малкин опасался, что они могут вспугнуть ее попытку заговорить о чем‑то сокровенном, и Лея снова погрузится в свое непролазное молчание.

Как бы то ни было, и Ицхак, и Натан понимали, что за ее вырвавшимся не то благословением, не то проклятием кроется какая‑то смертельная обида.

Тишина, как сосновая смола, сочилась в уши. Гутионтов и Малкин смотрели друг на друга и, как из засады, подстерегали каждое ее слово. Но Стависская безучастно босоножкой гоняла под столиком скомканный картонный стаканчик из‑под мороженого: туда – сюда, туда – сюда.

Перекатывание, видно, успокаивало ее и примиряло с обидой.

С близлежащего корта долетало размеренное постукивание теннисного мячика о стенку.

Лея то и дело поворачивала голову и старалась что‑то разглядеть и услышать, но это не имело никакого отношения ни к ее крещеной Авиве, ни к корту, ни даже к этому времени.

Натан Гутионтов, потерявший надежду что‑нибудь еще услышать от Леи, заторопился к телефонной будке, из которой через каждые два часа звонил своей Нине, как опытный понаторевший в обманах муж‑изменник или неисправимый ревнивец. Снимет, бывало, трубку, прогудит: «Тебе ничего в городе не нужно?», услышит в ответ: «Ничего» и успокоится до следующего звонка.

Отчаялся разговорить Стависскую и Ицхак. Он пялился на Лею, на картонный стаканчик под столом и неспешно размышлял о том, что, может, это и к лучшему, что она ничего, кроме лавки Пагирского, не помнит. Ведь есть память‑мстительница, везде и всюду выискивающая свою жертву, только и помышляющая, как бы кому отплатить, расквитаться, свести счеты, в отместку, хотя бы в мыслях, смять, раздавить, казнить. И есть память – больничная сиделка, выхаживающая раненых, поднимающая на ноги увечных, укрепляющая дух обиженных и униженных, привечающая отверженных, каждого, кому больно и одиноко.

Малкин не задумывался, какая из них была у Леи. Его страшили глухие, недобрые намеки Гершензона, невнятные подозрения Моше о ее послевоенном прошлом, но добиться от него какой‑нибудь ясности и определенности Ицхак не мог. Моше убегал от прямого ответа на вопросы, но чувствовалось: он знает больше, чем они все вместе взятые. Может, даже он когда‑то имел дело со Стависской. Или у него были счеты с ее мужем, служившим в учреждении, которое наводило ужас на всех – виновных и невиновных.

Как бы угадав мысли Малкина, Лея вдруг упрямо и остервенело произнесла:

– Убить хочет… Убить.

Глаза ее странно округлились, зрачки сверкнули так, словно их подпалили пучком горящей соломы; на губах, покрывшихся пеной то ли от страха, то ли от готовности к защите, застыли обрывки речи.

Ицхак боялся поднять на нее глаза. Он сидел на пластмассовом стуле, понурив голову, и пытался сопоставить первую фразу Стависской со второй. Он был уверен, что между ними существует некая трудно уловимая связь, может, даже зависимость, которую не так‑то просто было установить. Мешали Малкину и намеки Моше, заставляя то и дело возвращаться к тому времени, когда муж Леи, да и сама Лея получали жалованье не открыто, как все, а в строго охраняемом от простых смертных месте.

О семье Стависской ходили разные слухи, о ней все время шушукались, сплетничали.

Еще совсем недавно евреи живо обсуждали слух о том, что Стависские‑Мнацаканяны наладились уехать и не куда‑нибудь, а в Австралию. И это несмотря на то, что у Леи в Израиле жили две сестры и брат, причем у брата была сеть магазинов, не то галантерейных, не то кондитерских. Но златокузнец Самвел Мнацаканян и слышать не хотел о Земле обетованной. Его не прельщали ни богатые родственники, ни старинная армянская церковь в Иерусалиме. В Австралию – и все.

Наверное, они и уехали бы, как уверяли всезнайки, если бы не Лея. Зять наотрез отказывался брать тёщу с собой. Он был готов обеспечить ее всем – снять квартиру, нанять человека, заплатить за год вперед знакомому доктору, лишь бы избавиться от этой ноши. Но Сарра сказала: «Лучше разведусь, но маму не брошу». Так они и застряли в надежде на то, что Лея долго не протянет.

Смерти Стависская, наверное, и не боялась. Она, скорее, боялась другого, но чего именно, никто не мог у нее выведать.

В послевоенные годы она не делала тайны из того, что служила, как она выражалась, в карательных органах города Каунаса, знали и о том, что Лея была и в гетто, и в лесу – в партизанском отряде. Стависская только не называла по имени свое учреждение – и так было ясно. Там же фотографом работал и ее муж, тихий и непостижимый, как засвеченная пленка, Лейбе Хазин, снимавший, как не трудно догадаться, не народные гулянья и не сельские свадьбы.

В пятьдесят третьем году, незадолго до смерти Сталина, их за «принадлежность к лицам еврейской национальности» оттуда выгнали, и Лейбе Хазин устроился в фотоателье на спешно переименованном после смерти вождя проспекте и до самой кончины от застарелой чахотки снимал молодоженов, работников искусств – певцов, танцовщиц, маститых писателей. А Лея, как тогда говаривали, «сидела на кассе».

Сфотографировался у него в ателье как‑то раз и Малкин, хотя терпеть не мог по команде прихорашиваться и улыбаться.

Снимал Лейбе Хазин и похороны Эстер, долго щелкал своим ФЭДом, но не произнес ни одного слова соболезнования. И не потому, что у него не было сердца, а потому что выше всего на свете ценил молчание.

Ицхаку навсегда в память запало его выражение: «Первый и главный наш могильщик – язык. Чем больше болтаешь, тем быстрее себя закапываешь».

Лейбе Хазин был философом молчания. Камень, говорил он, живет тысячу лет, дерево стоит века. А почему? А потому, что молчат. Хочешь жить – молчи. Хочешь, чтобы тебя не растоптали, – молчи.

Малкин никогда и думать не думал, что Хазин и его жена причастны к каким‑нибудь злодеяниям, участвовали в кровавой послевоенной охоте, длившейся почти десять лет. Он, Ицхак, вообще и предположить не мог, что у Леи была какая‑то порочившая ее тайна. Он обо всех судил по себе: раз он честный человек, то и все вокруг такие же.

Жизнь не раз карала его за доверчивость и наивность. Он, конечно, понимал, что тайная служба без тайн не обходится. Однако не его, Ицхака, дело копаться в них. Он всю жизнь постигал только одну тайну – тайну ремесла, которая каждый день становится явной, ибо служит человеку, а не губит его.

Другие тайны обходили его стороной. Да, он слышал, будто Лея записывала чьи‑то показания, а Лейбе Хазин фотографировал трупы убитых лесовиков, чтобы их легче было опознавать. Но разве скрип пера и щелчок ФЭДа – недостаточный повод для того, чтобы потом ночами не спать, терзаться, рвать на себе волосы?

Недаром же, видно, в хромоногого, улыбчивого Лейбе и в нее бойкую, никогда не унывавшую Лею, уже изгнанных из того всесильного и внушавшего ужас учреждения, разрядили в подворотне обойму. Почему не стреляли в него, в Ицхака? За скверно сшитый костюм тебя пулей не попотчуют. Обматерят, назовут, как ротный Тюрин, жидом, потребуют назад деньги, но чтоб стрелять…

Почему не тронули Эстер, хотя она и возвращалась со своей фабрики домой почти что в полночь? А за что ее было трогать? Она работала ткачихой, ткала не доносы и не наветы, а хлопчатобумажные и штапельные ткани на платья.

Почему никто не посягнул на тишайшего Авигдора Упницкого – кассира государственного банка или на таксиста Иоселя Манусевича, развозившего с ночных поездов всякий люд?

Почему стреляли именно в Хазиных?

– Произошла ошибка, – клялась Лея, когда вернулась из больницы с рукой, помеченной мстительной пулей. – Нас с Лейбе приняли за других.

Пуля никого не принимает за других. Особенно тех, в кого метит.

В ту ночь в темной подворотне, под каменными сводами которой до рассвета носились летучие мыши, и началось Леино беспамятство.

Стрельба, видно, была нешуточной: пули изгрызли стены, угодили в ни в чем не повинных птиц, питавшихся мраком, как самой изысканной пищей. Весь проход был усеян штукатуркой, на которой валялись тушки летучих мышей.

Поутру сын соседки, почтальонши Зои, долговязый, поджарый парень, подмел в подворотне, лопатой сгреб тушки, отнес, было, их отощавшему дворовому коту, но тот только обнюхал милостыню, фыркнул и бросился наутек.

Боже милостивый, какое было время! Мраком питались и люди, и птицы, подумал Ицхак и метнул взгляд на бормочущую что‑то Лею.

Случай в подворотне омрачил его отношения с Хазиными. Раньше все было легко и просто: дружили домами, ходили друг к другу в гости, вспоминали погибших родичей. На праздники скупо выпивали (правда, Лейбе спиртного в рот не брал). Малкин и после той таинственной стрельбы старался держаться с ними по‑прежнему ровно и незлобиво. Что, если их и впрямь приняли за других? Какое он имеет право выносить приговоры, осуждать кого‑то, клеймить? Он что – высший и непогрешимый судья, он что – может поручиться, что было именно так, а не эдак? Нет, нет, ни в какие судьи он не годится.

Судей, как оглянешься вокруг, и без него хватает. С кем ни поговоришь, куда ни повернешься – одни судьи. Их куда больше, чем виновных. Он, Ицхак, с детства был приучен всегда судить только самого себя. Отец Довид, светлый ему рай, каждый вечер склонявшийся над какой‑нибудь священной книгой, знавший наизусть целые страницы из Рамбама, говорил ему, мальцу: «Когда судишь себя, в мире становится одним честным человеком больше. Когда судишь других, число подсудимых на земле умножается».

Малкин и не судил ни Лею, ни Лейбе. Эстер сердилась на него, доказывала, что он не хочет их судить просто из боязни – мол, хоть и выгнали Хазиных оттуда, но они еще в силе – возьмут и накатают телегу.

– Хорошо, хорошо, ты права, – успокаивал он жену. – Я их побаиваюсь. Кто раз убил, тот убьет и второй раз, даже если сам превратился из палача в жертву.

Как он ни оправдывался перед Эстер, он все равно всех жалел – и грешников, и праведников. Жалость вытесняла у него все, даже чувство справедливости.

Моше Гершензон весь багровел, когда Малкин потчевал его такими рассуждениями, корил Ицхака за мягкотелость и слабохарактерность, учил житейской мудрости, предлагал спуститься с облаков на землю: «Нельзя одновременно жить и в облаках, и на земле. Нужно выбрать что‑то одно».

– В облаках, – отшучивался Малкин, – не так тесно. И меньше пыли. И платяная моль не летает.

Моше Гершензон, как и Эстер, прощал ему прекраснодушие.

– Вот ты, например, говоришь, что каждый еврей – сам по себе чудо. Не всякий, голубчик, не всякий. Среди нас немало и чудовищ.

Малкин догадывался, о ком Моше говорит.

– По‑твоему, Лея… чудовище?

Гершензон уклонился от ответа.

Выглянуло солнце, подсохла земля; тучи расступились, растрепались, и ветер, озоровавший над Бернардинским садом, как щука в тихой заводи, погнал их прочь от Кафедрального собора к скромному местечковому костелу, от павильона пустующего летнего кафе к синагоге‑пекарне, от входа на теннисный корт, где о мокрую непроницаемую стенку, как о двери своей будущей судьбы – литовской ли, армянской ли, австралийской ли, израильской ли – прилежно и упорно стукала оранжевым мячиком честолюбивая Авива, к калитке путевого обходчика Игнаса Довейки, в неспокойный, пороховой сорок шестой год. Не дождавшись Натана Гутионтова, который в очередной раз отправился звонить своей Нине, Ицхак одновременно шагнул из павильона летнего кафе на два берега – Вилейки и Вилии.

За ним послушно, как тучи за ветром, засеменили две женщины – Лея Стависская и его жена Эстер.

Не успел он выйти на парковую дорожку, как время снова раздвоилось, расслоилось, и Малкин, как это уже не раз с ним бывало, принялся перебегать из одного десятилетия в другое, как с одной стороны улицы на другую. От таких перебежек в голове у него все смешивалось, он уставал, выбивался из сил, но никак не мог остаться в каком‑то одном из выпавших ему на долю времен.

Иногда, страдая от такого раздвоения, он искренне радовался тому, что у него хоть будущего времени не будет. Он считал, что на его век хватит и прошлого, ставшего его настоящим, и тайно завидовал Лее, навсегда застрявшей в лавке Бениямина Пагирского!

Стависская продолжала что‑то бормотать, и ее бормотание, глухое и звероватое, вырывало Ицхака оттуда, из сорок шестого, как гвоздь из стены. Оно выводило его из себя, заражало инстинктом допытчика, копателя в чужих грехах и провинностях. Господи, да так ли уж важно раскрыть ее запертую в несгораемый шкаф беспамятства тайну? Разве немилосердное прожорливое время, выпавшее на долю их поколению, само по себе не страшная и до нелепости не пошлая тайна, которая так и останется неразгаданной? Он, Ицхак Малкин, и она, Лея Стависская, – только песчиночки, да что там песчиночки – незаметные пылинки в его, времени, песчаных часах, опрокинутых на их головы. Ицхака не оставляло какое‑то дурное предчувствие, что сегодня то ли с ним, то ли с ней что‑то должно обязательно случиться – такое, чего никогда не было раньше.

А чего не было раньше? Раньше было все, кроме смерти. Вернее, была и смерть, но она проходила мимо них. Ему нетерпелось, чтобы из банка пришла толстуха Сарра и освободила его от дурных предчувствий, от унизительных подозрений, чтобы он мог, наконец, остаться наедине с Эстер, на том берегу, где без соглядатаев паслись бессмертные коровы и собирали нектар пчелы, словно залетевшие из рая.

Туда, туда, стучало у него в висках. Раздеться догола, плюхнуться в воду, в реку, с которой он и Эстер были несправедливо и кроваво разлучены на четыре долгих года. Туда, туда… Там к ним снова вернется то сладостное, то неповторимое ощущение молодости, которое снимет с души чувство сиротства и неприкаянности, и они снова станут бессмертными, как эти коровы на прибрежном лугу и эти пчелы..

Как хорошо, что на реку, как на пиджак или на платье, нельзя нацепить ни белую повязку полицая, ни желтую лату изгоя! Как замечательно, что ее журчание нельзя занести, как показание, ни в какой протокол! Как славно, что река ни при какой власти не меняет ни своего окраса, ни своего течения!

Туда, туда, пока сердце не остановилось…

– Эстер, – сказал Ицхак, – что ты скажешь на то, если я попрошу тебя раздеться.

– Как – раздеться?! – испугалась та.

– Просто. Скинуть все.

Малкин на виду у ошарашенной жены снял с себя талес, аккуратно расстелил его на траве, расшнуровал тупоносые ботинки, расстегнул ремень, снял брюки, сдернул рубашку и двинулся к реке. Обернулся, спросил:

– Ну, чего ждешь?

– Холодно, – сказала Эстер. – Дождемся лета.

– До лета еще дожить надо.

Ей и в голову не приходило, что он не купаться ее приглашает, а совершить некий обряд, принять участие в придуманном им священнодействии – не то встречи навеки, не то прощания навеки, не то искупления, не то покаяния.

Ицхак не знал, как объяснить Эстер, что они выйдут из этой воды, как из чистилища, что река омоет не их усталые, обветренные лица, не их натруженные ноги, а души, исцелит их раны, унесет их печаль, их обиды в море, и они начнут новую жизнь, не задумываясь ни о прошлом, ни о будущем.

– Иди же, иди! – тормошил ее Ицхак. – Пока не пошел дождь.

– Да у нас и вытереться‑то нечем.

Ну как ей, упрямице, объяснить, что эта вода, в которую они окунутся, никогда не высохнет, ибо каждая ее капля остается не на коже, а проникает внутрь, туда, где от свирепствовавшей четыре года засухи сморщилось сердце? Как объяснить ей, что капли такой воды хватает для орошения не видимой глазу пустыни.

– Ты что – талесом вытрешься? – не теряла она надежды отговорить его.

Но Ицхак спустился по откосу к берегу и, как тяжелый снаряд, врезался в воду. Ее брызги смешались с полновесными каплями дождя. Небо над Вилией заволокло тучами. Ветер, пригнавший их из другого десятилетия, из Вильнюса, из Бернардинского сада, сюда, в сорок шестой год, сам прильнул к реке, взъерошил гладь, вздыбил волны.

Эстер, поеживаясь, стояла на откосе и смотрела на мужа, который неистовствовал – откуда только у него взялись силы? – в этой пузырившейся от непрекращающегося дождя и от его мощных гребков воде.

В мгновение ока он перемахнул на другой берег, приветственно замахал Эстер рукой; и вдруг она увидела, как Ицхак направился к пасшемуся на том берегу стаду, как, голый, подошел к первой попавшейся корове и уткнулся в ее шею, словно в грудь матери. Буренка ни с того ни с сего замычала, а он сложил ладони лодочкой, поднес к губам и что есть мочи, как в детстве, закричал:

– Ау‑у‑у! Ау‑у‑у! Айзик! Гилель!.. Ципора! Хава!..

Голос его, казалось, разрывал, как старое сукно, небо.

– Ицхак! – в испуге закричала Эстер. – Возвращайся!

Она вдруг убоялась, что он на обратном пути утонет. Пройти через такую войну, выплыть из такого моря крови и найти смерть на родине! Он уже дважды тонул. В первый раз его спас рыбак Мотеюс, а в другой – вытащила экономка ксендза Казимира: взвалила на спину и доставила, как на плоту, на берег.

Ицхак послушался жены и поплыл обратно. Волна то накрывала его, то разбивалась о его грудь. Он фыркал, что‑то выплевывал изо рта, правой рукой откидывал налипшие на лоб волосы. Подплыл, наконец, к берегу, но расставаться с рекой и не думал.

– Раздевайся, – соблазнял он ее.

– Хватит, – отрезала Эстер.

– Там, на дне – все.

– Кто – все? – вытаращилась она.

– Все местечко… Мои братья Гилель и Айзик… Твои сестры Хава, Ципора, Мирьям, Злата и Фейга…

Ужас исказил лицо Эстер. Но Ицхак не мог остановиться. Он перечислял всех своих одногодков и родственников, которые когда‑то прибегали сюда купаться, пускали по воде кораблики, самодельными удочками ловили простодушных уклеек.

– Что с тобой? – едва выговорила она.

– Ничего. Ты что – не хочешь их видеть?

– Я их вижу и на суше. Закрою глаза – и вижу. Нам еще в березовую рощу… Одевайся!..

Ах, Эстер, Эстер, огорчился Ицхак. Напрасно ты не согласилась раздеться и окунуться. В воде все не так, как на земле. В воде не увидишь ни выклеванного пулей глаза, ни раскроенного топором черепа, ни переломанных рук, ни губ, застывших в предсмертной судороге. Ливни и дожди вымывают останки мертвых из могил и рвов, из березовой рощи – мы, конечно, пойдем туда с тобой, Эстер, – ручьи выносят их сюда, в реку; ливни и дожди вымывают, Эстер, черепа и кости наших близких; черепа их обрастают волосами, а кости – плотью; их руки, Эстер, выпрямляются; их застывшие в судороге губы оттаивают. Ты зря не согласилась окунуться. Твои сестры Мириям и Ципора, Хава и Злата протянули бы к тебе ожившие руки, а Фейга чмокнула бы тебя в щеку… Там, на дне, все осталось по‑прежнему, там не было ни немцев, ни полицаев; моим братьям и твоим сестрам там, среди водорослей и ила, хорошо, безопасно, зови их, не зови, все равно на берег не выйдут, ибо никто из них уже не поверит, что на земле нет тех, кто сгонял их в колонны, выкручивал руки и убивал.

Когда Ицхак вышел на берег и, обсохнув, напялил на себя рубаху, то рядом с собой увидел не продрогшую Эстер, а своего закадычного друга Натана Гутионтова.

– Не могу дозвониться, – пожаловался тот. – То монету съедает, то – длинный гудок.

С мокрых волос Малкина стекала вода, но он и сам не мог взять в толк, на какой берег – Вилии или Вилейки.

Оба берега вдруг сомкнулись, соединились, слились.

– Она, видно, сняла трубку, – простонал парикмахер. – Боюсь, как бы чего не натворила…

– Брось, – отмахнулся Малкин.

– Ты их не знаешь.

– Кого?

– Русских баб… женщин, – поправился он. – Это тебе не еврейки. Русские на все способны.

– Еврейки тоже, – успокоил его Ицхак.

– Что‑то я не слышал, чтобы наши на себя руки накладывали, – огрызнулся Натан.

– Накладывают, накладывают. Если так переживаешь, поезжай домой.

Он все еще стоял на берегу Вилии, босой, косясь на мокрый талес. Где его сейчас высушишь? Не возвращаться же в синагогу‑пекарню к пышущей жаром печи.

– Пожалуй, поеду, – совсем скуксился Гутионтов.

– До завтра. Пока, – выдохнул Малкин.

Он зашнуровал ботинки, выжал мокрый талес и оглянулся.

Сперва на сорок шестой год, на Вилию.

Потом – на Вилейку, покойно и безгрешно струившуюся вдоль Бернардинского сада.

Не было ни Эстер, ни Леи Стависской.

Ни о чем не хотелось думать. Ничего больше не хотелось вспоминать.

На сегодня хватит. Он, Ицхак, будет просто сидеть и наслаждаться природой, слушать, как цвенькают птицы, глядеть, как плывут облака. Он все из памяти выметет, как пани Зофья листья из аллеи. Нельзя превращать воспоминания в ремесло, нельзя каждый день вспарывать прошлое, как старый пиджак, иначе наложишь на себя руки. У него нет больше сил разрываться между временами, перебегать с одного берега на другой. Нет больше сил. Но что делать, если нет и другой одежды, кроме воспоминаний? Если нечем прикрыть свою наготу? Если спички отсырели, и в очаге не осталось ни одного полена?

Легкое покалывание вилийской воды доставляло еще ему удовольствие, но душу уже не тревожило, как прежде. Он опустился на скамейку у железного поручня, отделявшего парк от речушки, закрыл глаза и предался блаженному безразличию ко всему сущему.

Но блаженство его длилось недолго.

Перед ним вдруг выросли две молодые цыганки: цветастые, как весенние поляны, платья, в ушах – крупные звездастые серьги, во рту – дешевые сигареты.

– Позолоти ручку, красавчик! Всю правду скажем: что будет…

– Что будет, я, красавицы, знаю. А вот что было…

Цыганки опешили:

– Что было? Сам, красавчик, знаешь.

– В том‑то и беда, что не знаю. Не знаю, не знаю…

Он снова погрузился в полудрему, засиненную кочевым дымком сигареты, осыпанную конфетти цыганской тарабарщины, довольный тем, что устоял перед соблазном. Что будет? Хм… В его возрасте с будущим все ясно, гадай, не гадай.

Только‑только Ицхак задремал, как к нему подбежала Авива Мнацаканян.

– Я спустилась к ней, – взволнованно сказала девочка, – но испугалась собаки.

– Какой собаки? – спросил Малкин, почуяв неладное.

– Большая, черная, – чуть не плача, продолжала Авива. – Она лижет голову бабушки, а бабушка ее не прогоняет…

– Говоришь, не прогоняет? – совсем всполошился Ицхак.

Он быстро поднялся и, царапая лицо о кусты, скатился к берегу Вилейки. Никакой собаки возле Стависской не было. Но Малкин опытным глазом солдата сразу же определил: земной путь Леи Стависской закончился.

Через день‑два старуху Стависскую‑Хазину зароют в могилу, в которой догниют ее низменные, простреленные в ночной подворотне тайны, ее грехи и корысть, ее изъязвленный беспамятством мозг, а шестнадцатилетнюю приказчицу Бениамина Пагирского Лею ливни и дожди вынесут в Вилию вместе с черносливом и арахисом из Турции, миндалем и курагой из Персии, орехами и марципанами из Греции, и черная, как змея, ее коса переплетется с водорослями, и рыбы заведут вокруг нее хоровод, и вспомнится ей первый поцелуй под старым мостом, и она, Лея Стависская, не виновная ни перед кем, не сделавшая ни одной роковой записи, не поставившая ни одной постыдной подписи ни под какой бумагой, она, еще даже не расписавшаяся на брачном свидетельстве, красивая, целомудренная, встретится под зеленым пологом воды со своими сверстниками из белой рощи, выберет себе жениха, и отец плотогон Нахман благословит их: «Целуйтесь, дети! Играйте в ваши свадебные игры!»

– Беги, позвони маме. Только не говори ей правды. Скажи, что бабушке плохо.

Когда Авива ушла, Ицхак сел на траву и стал сторожить покойницу.

Похороны, наверное, в воскресенье, подумал он.

Над мертвой Леей жужжали пчелы, и Малкин отгонял их рукой, как будто пчелиный укус мог причинить ей боль.

## Глава четвертая

– Тебя подвезти? – обратился Моше Гершензон к Ицхаку, когда зять Стависской, высокий, чуть облысевший армянин, весь в перстнях, снял вельветовую кепку, вытер пот со лба, наклонился, подровнял траурные венки с соболезнующими лентами и горестно‑благодарно взял под руку осиротевшую Сарру. Теща похоронена – путь в Австралию открыт.

– Спасибо, – прошептал Малкин. – Я еще чуть‑чуть побуду, Моше.

Провожай было немного – Натан Гутионтов в очках от солнца; Гирш Оленев‑Померанц, немного выпивший, обмякший от сострадания; Моше Гершензон, приехавший на похороны на старом «Москвиче», доставшемся от сына Исаака или, как его еще называли, Счастливчика Изи; подслеповатый староста синагоги Вульф Карлинский, с не лишенным некоторого нажима чувством прочитавший у могилы за пятнадцать американских долларов кадиш; пани Зофья в черном платье, вызвавшая по просьбе Сарры «Скорую помощь» и полицию; залетные родственники Самвела Мнацаканяна с флажками государства Израиль в руках. На еврейское кладбище гости попали впервые и потому за всем, что происходило, следили со скучным, несколько брезгливым удивлением.

Через некоторое время провожане разбрелись, и Малкин остался один. Он был из тех, кто не любил задерживаться на кладбище. Придет, бывало, сюда, положит на обе могилы – первой жены Эстер и второй жены Фрумы – по камешку, подметет отслужившей свой век обувной щеткой надгробные плиты, соберет в совок опавшие листья и, поклонившись, отправится восвояси.

Ицхак терпеть не мог показной скорби и притворной любви. Знакомые упрекали его за то, что памятники Эстер и Фрумы слишком скромны, что от высеченных на них слов веет сухостью, даже черствостью. Но ему претили надписи на надгробных камнях, криком кричавшие о безмерном горе или любви. Надписи криком кричат, а плиты мхом заросли. Удручали его и многочисленные фотографии на граните и мраморе, на лабрадоре и дереве – лица, осклабившиеся в улыбке, роскошные наряды. Он не мог спокойно смотреть на эти платья с завлекательными до неприличия декольте, на эти пиджаки с розочками в петлицах.

Ицхак не раз корил себя за свое враждебное отношение к этой чуть ли не свадебной мишуре. Какое, собственно, он имеет право возмущаться, осуждать? Кому‑то покойник, видно, дорог с розочкой в петлице, а кому‑то приятно смотреть на открытую шею.

И все же мишура коробила его. Покойники‑евреи звякали медалями, значками отличников торговли и железнодорожного транспорта.

По осени осыпались и падали на кладбищенскую землю не листья, не хвоя, а орденские планки.

Всякий раз, когда Малкин приходил под эту сень, под эти сторожевые сосны и липы, корни которых сплелись с костями так, что, пожалуй, их и не отличишь друг от друга, он вспоминал погост в родном местечке, где преобладал полевой камень. Неказистый, неприметный, он уравнивал всех, не делил мертвых ни на храбрых, ни на трусливых, ни на героев, заслуживших славу, ни на скромных тружеников, которые не совершили никакого подвига, ибо кто назовет подвигом работу до седьмого пота.

Погост был для Ицхака в детстве, да и позже, не только хранилищем скорби и печали, не только местом, внушавшим страх, но и школой, страницами каменного учебника. Казалось, он не обрывался за перелеском, а уводил Ицхака далеко‑далеко, на тысячи, тысячи лет назад на гору Синай, в долины Израиля, к началу еврейских скорбей и радостей. Тогда‑то, в те неблизкие времена, Малкин понял, что и скорби, и радости подобает быть неброскими, скромными – их негоже выпячивать ни в слове, ни в камне.

На местечковом кладбище Ицхак чувствовал свою сопряженность и связь не только со своими соседями, живыми и мертвыми, но со всеми евреями на свете.

Если верить отцу Довиду, то у них в роду был даже дальний родственник – каменотес и могильщик Эфраим Дудак, который умел оживлять на валуне своим резцом и долотом библейских львов и горлиц, арфы и лютни. Рассказы отца рушили представление Ицика о строгом и печальном однообразии еврейских кладбищ, о каменной справедливости, поровну разделенной на всех.

– Нет справедливости, – кипятился сапожник Довид. – Ни на кладбище, ни на рынке. Если надгробия одинаковые, то ряды разные; если же ряды одинаковые, то купленные участки разные. Каждый, Ицикл, выбирает ботинок не только по ноге, но и по карману. И так испокон веков до наших дней: разные пеленки, разные могилы.

Малкин, как и было заведено, в первую очередь подошел к могиле Эстер.

Скромный, из серого гранита, памятник приютился под старыми соснами. Соорудил его клиент Ицхака – скульптор Мажуйка, живший с ним по соседству. Однажды Мажуйка остановил Малкина у дома и спросил:

– Можешь ты мне сшить летний костюм?

– Еще могу, – ответил Ицхак.

– Ты мне материал плюс работа, плюс гранит, а я твоей жене памятник…

Так и поладили.

В ту пору был еще жив самый близкий друг Малкина Нисон Кац, по прозвищу Шарль де Голль. Услышав о предложении Мажуйки, он ужасно удивился и посоветовал Ицхаку быть настороже.

– Ну почему, почему? – встревожился Малкин. – О нем в газетах пишут, по телевизору показывают.

– А вдруг он крестик на камне высечет? – выпалил Кац и по‑бесовски хихикнул.

– На чертеже не крестик, а шестиконечная звезда. Своими глазами видел. Ты всех пугать любишь. А у самого, прошу прощения, вечно полные штаны…

Против всех ожиданий памятник получился замечательный. Поэт Ешуа Кацман, вернувшийся за полгода до смерти Эстер из лагеря, вызвался написать небольшой текст на идиш. Когда тебя десять лет не печатают на бумаге, то и на камне приятно увидеть свои строки.

Стихи состояли из одного куплета. В них говорилось о том, какие преследования и гонения выпали на долю матери‑еврейки. Кончались же они тем, что все любящие и страдающие заслуживают за свои муки бессмертия.

Ицхака только смущала анонимность стихов. Еще, не дай бог, подумают, что он сам пописывает.

Выручил Мажуйка. Он уговорил Кацмана, чтобы тот позволил высечь хотя бы его инициалы – грех, мол, такое стихотворение оставлять безымянным, тем более, что еще неизвестно, когда власти разрешат тому печататься.

Эстер и впрямь была достойна этих стихов. Она любила и страдала. Чего ей только стоили три года жизни в лесу! То немцы среди бела дня в лесничество наведаются, то русские партизаны ночью нагрянут…

Малкин был доволен памятником. Первое время он подходил к нему и каждую буковку гладил как родинку Эстер. Он зажигал свечу, садился на сколоченную скамеечку и, глядя на сооруженное Мажуйкой надгробие, тихо шептал четверостишие ссыльного Кацмана. Повторял и предавался размышлениям о бренности и скоротечности жизни, о горькой судьбе тех, кто одинок, кому Бог не дал ни сына, ни дочери, ни пасынка, ни падчерицы.

Как ни любил Малкин покойницу Эстер, но провести более получаса на кладбище было выше его сил. Кладбище только подчеркивало его одиночество, принужденность и бессмысленность его существования. Все близкие мои, говорил он себе, умерли, только я один все хожу и хожу к смерти на примерку.

Он сам не мог объяснить себе, почему под этими соснами его охватывало неодолимое желание как можно скорее выбраться из этой дремучей чащи печали, выбежать за ограду, на немощеную дорогу и броситься навстречу городской гари и запаху кислых щей, струившихся из дешевых столовок; в сутолоку и суету; поймать такси и – домой, к столу, заваленному шитьем; к верному «Зингеру» – оседлать его и укатить куда глаза глядят.

Поднявшись со скамеечки, он бегом отправлялся к другой могиле – Фруминой, и эти метания иссушали его душу. Господи, думал он, даже завещание некому оставить – на двухкомнатную квартиру, на трофейный «Зингер» и на комплект румынской мебели. Гершензон не возьмет, Гутионтов возмутится, Гирш Оленев‑Померанц обматерит – на кой, мол, им мебель, если на уме у каждого только один гарнитур…

Единственная, кому он ничего не предлагал, была пани 3офья. Она правду ему не говорит: нет у нее никакой однокомнатной квартиры ни в Старом городе, ни в новых районах; он готов биться об заклад, что она ютится где‑нибудь на чердаке или в отремонтированном под жилье подвале, но ей он ничего не будет завещать и предлагать. Третья женщина в его жизнь не войдет, будь она даже ангелом.

Тут, на кладбище, его преследовало горькое чувство полной опустошенности. Какого черта он из кожи лез, чтобы сшить еще один пиджак, еще одно пальто, еще одну пару брюк – все равно все кончается стишками на камне или розочкой в петлице. Что он ответит, когда предстанет пред светлы очи Всевышнего, если Создатель спросит у него: «Зачем ты жил, Ицхак Малкин?» Нет у него ответа ни для Господа, ни для себя. Ради работы? Но это не ответ. Ради детей? Но Бог ими обделил его. А потом, что такое дети? Были и сплыли. Поносил теплую одежду и снял, и ты наг, и ты стоишь на морозе в чем мать родила… Ах, если бы человек мог в урочный час сам себя похоронить! Он, Ицхак, взял бы у смотрителя кладбища лопату, вырыл бы под этими соснами яму и лег бы рядом с Эстер.

За место рядом с Эстер уже заплачено. Он его купил в пятьдесят шестом, в дни венгерского восстания. У него все бумаги на руках, все чин‑чином, не придерешься.

Только один человек придирался – Фрума. Но она ко всему придиралась. Он, Ицхак, ничего дурного о ней сказать не может, но не может сказать и ничего хорошего. Берегла его, холила. Когда болел, поила с ложечки лекарствами, кормила назиданиями, но не любовью. Ничего не попишешь – такой уродилась. Бог дал ей и любовь, но лишь к себе самой.

О покойнице Эстер Фрума и слышать не хотела. Она и мертвая была ее соперницей.

– Только и ждешь моей смерти, – ворчала Фрума. – Чтобы лечь с ней рядом.

Он не ждал ее смерти, он не ждал ничьей смерти. Но в одном Фрума была права – Ицхак хотел лечь рядом с Эстер.

Даже под Алексеевкой, под адским огнем немецкой артиллерии, он думал о том, что, если Бог смилуется над ним и оставит в живых, то только для того, чтобы потом лечь рядом с ней, с той, которая встречала его с пирогом в руках, в далеком двадцать пятом, с той, над головой которой кружились ликующие птицы.

Фрума никогда не поймет, почему он всегда торопится с кладбища. Он торопится к живой Эстер, он не хочет быть с ней тут, среди покойников.

Он чувствовал: Эстер не осуждает его за торопливость – она сама его торопила. Ицхак отчетливо слышал ее шепот: «Встретимся у Зеленого моста… Я жду тебя у входа в Бернардинский сад… Приходи на угол Мицкевича и Сераковского…»

И всякий раз он спешил на условленное место, как на первое свидание.

Его могильные, как он их именовал, соседи все время косились на него, их раздражала его привычка то и дело поглядывать на часы.

– Грешно поглядывать на часы там, где время остановилось, – сказал однажды один их них.

Чтобы не сердить и не гневить соседей, Малкин перед воротами снимал свою «Омегу», засовывал в карман или предусмотрительно оставлял дома.

Никому из его хулителей и в голову не приходило, что ни он, ни Эстер, пока он, Ицхак, не лег рядом с ней, не могут считать себя мертвыми, что у них – другой отсчет времени.

– Ты еще не ушел? – прозвучал над ухом Ицхака фальцет Гирша Оленева‑Померанца. – Это же здорово!

Малкин не понимал, чему так обрадовался флейтист.

– Хочешь заработать? Хочешь? – искушал его Гирш Оленев‑Померанц.

– Как? – спросил ошарашенный Ицхак.

– Пошли!

Гирш Оленев‑Померанц не любил долго говорить: мало того, что у него был врожденный дефект речи, так он еще на всех языках – а владел он идиш, литовским, польским и русским с лагерными примесями – изъяснялся с чудовищными ошибками. Незнакомые и даже друзья постоянно над ним подтрунивали. Самые отчаянные даже передразнивали его.

Он знал об этом, но не сердился на них. Тем не менее косноязычие угнетало его, и Гирш Оленев‑Померанц старался выговаривать каждое слово, как первое в жизни. В кругу чужаков он вообще помалкивал, и многие считали его не то немым, не то молчуном.

После войны таких молчунов было хоть отбавляй. Одни молчали после пыток, другие – после тяжелой контузии, третьи – просто из страха.

В жизни Гирша Оленева‑Померанца было всего – и контузия, и пытки, и страх. Один только Бог знает, чего было больше.

Весной сорок восьмого, в самую пору цветения, его арестовали, надели наручники и препроводили в МГБ, расположенное там, где еще совсем недавно находилось гестапо. Бросили в подвал и через два дня полуживого привели на допрос.

– Это ваше письмо? – спросил у него молоденький, видно, только что испеченный лейтенант с аккуратно зачесанными на пробор русыми волосами, пахнувшими мылом и одеколоном.

Слезящимися глазами Гирш Оленев‑Померанц уставился на бумагу и сразу узнал письмо, которое он направил в Москву после провозглашения государства Израиль в Еврейский антифашистский комитет с просьбой разрешить ему принять участие в освободительной войне против арабов.

– Мое, – упавшим голосом признался арестованный.

– Хвалю вас за откровенность, – тихо произнес следователь. – А не припомните ли вы, кто еще, кроме вас, посылал туда такие письма?

Гирш Оленев‑Померанц мотнул головой.

Два месяца подряд бедняге пытались помочь вспомнить тех, с кем, как выражался лейтенант, он действовал заодно, и, когда убедились, что из раздрызганной допросами памяти ничего не выжмешь, наспех судили и отправили на Колыму.

Как и сосед Ицхака поэт Ешуа Кацман, Гирш Оленев‑Померанц отбоярил за колючей проволокой неполных десять лет. Он, конечно, погиб бы там, если бы не его флейта.

Лагерное начальство, поощрявшее музыкальное искусство, зачислило новичка в местный ансамбль, в котором, кроме него, играли два заслуженных артиста – скрипач и пианист.

Уберегло Гирша Оленева‑Померанца от верной гибели и его косноязычие. На все вопросы он отвечал только кивком головы или двумя‑тремя нечленораздельными звуками, вызывавшими насмешку и жалость.

Неполных десять лет он разговаривал только во сне. Правда, и эти его говорения состояли из невнятных и горестных выкриков, непонятных восклицаний и обрывков молитв, заученных в детстве.

Время от времени он выступал в лагерном клубе, и его игра на флейте поражала не только тюремщиков, чей слух был изощрен не симфониями Бетховена, а лаем сторожевых собак, но даже солагерников‑музыкантов.

Музыканты‑зеки исполняли по праздникам Моцарта и Дунаевского, Чайковского и братьев Покрасс, входила в их репертуар и какая‑то соната композитора – «врага народа» Исидора Шпигельглаза, попавшего на Колыму за примечания на нотах, сделанные на английском языке и показавшиеся следователям тайнописью.

На суровый приговор – десять лет лагерей – немалое влияние, как считал Гирш, оказала и его прежняя фамилия. К его великому несчастью, молоденький лейтенант, пахнувший мылом и одеколоном и желавший во что бы то ни стало выслужиться, где‑то откопал каких‑то богатеев Померанцев, пламенных сторонников Жаботинского, жертвовавших не на МОПР, а на создание отрядов еврейской самообороны. Никакого отношения к богатеям Померанцам Гирш не имел. Он происходил из скорняцкой семьи, но его незнатное происхождение казалось его молодому мучителю хитроумной уловкой. Там, на Колыме, Гирш Померанц по совету своего коллеги‑контрабасиста и стал Оленевым, хотя от этой добавки все время веяло мылом и одеколоном.

Долго привыкал к своей новой фамилии Гирш Померанц. Какой он, к черту, олень, если он еле ноги передвигает, если перед ним не бескрайние просторы, не живительный воздух, а зловонная, взятая в проволочное кольцо зона!

– Пошли! – еще раз подхлестнул Ицхака Гирш Оленев‑Померанц. – Не пожалеешь. То, что ты зарабатывал иголкой за год, тут получишь за день.

Предложение флейтиста разожгло любопытство Малкина. Куда он его ведет? О какой работе говорит? И вообще что он, добивающийся, чтобы его похоронили не на коммунальном еврейском кладбище, а в Понарах, делает тут? Ицхак так у него и спросил:

– Что ты тут делаешь? Ведь все твои лежат в Понарах.

– Не поверишь – могила пропала, – ответил Гирш Оленев‑Померанц.

– Чья?

– Бенциона Зайдиса. Ты его не знал. Он не литовский еврей. Из Киева.

– А сам‑то ты его знал?

– Не‑е… Я был знаком с его сыновьями, вместе в «Паланге» играли.

Малкин глянул на флейтиста и только сейчас заметил, как тот одет. На нем был не плащ, в каком он совсем недавно провожал Стависскую, а комбинезон, измазанный глиной и облепленный листьями, и резиновые сапоги.

Он что – бегал домой, мелькнуло у Малкина. Гирш Оленев‑Померанц жил напротив кладбища, в новых домах. Из окон его квартиры видны были надгробия, сосны и даже цистерна с водой.

– Мне пишут, шлют деньги, а я вдруг забыл, где могила.

– Кто пишет? Откуда?

– Из Израиля. Рубен и Ассар, сыновья Зайдиса.

Из путаных слов флейтиста, из его горестных самобичеваний Ицхак уразумел только то, что тот ухаживает за чьей‑то могилой. По десять долларов в месяц платят. Они могут.

– И там играют?

– Играют, но не перед пьяными в «Паланге», а на бирже. Сто двадцать долларов в год. Это тебе не шутка. А если помножить на четыре, будет ого‑го! Помоги найти, – взмолился он.

Комбинезон, казалось, был с чужого плеча. В длинных нелепых рукавах тонули руки Гирша Оленева‑Померанца с тонкими, не приспособленными к земляным работам и к уборке пальцами.

– Ладно, – бросил Ицхак. – Ты прав: сто двадцать долларов на улице не валяются. Иголкой их не заработаешь. Ты хоть помнишь, в какой стороне?

Гирш Оленев‑Померанц виновато мотнул головой.

– Тогда ступай в правый ряд, а я возьму левый. Пока не стемнело, пройдем все кладбище.

И они принялись искать Бенциона Зайдиса.

Чем упорнее Ицхак и Гирш Оленев‑Померанц искали, тем больше становилось кладбище.

С каждым шагом – во всяком случае, так казалось Малкину – оно разрасталось.

До конца левого ряда было столько, сколько до горизонта.

До конца правого – как до их молодости.

Ицхак впивался взглядом в каждое надгробие, и то ли от их мелькания, то ли от усталости число их множилось и множилось. На надписи, высеченные по‑русски и на идиш, наплывали, наслаивались соболезнования и прощальные слова на польском, на литовском, на французском, на иврите – на всех языках и наречиях.

Звякали ордена, пестрели планки, цвели розочки в петлицах, сверкали декольте.

Но Бенциона Зайдиса как назло не было.

Ицхаку, как в детстве, когда его, маленького, надолго оставляли одного у реки или на базарной площади, хотелось закричать во весь голос: «Ау‑у, Бенцион! Отзовитесь!»

Налево тянулось кладбище, направо тянулось кладбище. Малкин боялся поднять голову: а вдруг и небо всё в могильниках. Ицхак и сам не понимал, сколько длятся эти поиски, это блуждание – час или тысячелетия?

Господи, когда оно, это блуждание, кончится?

– Нашел? – донеслось справа.

– Нет.

Малкин остановился бы, перестал бы искать, но его несла какая‑то непонятная сила. Ему не было никакого дела до Бенциона Зайдиса, до его сыновей, играющих на Тель‑Авивской бирже, до всесильных долларов, которые не заработаешь иголкой. Он искал всех своих сородичей, погибших во все времена: и на дорогах скитаний, и на чужих войнах, и в белых рощицах. Губы его шептали: Господи, выжги траву, которой поросли могилы, оставленные сыновьями и дочерями! Господи, собери по осколочку, по пылинке расколотые надгробия и выветрившиеся от времени могильные камни и спаяй их своей любовью и милостью! Господи, верни каждому убитому и мертвому имя, чтобы ищущие могли их найти и оплакать! Бенцион Зайдис играл с ними в бесконечные, жуткие прятки, как будто противился тому, чтобы о нем пекся чужой человек в нелепом шутовском комбинезоне, в каком выступают коверные в цирке. У него, у Бенциона Зайдиса, два сына – Рувен и Ассар. Пусть бросят свои прибыльные игры, забудут на время про ставки на бирже и приедут. Их не убудет – меньше проиграют. Приедут и сразу, без всякой посторонней помощи разыщут отцовскую могилу, ведь сами рыли, сами закапывали. Пусть постоят под соснами, пусть для вида утрут платочком глаза.

Ицхак и Гирш Оленев‑Померанц, выбившись из сил, прекратили свои поиски.

Может, Бенцион Зайдис бежал с кладбища, подумал Малкин. Может, вслед за исходом живых начался исход покойников. Покойникам работы не нужно, а место для них всегда найдется. Лягут в тени пальм и бирж, и дети и внуки в перерывах между торгами и сделками будут приносить им в целлофановых пакетах цветы – свидетельство любви и печали.

Ицхак смотрел на Гирша Оленева‑Померанца, и жалость затупевшей иголкой царапала душу. Еще минуту тому назад флейтист носился по кладбищу с проворностью белки. Он будет и завтра носиться и послезавтра, пока сам не упадет меж кладбищенских рядов, которые, словно железнодорожные рельсы, убегали во все стороны света.

– До вильнюсского поезда полтора часа, – сказала Эстер. – Если мы хотим сегодня уехать, нам надо поторопиться.

Дождь увядал. Капли его никли на глазах.

– Ничего не поделаешь, придется заночевать, – вздохнул Ицхак. – Мы не можем отсюда уехать, не побывав на кладбище и в белой рощице.

До кладбища они добрались быстро.

Когда они подошли к нему вплотную, из дома хевры‑кадиши погребальной братии – вышла сухопарая старуха в отребье: на голове у нее тюрбаном был повязан траченый молью шерстяной платок; латаную юбку перетягивал потертый солдатский ремень с тяжелой пряжкой; за ремень, как револьвер, была заткнута изогнутая курительная трубка; на ногах серели деревянные башмаки – клумпы.

– Как я рада, как я рада, – запричитала она, – милости просим, милости просим.

Голос у нее был на удивление чистый и звонкий. Говорила она нараспев, как будто выводила затверженный с детства псалом.

Ицхак никак не мог взять в толк, как она попала на еврейское кладбище, как стала владелицей скособочившегося домишки.

Старуха, как бы угадав его мысли, поспешила ему на помощь:

– За сторожа я тут, за сторожа. Весной траву кошу, зимой снег разгребаю. В прошлом году его было столько, что шагу не сделаешь… Проваливаешься, как в трясину… Да зимой сюда никого и не заманишь.

Речь ее была неторопливая, обстоятельная, каждое слово она процеживала сквозь зубы, как молоко сквозь ситечко. Эстер всем своим видом показывала Ицхаку: кончай! Мол, поднимемся на пригорок, глянем на этот ужас, на этот конец света и пойдем к другому ужасу, еще более страшному.

Но Ицхак не спешил.

– Когда вас не было, – продолжала старуха, – сюда только мой зять Антанас приезжал. – Она помолчала и добавила: – Нашел меня и спросил: «Чего вы, мать, заплаканная?» А я ему: «Какое же кладбище – без слез?» Антанас даже разозлился: «Ну уж по ним плакать не стоит». А я думаю, по всем плакать надо.

Ицхак и Эстер переглянулись.

– Я на могилы каждый день приходила… Ну на те, что уцелели. Васильки клала, ромашки. Их тут видимо‑невидимо.

С пригорка, оттуда, где угадывалось кладбище, спустилась замурзанная коза. Рожки у нее торчали, как две незажженные поминальные свечи. Она подошла к старухе, уткнулась белой мордочкой в ее подол и тихо замекала.

Услышав ее мекание, за домом, в сарае‑развалюхе, победно закукарекал петух.

Чем громче он кукарекал, тем больше хмурилась Эстер.

– Пойдем, – тронула она за рукав мужа.

– Дай послушать, – сказал он.

– Что?

– Четыре года не слышал, как коза мекает, как петух заливается. Господи, какая благодать!

Сказал и осекся – какая уж тут благодать…

Эстер и Ицхак медленно и грузно стали подниматься на пригорок. Засеменила за ними и старуха.

Всю дорогу до самого кладбища все молчали.

Изредка среди голых сосен, отгораживавших плотной стеной погост от лугов, раскинутых вокруг, мелькали поваленные надгробия, заросшие паршой мха и плесени. Надо бы остановиться, попытаться прочесть полустертые письмена, но времени было в обрез, и еще неизвестно, как скоро они найдут могилы своих близких.

Но того, что они так жаждали увидеть, не было и в помине. Перед ними простиралась обыкновенная, кое‑где обезображенная каменными обломками поляна.

Уцелело только с десяток памятников. Казалось, дьявольский косарь прошелся по всему кладбищу и выкосил почти все надгробия. Жалкие их остатки валялись в траве, только потому, что не годились ни для строительства, ни для мощения улиц.

Ицхак и Эстер бродили по выкошенному кладбищу, останавливались у раскиданных камней и пытались из расколотых, рассеченных, разломанных предложений сложить либо чье‑то имя, либо дату рождения или смерти.

– Мордехай, – шептал Малкин, склоняясь над торчавшим из травы обломком.

– Цви, – вызывала кого‑то из небытия, из плена забвения Эстер. – Файвуш… Элханон…

– Мордехаем звали мельника Гольдштейна, – сказал Ицхак. – А Файвушем – жестянщика Кагана.

– Да, да, – думая о чем‑то другом, соглашалась Эстер.

Над поляной, над старухой в платке, повязанном тюрбаном, над ними в синем вымытом дождем небе вдруг распростерлась огромная тень мельничных крыл, потом донесся мерный гуд жерновов, потом из раскрытых дверей вырвалось облако белой мучной пыли; ветер подхватил его и закружил.

– Элханон Силькинер, – после паузы произнесла Эстер. – Свадебный музыкант. Помнишь, он и на нашей свадьбе играл.

Старуха кивала головой; курительная трубка покачивалась во рту, покачивались сосны, покачивалась земля, только звук скрипки свадебного музыканта Силькинера не давал ей разверзнуться; он соединял все; на нем, на этом звуке, пронзительно тонком, казалось, держались еще эти обезличенные камни, эта земля, этот разломанный, как надгробия, мир.

– Антанас, зять мой, говорил: «Вот придут евреи и придушат тебя. Уж лучше в хлеву на хуторе, чем на их кладбище…». Неправду говорил. Три года живу, а пока, слава Иисусу, не придушили… Ваши меня не трогают. Приходят и только спрашивают…

– Наши? – вдруг оживился Ицхак.

– Прошлой ночью один такой приходил… Может, слышали – Вайман? У костела аптеку держал.

– Как же он мог к тебе прийти, – удивилась Эстер, – ведь его еще до войны зарыли?

– А ко мне живые не приходят, только мертвые.

Старуха пососала мундштук, вынула его изо рта, сунула за ремень и с большим достоинством, как на исповеди, объяснила:

– В сны приходят.

Она споткнулась об иззубренный обломок; башмак слетел у нее с ноги; старуха попрыгала‑попрыгала, пока не водворила его на место.

– Что случилось, Мария, спросил у меня господин Вайман? Почему никого не хоронят? Почему никто не плачет? Что случилось? Я говорю: война, господин Вайман, немцы… А он не унимается: разве, говорит, в войну не умирают? Тут что‑то не то, говорит. Разве мертвому правду скажешь? Ведь правду и живому не говоришь.

Ицхак отошел в сторонку и над разбитым надгробием стал говорить кадиш по мельнику Мордехаю Гольдштейну, по мельнице, по ее тяжелым крыльям, миротворно шелестевшим над местечком, по облаку белой мучной пыли, вырывавшемуся из открытых дверей, по остановившимся жерновам; по лавочнику Бениамину Пагирскому, по всем его колониальным товарам, по свадебному музыканту Элханону Силькинеру и по его скрипке…

– Совсем умаялся, – честно признался Гирш Оленев‑Померанц. – Сдаюсь. Отправлю все деньги Рувену и Ассару обратно.

– Не мешайте, – рассердилась Эстер. – Разве вы не видите – человек кадиш говорит.

Она всегда слышала то, что слышал он, и то, что он еще услышит в будущем.

На месте, где, как и предполагал Ицхак, был похоронен его отец Довид, над огромной запекшейся коровьей лепешкой он творил поминальную молитву. Скорбь, плескавшаяся в ней тысячелетиями, была яростно молода, и мощь ее раздвигала пространства; смыкались времена; стирались границы между странами и городами; менялись ролями мертвые и живые; не было ни земли, ни неба – все спрессовалось в один сгусток боли, который был сильнее, чем земное притяжение.

Ицхак вдруг почувствовал, как раскаленная магма, которую всколыхнула молитва, хлынула изнутри, откуда‑то из предсердия, и захлестнула все его существо. Он почувствовал, как вспыхнул от нее накинутый на плечи чужой талес – не мельника ли Мордехая Гольдштейна, не лавочника ли Бениамина Пагирского? – как огонь перекинулся на волосы, как он, Ицхак Малкин, в мгновение ока превратился в огненную охапку, в горящий куст, в неопалимую купину. Сполохи освещали то, что случилось, и то, что еще случится; они расходились кругами, и пламя сплавляло разбитые камни, сшивало, как портновской ниткой, расколотые надгробия, и на каждом из них в огне отливалось не только имя покойника, но и того, кто надругался над его могилой.

Он стоял посреди кладбищенской поляны, негасимый, излучающий во все стороны светящееся сострадание; мекала коза, кукарекал петух, каркали вороны, жужжали проснувшиеся от зимней спячки мухи – все твари вместе с ним творили поминальную молитву. Малкин не отваживался стронуться с места: стронется – и куст погаснет, и не случится того, что еще должно случиться, и еще больше затмится то, что уже случилось.

– Пойдемте в хату, пойдемте в хату, – пропела Мария, когда последний луч молитвы погас. – Я вам на дорогу гостинцев дам. Молочка козьего и травки от ломоты в костях, и зелья от бессонницы, и грибковой плесени от синяков и ссадин.

Знахарка, колдунья, недобро подумал Малкин.

Эстер с надеждой глянула на него: может, не пойдет в избу, может, откажется. Они и так на поезд опоздали. Неужели разведет тары‑бары со старухой? Взял бы молоко – и в путь. Она, Эстер, все равно его пить не будет. Поди знай, что за молоко и от какой козы… Ицхак же, вопреки надеждам жены, переминался с ноги на ногу, оглядывал покосившийся домишко погребальной братии и что‑то упорно выискивал взглядом – не то козу, не то петуха, не то местечкового могильщика Авремеле. Отец Довид ему всегда даром чинил ботинки, может, говорил, лишнюю горсть земли в могилу бросит, мягче и теплей будет.

Стемнело. Сумерки были густыми, как сливовое варенье – их можно было намазывать на хлеб.

Ни у Эстер, ни у Ицхака не было сомнения, что им сегодня отсюда уже не выбраться, что придется заночевать. Но где? Был бы Игнас Довейка, пошли бы к нему. Но тот как сквозь землю провалился.

– Придется тут заночевать, – сказал Малкин.

Эстер не возражала. Возражай, не возражай, все равно никакого другого выхода нет.

– Я тут не буду спать, – нахмурилась Эстер.

– А разве я сказал – спать? Посидим на лавке, пока не рассветет, а на рассвете отправимся в белую рощицу. От нее до вокзала – рукой подать.

– Нет, – заупрямилась Эстер.

– Ну чего ты так боишься? Ничего с тобой не случится. Никто не придушит, не убьет. Кругом все свои: и аптекарь Вайман, и мельник Гольдштейн, и лавочник Пагирский… И родители твои и мои рядом. Что с того, что надгробий не осталось? Когда родители – пусть и мертвые – рядом, с твоей головы и волосок не упадет.

Мария зашаркала башмаками‑клумпами и засеменила вниз. Облепленная сумерками, она остановилась на крылечке и безропотно, почти обреченно, принялась ждать, когда гости войдут в избу.

Старуха догадывалась, что разговор у них нелегкий – легких разговоров на кладбище не бывает. Пусть говорят, пусть отведут душу. Она, старая, им только благодарна, что пришли. Третья пара после войны. Видно, всех их перебили.

Пусть говорят! Тут, на кладбище, только меканье козы, только крик петуха, только карканье ворон, писк мышей, да ее, Марии, бормотание напоминают о жизни человеческой.

Чего они ждут? Скорее бы вошли в избу. Гости всегда в радость. Муха залетит, и то на душе веселее.

Но чем же их попотчевать? Евреи не все едят, не все пьют. Мария это знает – не один год в молодости полы в аптеке Ваймана мыла.

– Мы тебе не помешаем? – раздался баритон Ицхака.

– Не помешаете, не помешаете.

Она никак не могла взять в толк, чем человек может помешать человеку, когда вокруг темно и когда каждому голос другого нужен больше, чем кров и еда.

– Спасибо, – пробормотал Малкин.

– Милости просим, милости просим.

Первой в избу вошла Эстер. За ней, ударившись головой о косяк двери, протиснулся Ицхак.

Старуха защелкнула щеколду, и липкий и вонький мрак сомкнулся над ними.

Гости, стоя, прислушивались к возне Марии, которая долго шарила в темноте, пока не нашла спички.

Слабый огонек вспыхнул и тотчас же погиб. Но старуха снова чиркнула, зажгла керосиновую лампу – ту самую, которая еще до войны светила погребальной братии; свет лампы, мягкий и желтый, как топленое масло, вырвал из сумерек стол – тот самый стол, на котором обмывали покойников; потом громоздкую облупившуюся печь – ту самую, на которую зимой забирался могильщик Авремеле; потом бревенчатые, изъеденные древоточцем стены – те самые, которые не рухнули под напором криков и стенаний; потом неровный, в кои веки настланный пол – тот самый, который не выжгли падавшие на него бесчисленные вдовьи и сиротские слезы, испепелявшие сердца.

Все, кроме застекленного Спасителя, распятого на кресте, и преданных ему учеников, пытавшихся его снять, и старухи – смотрительницы кладбища, было то же самое. Картинно откинув свою живописную голову, увенчанную густыми, как мрак, волосами, Христос принимал свои муки, не обращая ни на кого внимания.

Мария так же безгласно, как и зажгла лампу, развела в печи огонь. Поленья долго не разгорались, пока, наконец, спокойный, домовитый треск не раздался в тишине, пока искры не посыпались в темноту, как окрошка молнии.

В чугунке забулькала вода. Видно, Мария варила на ужин картошку в мундире.

Потрескивание дров, озорное булькание воды, смиренное шуршание хозяйской юбки не столько успокаивали, сколько навевали смутную тревогу.

Откуда‑то из‑под печки вылезла кошка, и ко всем звукам прибавилось еще ее вкрадчивое мурлыкание. Ицхак готов был поклясться, что перед ним кошка могильщика Авремеле – та самая кошка, которая неизменно присутствовала на всех обмываниях. Заберется, бывало, на подоконник и смотрит с удивлением и жалостью на покойника, трет лапкой глаза и смотрит.

Кошка смотрела на него точно так же, как тогда, пусть не с подоконника, пусть с выщербленного пола, но Малкин от ее взгляда съежился. На миг ему показалось, что он и впрямь покойник, что он не сидит за столом, а лежит на нем, и чьи‑то руки трут его мочалкой – живот, плечи, пах, поворачивают и снова трут, трут, трут, как в бане.

– Брысь! – закричал он в испуге. – Брысь!

Кошка равнодушно зевнула и снова уставилась на него, мол, чего разорался, у нас мертвые ведут себя смирно.

– Брысь! – замахнулась на нее и Эстер. И ей передался испуг. И она узнала кошку могильщика Авремеле.

– Марце! – сурово окликнула ее Мария.

Марце распушила хвост и послушно побежала к возившейся у печи хозяйке.

Марце, кольнуло Ицхака. До войны у кладбищенской кошки не было клички. Как и у смерти.

Огонек под стеклянным колпаком покачивался, как одуванчик на ветру – еще одно дуновение, и все его огненные лепесточки облетят.

Малкин всматривался в трепыхающийся стебелек пламени, и мысль‑крыса набрасывалась в его голове на все другие мысли и поедала их одну за другой.

Кошка – та же самая, мыши – те же самые, клопы и тараканы – те же самые, сверчок за печкой – тот же самый, мухи, обгадившие живописного Христа и его учеников, – те же самые, жучки‑древоточцы – те же самые, пауки – те же самые…

Почему же они уцелели и пережили тех, кто в белой рощице? Чем же они так угодили Богу? Почему им выпала лучшая доля, нежели его, Ицхака, братьям – Айзику и Гилелю, нежели ее, Эстер, сестрам – Хаве, Мириям, Ципоре, Злате и Фейге?

Неужели какой‑нибудь паук дороже Господу, чем престарелый рабби Мендель?

Неужели ему приятнее лицезреть какую‑нибудь мышь, чем всех сапожников, всех шорников, всех скорняков и всех краснодеревщиков местечка?

За что Он, Отец небесный, даровал какому‑нибудь клопу‑кровопийце еще четыре года, а сержанту Зелику Копельману даже лишней недели не дал?

Разве он хуже их – жалящих, скребущихся, пресмыкающихся и вьющих свои коварные сети?

Разве трудно было Ему, Всевидящему и Всеслышащему, прежде чем обречь кого‑то на гибель, спросить:

– Айзик, хочешь быть сверчком? Злата, хочешь быть мышью? Зелик Копельман, желаешь быть клопом или тараканом? Мириям, желаешь быть вороной и каркать над могилой своего отца и матери? Господи, Господи, ведь Ты создал нас на радость себе и на благо всех. Сотвори же нас, живых и мертвых, заново, не гневайся на меня за мои неразумные советы. Мало ли что взбредет в голову глупому портному… Может, говорю, Тебе там, в горных высях, взять и перешить весь подлунный мир? Я, да простится мне мое кощунственное сравнение с Тобой, всегда переделываю скверно сшитые одежды, ибо больше пекусь о том, кто будет их носить, чем о своем добром имени.

Долго ли Тебе, Господи, удлинить и расширить добро и подкоротить и сузить зло?

Долго ли Тебе, Милосердный?..

– Ешьте и пейте, – промолвила Мария и поставила на стол чугунок со сварившейся картошкой в мундире, крынку козьего молока и две кружки. – Если хотите, заварю чайку с травками. Очень они полезны для здоровья. Я их вам в дорогу дам. И снадобья от сглазу и падучей, – добавила она.

Эстер не притрагивалась ни к картошке, ни к молоку. Но Ицхак, в отличие от жены, подцепил вилкой картофелину, обжигаясь, снял с нее шелуху, подождал, пока она остынет, разрезал на две половины – одну себе, другую Эстер, отправил в рот и запил козьим молоком.

Старая литовка, ее слова, ее скудное угощение не вызывали у него ни брезгливости, ни опасения. Кроме благодарности и врожденного любопытства, он к ней никаких других чувств не испытывал. Видно, не от хорошей жизни согласилась она перебраться в эту развалюху, кишащую больше духами, чем клопами и мышами. Малкину было ясно: не на богатство Мария позарилась, не на имущество. Ее доброта, которую ни Эстер, ни Ицхак ничем не заслужили, скрашивала вопиющую бедность и, как тусклая керосиновая лампа, озаряла ее жилище и старость.

Надо бы ей оставить немного денег, подумал Ицхак. За васильки, которые она кладет на сохранившиеся могилы. За то, что по ночам во сне все еще моет полы в аптеке Ваймана и не говорит ему правды о том, что случилось. Тот, кто умер до войны, не должен о ней знать.

Не сказав ни единого слова, Мария ушла и вскоре вернулась с двумя овчинами, от которых отдавало библейскими яслями. Овчины были старые, с огромными проплешинами.

– Одну постелите, другой накроетесь, если озябнете, – сказала она. Голос у нее был цвета костельного ладана. – Сейчас принесу и подушки.

Она приволокла два холщевых мешка, набитых прошлогодним сеном, с едким, как у махорки, запахом.

– Спокойной ночи, – попрощалась она. И через минуту с печи донеслось ее безмятежное похрапывание.

Улеглась в предпечье и кошка, свернулась калачиком.

Сон ее, чуткий и нестойкий, то и дело прерывался. Марце вскакивала, кидалась то в один угол, то в другой, но безуспешно – старые мыши были резвее ее.

В лампе догорал керосин. В доме погребальной братии снова сгустилась тьма, которая пружинила, как накачанная велосипедная камера.

Прижавшись друг к другу, Ицхак и Эстер ждали рассвета. До детства было ближе, чем до железнодорожной станции. Закроешь глаза – и вот оно перед тобой.

Он, Ицикл, один. Ему только три года. Комната огромная, бескрайняя, а он маленький, меньше его – только муха. На колодку насажен чей‑то сапог; вокруг верстака рассыпаны деревянные гвоздочки, похожие на муравьев. На стуле висит фартук. Из кармана фартука торчит молоток. В мире, кроме него, трехлетки, никого нет; ужас одиночества леденит сердце.

– Дедушка! Бабушка! – кричит он.

Тишина.

В тишине еще громче стучит сердце. Если дед сейчас не войдет, если не достанет из фартука молоток, если не застучит по ботинку, все кончится: все сваленные в кучу башмаки с топотом бросятся к дверям; гвоздочки‑муравьи уползут в муравейник под липой; прирезанный бабушкой гусь вылетит в открытое окно…

Но нет ни деда, ни бабушки, ни отца, ни мамы. Все человечество для него погибло. Он один на целом свете.

И вдруг входит дед, семенит к верстаку, надевает фартук, вытаскивает из кармана молоток и гулко, и радостно бьет по насаженному на колодку сапогу, и все потерянные звуки возвращаются, и сердце Ицика из ледяного комочка снова превращается в птичку, долбящую своим клювом грудь, как оконное стекло. И снова муха на подоконнике кружится над недоеденным пирожком с маком. И все человечество снова в полном составе.

До рассвета Ицхак только и делал, что в доме погребальной братии заносил над тьмой дедовский молоток и стучал по ней, как по сапожничьей колодке, и в мире все вставало на прежние места, все отстраивалось и восстанавливалось; на прежние места съезжались разрушенные дома и разоренные кладбища; дедушки чинили ботинки, бабушки набивали гусиным пухом подушки, матери снова носили колодезную воду в ведрах на коромыслах из соседнего двора, а братья Айзик и Гилель играли за футбольную команду «Маккаби», Гилель – хавбеком, он отвечал за правый край, Айзик – вратарем; и по правому краю ни один немец не прорвался, и в ворота ни один снаряд не попал; старуха Мария жила у себя на хуторе, не с чужой кошкой и тенями, а вместе со своими детьми и пчелами, со своими мышами и травами и ела не за ритуальным столом, а за простым, крепко сколоченным детьми и внуками.

Молоток стучал и стучал, иногда тихо, едва слышно, неуверенно, иногда мощно, словно колокол; от его стука отступала тьма, и в крохотное оконце с треснувшими стеклами сперва робко, а потом осмелев, заструилась заря.

Когда Мария слезла с печки, за оконцем совсем рассвело. Эстер и Ицхак сидели на овчине, по‑прежнему прижавшись друг к другу. Ее волосы, как утренние лучи, падали на его лицо и плечи; его руки переплетались с ее руками, как водоросли в водяном царстве под старым вилийским мостом, покачивались в ее подоле, словно на волне.

Сон, сморивший их под утро, был слаще козьего молока. Они улыбались во сне, и улыбка сглаживала угрюмость и усталость.

Посадив на плечо кошку, Мария выскользнула во двор.

Спал петух, спала коза, сторожким чутким сном спали на пригорке мертвые.

– Перекур, – объявил Гирш Оленев‑Померанц.

От его возгласа маятник качнулся от сна к яви, Ицхак продрал глаза и уставился на музыканта, примостившегося на чьем‑то надгробии, покрытом лоскутами мха, как беличьими шкурками.

– Проклятые ноги! Проклятые зимы в Воркуте!.. Полгода до того, как попал в ансамбль, вкалывал в шахте.

Гирш Оленев‑Померанц говорил отрывистыми, недозревшими фразами; кривая его речи то резко падала вниз, то подскакивала, как кровяное давление, вверх, но Ицхак склеивал обрывки воедино, снимал с них шелуху косноязычия и, как ему казалось, без особого труда прорывался к сути.

Из всех живых завсегдатаев Бернардинского сада, из всех простых и почетных членов клуба ненужных евреев (Малкин уже не помнит, кто так окрестил их сборища) Ицхак больше всего жалел Гирша Оленева‑Померанца, хотя подтрунивал над ним чаще, чем другие, и открыто корил за приверженность к рюмочке.

Гирш Оленев‑Померанц привлекал его своей грубоватой прямотой, своими фантазиями и необыденными затеями. В самом деле, придет ли в голову простому смертному добиваться, чтобы ему разрешили лечь не тут, в Шешкине, на кладбище, отведенном для всех послевоенных евреев, а в Понарах, историческом месте, где полегли тысячи и тысячи евреев и среди них – все его родные.

Язвительный Моше Гершензон объяснял его затею с Понарами чрезмерным для еврея употреблением алкоголя. Гирш Оленев‑Померанц и впрямь закладывал за воротник.

Когда играешь до утра в ресторанах и на свадьбах, трудно прослыть трезвенником. А еще воркутинские зимы…

Ицхак никогда не считал флейтиста алкоголиком. Каждый в жизни свою грелку ищет, говорил он Моше Гершензону, кто денежки, кто водку, кто высокие посты.

– Хочешь? – Гирш Оленев‑Померанц вытащил из кармана пачку сигарет и протянул Малкину.

– Ты же знаешь – я не курю. И потом – кто же курит на кладбище?

– Весь мир – кладбище, сказал Шекспир. «Мальборо лайт». Их курят все лучшие музыканты мира.

Ицхак не был на все сто процентов уверен, но, как ему казалось, Гирш Оленев‑Померанц к лучшим музыкантам мира не принадлежал. Чем он действительно был похож на них, так это своими привычками и пристрастиями: носил огромный берет, ходил с потертой бабочкой на шее, презирал наручные часы – пользовался только карманными с брелком, церемонно раскланивался со всеми, словно отвечал на аплодисменты.

Все свои заработанные деньги он тратил на покупку дикованных вин и коньяков, а также на грампластинки с записями знаменитостей. О его коллекции знали не только в Литве, но, как он сам говаривал, и заграницей.

Время от времени он устраивал у себя на дому прослушивания с легкой выпивкой и такой же легкой закуской; усаживал своих друзей вокруг стола, включал купленный по дешевке магнитофон «Грюндиг», требовал от собравшихся тишины и, когда в комнате не слышно было и шороха, открывал перед ними занавес на сценах Ля Скалы и Большого театра, Метрополитен‑опера и Мариинки.

Натан Гутионтов, никогда не бывавший, как и он, Ицхак, в опере, обожал «Севильского цирюльника». После каждого прослушивания он еще долго, стоя в прибазарной парикмахерской, в тесноте и толчее, с удовольствием напевал: «Фигаро тут, Фигаро там».

– Это про меня, – по‑детски радовался он. – Я тоже был такой шустрый.

Брюзга Моше Гершензон, тоже участвовавший в этих музыкальных посиделках, на полном серьезе уверял, что Натан Гутионтов на телефонные звонки в прибазарную парикмахерскую отвечал: «Фигаро слушает». Конечно, «Фигаро» звучало куда приятней, чем «дешевый жид».

На устраиваемых Гиршем Оленевым‑Померанцем мальчишниках хозяин извлекал из холодильника бутылку водки, доставал свою флейту, садился рядом с магнитофоном, поправлял бабочку на шее, опрокидывал стопку и, сделав глубокий выдох, начинал играть в тех местах, где вступали его невидимые коллеги. Закатывая глаза, он вдохновенно перебирал пальцами «пуговки» своего повидавшего виды инструмента и весь преображался. Лицо его горело, на лоб и щеки ложился отсвет софитов лучших театров мира – Италии, России, Америки, Англии, Франции.

– Карузо! – с молитвенным восторгом произносил он. – Тито Гоби! Казальс! Тосканини! Хейфец!..

В такие минуты он чувствовал себя их ровней, в такие минуты не было ни Понар, ни Воркуты, ни ночных, утопавших в табачном дыму и в алкогольных парах, ресторанов, не было его одиночества.

– В другой раз найдешь своего Бенциона Зайдиса, – утешил его Ицхак.

Гирш Оленев‑Померанц по‑прежнему сидел на беличьих шкурках и извлекал, как фокусник из рукава, из бездонного кармана комбинезона одну сигарету за другой.

– Да хрен с ним! – выругался он. – У меня их еще целых четыре.

– Четыре? – деланно удивился Малкин.

– Гастроль не кончена… Следующий: Рафаил Цукерман – Канада, потом Дора Ривкина – Америка, потом Иеремия Ламм – Германия и замыкает список Ханан Тростянецкий – Швеция.

Казалось, Гирш Оленев‑Померанц объявляет имена участников какого‑то международного конкурса. Но то были не флейтисты, не виолончелисты, не скрипачи и не волторнисты, а уехавшие из Литвы дети тех, кто навеки остался без присмотра на местном еврейском кладбище.

– Как ни говори, а сто двадцать долларов в год с каждого – это не шутки. – Как и многие евреи, Гирш Оленев‑Померанц считал лучше, чем говорил.

– Слушаю тебя, слушаю и думаю: как же тебе так подфартило? – съязвил Малкин.

– Все очень просто, – ответил флейтист. – Уж такой мы народ – евреи. Когда тебе хорошо, всегда найдутся охотники сделать тебе немножко плохо. А когда тебе из рук вон плохо, всегда найдутся желающие сделать тебе немножко хорошо. Старая дружба помогла. Рувен и Ассар мой адрес дали и другим. Нет на свете евреев без могил.

Гирш Оленев‑Померанц встал с беличьих шкурок, прочел на всякий случай надпись на надгробии, с которого он встал – а вдруг именно тут высечено имя запропастившегося Бенциона Зайдиса? – и в знак благодарности Ицхаку за совместный поиск выдохнул:

– Поедем, Ицхак, в Израиль.

– Кто это поедет? – не сообразил Малкин.

– Зелененьких на дорогу хватит. А если нет, возьму еще одну могилу. Хоть один раз перед смертью надо… Десять лет, бляха‑муха, за свидание с ним отбухал.

– Вот ты и поезжай. Зачем тебе прицеп?

Гирш Оленев‑Померанц задумался; глаза его запечалились, на кладбищенскую землю с губ упал прилипший окурок. Он еще с минуту дотлевал в хвое, посверкивая, как божья коровка на солнце.

– Хочу выйти на свободу… из второго лагеря… Пусть хотя бы на две недели.

– Какой же Литва лагерь? Не сегодня‑завтра снова независимой станет, – удивленно сказал Ицхак.

– Лагерь… Гетто…

– Для нас с тобой уже нигде свободы не будет. Ибо что такое человек, как не тюрьма, где он сам – вечный арестант и тюремщик?

– Скажи прямо – поедешь со мной или нет?

Ицхак промолчал.

Гирш Оленев‑Померанц принял его молчание за согласие. Как ни говори, вдвоем веселее – в лагере ли, на свободе ли… А денег ему не жалко: он их зарабатывает, слава богу, не в забое, не стоя по пояс в ледяной воде. Да и на гроб копить не стоит. Пусть его закопают в чем мать родила, без всякой крышки, но только там – в Понарах. Он так и написал в своем ходатайстве в Президиум Верховного Совета: «Прошу Вас… без обуви, без одежды, без всякого покрывала, вместе со всеми… одиннадцатью моими родичами. Привожу их фамилии в алфавитном порядке… Год и место рождения…» До сих пор никакого ответа. Пока они ответят, он и в Израиль успеет съездить и вернуться. Нет, Ицхак, денег на поездку не жалко. Гирш Оленев‑Померанц столько их ухлопал на алкоголь, на подружек, кратковременных, как летняя гроза, на гостиницы в Сочи и Ялте, на форель и люля‑кебаб на озере Рица, на лобио и хинкали в Тбилиси, на билеты в Большой (он туда ездил не реже двух раз в месяц), на всякие соблазнительные лотереи (несчастливыми бумажками были обклеены все стены в доме) и снова – на водку, и снова – на девиц, ибо спешил жить, ибо спешил все наверстать, но не мог соскрести с себя лагерную коросту, вытравить барачную вонь – даже от его жабо, даже от его изысканного берета, даже от его флейты разило смрадом незаслуженной неволи, и клочья этого смрада, как хлопья заполярного снега, падали на гостиничные скрипучие кровати, на ресторанные столики, на тарелки с икрой и балыком, на фужеры с шампанским, на свадебные букеты, на фату невесты и тройку жениха.

Он должен туда поехать. Он хочет, чтобы кто‑то видел его свободным и счастливым. Лучший попутчик – Ицхак. Могильных денег хватит и на него.

– Махнем, Ицхак на Красное море… где Моисей по воде, как посуху…

Гирш Оленев‑Померанц пытался соблазнить Малкина как женщину. Он обещал ему райскую жизнь. Они будут лежать каждый день на пляже и загорать в Эйлате на солнце, они каждый день будут купаться и нырять, уплетать восточные сладости. Когда им надоест море, они отправятся в путешествие по Земле обетованной и где‑нибудь на севере или на юге найдут пальмовый парк, где собираются ненужные евреи – нет такого места на земле, где их, ненужных евреев, не было бы. Сядут на скамейку под пальмой и заведут со своими собратьями неторопливый разговор о Литве и Польше, о Венгрии и Румынии, о том, что было, и о том, чего не было. Того, чего не было, всегда больше, чем того, что было. Единственное, о чем они не заикнутся, это о том, что будет. Не блещущий остроумием Натан Гутионтов на этот каверзный, мучивший евреев из поколения в поколение вопрос уже ответил: «Будет лучше, но хорошо не будет».

– Ицхак, – тихо начал Гирш Оленев‑Померанц, – неужели тебе и впрямь не хочется к морю?

– Наше море – тут, – так же тихо произнес Малкин и обвел рукой кладбище. – Скоро нырнем – и все дела…

– Нет! – запротестовал флейтист. – Тут я лежать не буду…

– А там тебе не разрешат. В Понарах лежат только замученные и убитые.

– А нас… нас разве не замучили? Разве нас каждый день не убивали? – выкрикнул Гирш Оленев‑Померанц.

Малкин понурил голову.

Сердцем он понимал, что у его друга есть полное право быть похороненным вместе с его родней, но не сомневался, что косточки его дотлеют не в Понарах, а тут, на этом кладбище, и просил Бога, чтобы Он отдалил от Гирша Оленева‑Померанца тот день.

## Глава пятая

Больше всего Ицхак любил бывать в Бернардинском саду поздней осенью или ранней, не взвихренной метелями зимой, когда от снега, как от праздника Хануки, исходит миротворное сияние, когда каждое дерево напоминает шамаш – главную свечу в светильнике.

Поздней осенью и ранней, еще не устоявшейся зимой в парке не так многолюдно, почти пустынно. На опавших листьях, как тесто на пару, всходят самые щемящие и светлые воспоминания.

Правда, осень и зима – время похорон. Листопад заметает листьями, снегопад накрывает хлопьями, как лоскутами савана, одногодков и однополчан.

Собственной смерти он, Ицхак, не боится. Он боится смерти тех, кто столько лет был с ним рядом, кто кимарил вместе с ним на скамейке под липами. Еще его отец говаривал: долгая жизнь – кара за жизнь.

Воистину кара. Господь карает слепотой за ненасытность зрения, неподвижностью – за торопливость шага, глухотой – за жажду все слышать. Нет, своя смерть не страшна.

До осени еще далеко, а уже ушла Лея Стависская, какая‑никакая, а все‑таки своя. И вот сейчас попал в больницу грамотей Моше Гершензон – подозревают самое страшное.

Еще совсем недавно Моше развозил их по домам. Приезжал последним в Бернардинский сад, садился на скамейку, сорил премудростями, учил всех уму‑разуму.

Малкин навестил его на прошлой неделе и спросил:

– Может, Исааку в Израиль написать?

– Нет, – оборвал его больной. – Я сам ему напишу.

Сам, так сам. Не проходило и недели, чтобы Гершензон не получил письма от своего Счастливчика Изи. Их у него горы дома.

Ах, какие письма, какие письма! Дай бог каждому еврею дождаться таких слов от сына. Натан Гутионтов, тот даже крякал от зависти. Его Лариса если и напишет раз в году, то это просто счастье.

Гирш Оленев‑Померанц шепнул однажды Ицхаку:

– Он эти письма сам пишет. Он их пишет самому себе. Мне чутье подсказывает.

– Чушь! – защищал грамотея Моше Гершензона Ицхак. – У него что – другого дела нет? Он не Пушкин, он зубы делает, зубы…

– Помяни мое слово, – уверял флейтист.

До осени еще далеко, а дурные вести множатся.

Ицхак мерял шагами аллею Бернардинского сада и ждал, когда со стороны Кафедрального собора появится необъятный берет Гирша Оленева‑Померанца, когда знакомо заскрипит деревяшка Натана Гутионтова и на своей метле, как ведьма, прискачет пани Зофья.

Прискачет ли? Мало было Ицхаку болезни грамотея Моше Гершензона, как тут еще пропала ночная еврейка пани Зофья. Может, ее уволили? Может, ее перевели на другой участок?

Неподалеку, в конце аллеи, хлопотала другая уборщица, почти школьница, с тонкими косичками.

Малкина так и подмывало подойти к ней и полюбопытствовать, не дочь ли она пани Зофьи. Но он не отважился. С какой стати она должна отвечать незнакомому человеку, к тому же ни на что не годному старику?

За кого Ицхак был спокоен, так это за Натана Гутионтова. Ему, Малкину, наконец‑то удалось разгадать загадку – почему тот все время опаздывает. Все дело, оказывается, было в том, что Гутионтов добирался до Бернардинского сада не прямиком, а окольной дорогой и на час‑другой делал остановку на базаре. Заходил в парикмахерскую, занимал очередь и сидел как вкопанный.

– Товарищ, проходите, проходите, – тормошили его мастера, не знавшие, что он когда‑то тут не только брил и стриг, но был и начальником.

Натан Гутионтов уступал другим очередь и продолжал сидеть, не отрывая взгляда от молодых мастеров, проворно стрекотавших ножницами и недоуменно посматривавших на него; от новых зеркал; от обитых дерматином кресел; от причудливых фенов.

Ицхак его не осуждал: за ним самим водился такой грешок. Было время, когда он сам, пенсионер, заслуженный работник Министерства легкой промышленности, все норовил зайти в швейное ателье на Троцкой, подышать отпаренной материей, юркнуть в кабинку для переодевания и, закрывшись на защелку, хоть несколько минут побыть там, где полжизни колдовал с сантиметром в руках.

Молодые закройщики‑литовцы – его ученики и наследники – щадили его самолюбие и порой даже советовались с ним.

– Понас Малкинас, понас Малкинас, как по‑вашему…

Ицхак знал, что они советуются с ним из жалости. Что ж, и он когда‑то жалел своих состарившихся учителей.

Трудно отвыкнуть от курева, а попробуй перестань шить или брить. Ремесло клещами тянет, не отпускает до самого смертного часа.

Посидит Натан в своей парикмахерской, поглазеет, как молодые работают, и придет, никуда не денется. Никто никого не принуждает приходить в парк, за прогулы и отлучки тут не наказывают. Хочешь – приходи, не хочешь – как хочешь.

Под сенью лип то и дело мелькала хрупкая фигурка новенькой уборщицы.

Ицхак, может, и пересилил бы свою нерешительность и подошел бы к ней, если бы не странный и нелепый сон, привидевшийся ему накануне.

Малкину снилось, будто они прячутся от немцев в каком‑то промозглом, затканном паутиной подвале. Паутина густая‑густая; лицо пани Зофьи словно покрыто вуалью; сверкают только щелочки глаз; в паутине, как в тумане, старая раскладушка с рваным матрасом и такой же рваной подушкой, из которой торчат колючие остья соломы; вокруг раскладушки снуют тощие изголодавшиеся крысы; их писк сверлит виски; пани Зофья наклоняется над ним, Ицхаком, и что‑то ласково шепчет на ухо, но из‑за крысиного писка ничего не слышно; он придвигается к пани Зофье поближе, и та запускает в ворот его рубахи руку и длинным крашеным ногтем принимается щекотать сосок, заросший седыми невесомыми, словно паутина, волосами; он отстраняется от нее, прижимается к голой стене, но пани Зофья снова наклоняется над ним и целует в омертвевшие губы; потом ее пальцы крадутся к ремню, отстегивают его; в подвальной тишине коротко и громко звякает пряжка; крысы разбегаются во все стороны; пани Зофья погружает свой неугомонный палец в лунку пупа и помешивает им, как чайной ложечкой.

Когда Ицхак проснулся, то первое, что он сделал – кинулся в ванную и встал под холодную струю воды, чтобы смыть с себя ночное наваждение. Но клочья сна, подвальная паутина все еще висели над его головой, и не было метлы, чтобы их вымести.

– Можно вас на минуточку? – раздался за его спиной чей‑то вежливый, медоточивый голос.

От неожиданности Ицхак вздрогнул и обернулся.

Перед ним стоял молодой мужчина лет тридцати пяти, с мягкой бархатной бородкой, обрамлявшей его полноватое лицо; в очках в массивной роговой оправе, расширявших и без того большие зрачки. На макушке у него, как ломтик зрелой дыни, желтела лысинка.

– Эйдлин, – представился он. – Валерий Эйдлин.

– Ицхак Малкин, – вяло, без всякого интереса промолвил старик.

– Я приходил к вам. И не раз. Но вас не было дома, – виновато сказал незнакомец и поправил болтавшуюся на боку спортивную сумку.

– Как же вы меня сейчас нашли? – осторожно спросил Ицхак.

– Ваша соседка подсказала.

– Ирена?

– Простите, не знаю, как ее зовут, – тем же виноватым тоном продолжал Эйдлин. – Мне так хотелось с вами встретиться.

– Зачем?..

– Я – из Еврейского музея, – выдохнул мужчина.

– Я – тоже, – улыбнулся Ицхак.

Эйдлин оценил его шутку, заулыбался в ответ и, глядя на старика с испугом и восхищением, сказал:

– В известном смысле мы все – экспонаты.

– Нет, нет, – воспротивился Ицхак, – это мы – экспонаты, а вы – нет. Вы еще можете хлопнуть дверьми и бежать из музея.

– Куда? – Интеллигентное, отмеченное преждевременной усталостью лицо музейщика слегка омрачилось.

– Куда? Куда хотите. Все от вас зависит. Расписание висит в аэропорту, – пробормотал Ицхак, который все еще не мог взять в толк, чем он может быть полезен Эйдлину. Музейщик стушевался, долго шмыгал носом, потрогал двумя пальцами лысинку и так же виновато, как раньше, сказал:

– Конечно, вы можете отказаться. Но, надеюсь, вы этого не сделаете. Не ради меня.

– А что я должен сделать?

– Вы должны согласиться… Я вас быстро запишу. У меня отличная аппаратура.

– Запишете? Меня?

– Всех вас. У меня тут списочек: вы, Моше Гершензон, Гирш Оленев‑Померанц, Натан Гутионтов, Лея Стависская.

– Лею можете вычеркнуть, – тихо промолвил Ицхак. – Если кто ее и запишет, то, может быть, Господь Бог.

– Я не знал. Прошу прощения… Примите мои соболезнования, – невпопад зачастил Эйдлин. – Но ведь еще остались люди… Надо спешить. Вашим воспоминаниям цены нет.

– Для кого цены нет?

– Для кого? Для всех нас… для нашего народа.

– Загнули, как говорят, – усомнился Малкин. – «Для нашего народа…» Сколько тут, в Литве, нашего народа?

– А мы не только для Литвы, – пытался, было, защититься музейщик.

– Хорошо, – сказал Ицхак. – Допустим, вы нас запишете. Ну и что?

– Как, ну и что? – ожил Эйдлин.

– Свалите все ваши записи в подвал или на чердак. Мало ли их пылится по всему свету.

– Вы ошибаетесь! – не без гордости воскликнул Эйдлин. – Их читают!

– Кто? – остудил его пыл Ицхак.

– Тысячи… Может, даже миллионы.

– Миллионы работают, а не читают. Прочтет какую‑нибудь запись такой же Эйдлин, как вы, и на том все кончится.

Валерий Эйдлин не желал смириться с поражением. Он неожиданно расстегнул сумку, извлек из нее кассеты, разложил на скамейке под липами и страстно, почти исступленно заговорил:

– Тут, – ткнул он в первую кассету, – пережившие Дахау… – Тут, – повертел он вторую кассету, – узники Вильнюсского и Каунасского гетто. Тут – участники Великой Отечественной и партизанского движения… Тут – спасатели евреев.

Ицхак устало и терпеливо смотрел то на кассеты, то на Эйдлина, и печаль, как паук, застилала своей тканиной его глаза.

– Был у меня один знакомый, – тихо начал он. – Десятилетиями к доктору не ходил. Когда его спрашивали, почему, он отвечал: «Зачем мне о себе знать больше, чем я уже знаю?..» Вот я вас, молодой человек, и спрашиваю: зачем нам, евреям, знать о наших несчастьях, о наших бедах, о наших утратах и поражениях больше, чем мы уже знаем?

– Да, но кроме нас на свете есть еще и другие.

– Другие, – хмыкнул Малкин. – Другие о нас и вовсе знать не хотят.

– Не надо никогда ничего обобщать, – пытался спасти свое положение Эй длин.

– Если бы другие, молодой человек, этого хотели, то, уверяю вас, на свете сегодня не было бы ни узников Дахау, ни участников Великой Отечественной войны, ни спасателей… Другие только делают вид, что хотят знать, но заняты исключительно собой. Исключительно собой. Какое им дело до нашей боли и до наших слез?

Музейщик не сводил с Малкина глаз.

– Господи, почему же я сразу не включил магнитофон? Как вы говорите! Как вы говорите! Позвольте прийти к вам домой. Я могу в любое время – днем и ночью.

Он ждал от Малкина ответа, но Малкин сидел, сжав губы, и смотрел куда‑то поверх кучерявой головы музейщика. Ицхак не хотел, чтобы его сумбурную, ничем, кроме невзгод и несчастий, не изобиловавшую жизнь записывали на пленку. На нее можно наговорить все и все можно стереть, как будто ничего не было. Он не желал, чтобы его любовь, его смешные, несбывшиеся надежды, его глупые мечты пылились где‑нибудь на полке, задыхались в каком‑нибудь ящике, запечатанном запекшимся, как кровь, сургучом. Ицхак не верил ни в пользу, ни в необходимость каких‑либо свидетельств в мире, где свидетельства можно купить и продать, как телков на скотном базаре.

– Я могу записать вас и в парке.

Он торопливо вынул из сумки диктофон, наладил его и поставил на скамейку перед Ицхаком.

– Готово, – сказал Эйдлин.

Но близость диктофона совсем обескуражила Малкина.

– Ради бога, избавьте меня от этого. Я прихожу сюда совсем не для записей. Поговорите лучше с Натаном Гутионтовым или Гиршем Оленевым‑Померанцем. Они говоруны, а я молчун, – оправдывался Ицхак. – Я прихожу сюда молчать и вспоминать.

Валерий Эйдлин слушал его, пребывая в состоянии какого‑то странного возбуждения. Какая обида! Музей как раз на прошлой неделе получил в дар из Швеции новую записывающую аппаратуру, а из Франции обещали видеокамеру – вся Европа печется о литваках, об их письменном и устном наследии. Грешно, чтобы такие старики, как Ицхак Малкин, безмолвными уходили в безмолвие.

– А вы сами‑то где обитаете? – вдруг по‑отцовски спросил Ицхак.

– Семья моя живет на курорте… В Бирштонасе, – усмехнулся Эйдлин. – А в Вильнюсе у меня в музее угол – диванчик, стол, кофеварка…

– М‑да, – неопределенно протянул Малкин. – Неплохо, неплохо. Ночевать в музее можно, а жить, наверное, нельзя. Что это за еврейская жизнь без евреев, с одними записями на пленках и фотографиями на стенах?

– Есть еще, слава богу, и живые евреи, – обронил музейщик, убеждая, скорее, себя, чем собеседника. – Как вы, например.

– Мы – полуживые, – сказал старик. – Отсюда, из парка евреев, нам только прямо на кладбище.

– Парк евреев? – брови у Эйдлина подскочили вверх.

– Минуточку, минуточку, я запишу. Повторите, пожалуйста.

– Парк евреев.

– Еще раз. Полным предложением, пожалуйста: «Из парка евреев нам только прямо на кладбище».

Старик метнул на Эйдлина недовольный взгляд: он что для него – заводная кукла?

– Хватит, – отрезал Ицхак. – Не делайте из меня попугая.

– Вы на меня не сердитесь. Я понимаю, как вам тяжело. Но разрешите мне записать хотя бы ваше молчание, ваше дыхание.

– А зачем вам мое дыхание?

– Я же вам объяснил: это нужно не мне. Это нужно миру, – высокопарно произнес музейщик.

– А зачем ему мое дыхание?

Валерий Эйдлин взял диктофон, сунул его в сумку, поблагодарил Малкина и медленно зашагал к Кафедральной площади, на которой молодые и упорные литовцы сколачивали огромный помост. Вокруг будущей трибуны сновали радио– и телерепортеры с включенными микрофонами и записывали дыхание грядущей свободы.

С площади доносился стук топоров; из репродукторов то и дело прорывались чьи‑то голоса и музыка; сквозь треск просачивалась торжественность еще недавно запрещенного литовского гимна:

*О, Литва, отчизна наша* ,

*Ты страна героев.*

*В славном прошлом черпай силы* ,

*Их еще утроив.*

Стук топоров, такой же торжествующий, как гимн, и мажорность гимна, такого же неумолимого, как топор, отвлекали Ицхака от печальных раздумий – о болезни Моше Гершензона, об исчезновении пани Зофьи, о возможном отъезде Натана Гутионтова, о пальмах на берегу Красного моря, которые могут отнять у него Гирша Оленева‑Померанца.

Господи, господи, неужели он останется один? Не может же Бернардинский сад быть парком одного еврея!

Не успел за липами скрыться музейщик Эйдлин, как на песчаной дорожке Бернардинского сада появился Гирш Оленев‑Померанц. Ицхак еще издали определил: флейтист навеселе. Он шел, сняв свой огромный берет, вразвалочку, как будто под ним была не земля, а корабельная палуба.

– Уф! – отдышался Гирш Оленев‑Померанц, когда приблизился к скамейке. – Еле продрался: прут и прут по улицам, видно, до ночи митинговать будут.

Он был непривычно зол и раздражителен. Ицхак сразу смекнул: не на толпу гневается – что ему митингующие? Пусть на здоровье честят большевичков, он сам их терпеть не может. Видно, отказали бедняге в Президиуме.

– Ты что – получил отказ? – спросил Малкин, когда тот уселся рядом.

– Ни хрена не получил. Сейчас у них не то в голове. Пока Горбач их не отпустит на волю, они ни о чем другом и думать не будут. А ведь я две реко… реко…

– Рекомендации, – пришел ему на помощь Ицхак.

– …послал. Одну – от профессора Гадейкиса из консерватории, другую – от адвоката Рачкаускаса. Оба в один голос просят: «Разрешите похоронить гражданина…»

– Но ты же еще жив, – перебил его Ицхак, – ты же пока еще не умер.

– Гм, когда я умру, будет поздно. Живому справедливости не добиться, а мертвому тем паче.

Странное дело, но вино или водка выпрямляли речь Гирша Оленева‑Померанца. Подвыпив, он всегда говорил складно, гладко, даже с некоторым пафосом. Слова выскакивали изо рта, как горошины из стручка – легко и бойко.

– Адвокат Рачкаускас говорит, что мою бумагу перешлют в Еврейскую общину.

Ицхак не знал никакого адвоката Рачкаускаса, не заглядывал он и в Еврейскую общину, но не перебивал друга вопросами.

– Ты меня слушаешь?

– Слушаю, слушаю.

Малкин вдруг поймал себя на мысли, что будь он на месте Гирша Оленева‑Померанца, он вел бы себя так же и требовал бы того же. Если бы не Эстер, и он посчитал бы за счастье лежать вместе с братьями Айзиком и Гилелем в березовой рощице.

– Как евреи, мол, решат, так и будет. Решат они тебе. У них дождешься – пальцем не пошевелят. Еще и обвинят, как Гершензон: дескать, пьяница, сумасшедший.

– Оставь Моше в покое.

– Чего это ты так его защищаешь? – напустился на Малкина флейтист. – Плохи его дела?

– Лучше не спрашивай.

– Онкология?

– Да.

– Пойдем, Ицхак, выпьем.

– Ты же знаешь – я не пью.

– Ну да, ты еврей‑праведник, а я еврей‑грешник. А радости почему‑то ни у тебя, ни у меня… Пойдем.

– Нет.

Ицхак вдруг вспомнил, как умирала Эстер.

Она лежала в той же онкологической больнице, что и Моше Гершензон, в углу огромной палаты, отгороженная от всех ширмой, без сознания, как бы смирившись со своей участью. Иногда она приходила в себя, открывала глаза, смотрела на ширму и что‑то бессвязно бормотала. Малкин не мог понять ни одного слова, но чего‑то ждал, сам не знал чего – может, прощального взгляда, может, взмаха руки, может, слезы. Но Эстер лежала неподвижно и только перед самой смертью вдруг сняла обручальное кольцо и протянула его Ицхаку. Сняла не сразу – она стаскивала его долго, мучительно долго, почти ломая палец, пока не отомкнула цепь, которой была счастливо скована столько лет.

Не договариваясь, Малкин и Гирш Оленев‑Померанц думали об одном и том же – чей сейчас черед? Грамотея Моше Гершензона?

А потом?

Всю жизнь они стояли в очереди. Очередь была их отечеством – очередь за хлебом, очередь к врачу, очередь за квартирой, очередь, чтобы пожениться, очередь, чтобы умереть. Кто стоял в ней, тот был еще жив.

Страшно вымолвить, но смерть придавала жизни какой‑то смысл. У самой же жизни его не было, хотя им казалось, что они, пусть и на короткое время, до очередного разочарования, его нашли.

– Пойдем дерябнем, – не отступал от своего Гирш Оленев‑Померанц.

– Нехорошо загодя устраивать поминки.

– Ты знаешь, Ицхак, иногда так хочется дать тебе в морду.

– Так дай.

– А иногда, Ицхак, так хочется получить от тебя в морду… Когда получаешь, то чувствуешь, что ты кому‑то еще небезразличен.

Видит Бог, когда‑то Ицхак Малкин мог и в морду дать, и выпить как следует. Для того и другого поводов было предостаточно. Но он считал, что еврей ни кулаками, ни водкой ничего не добьется.

– Придется одному, – грустно промолвил Гирш Оленев‑Померанц и поплелся в ту сторону, где воздвигали трибуну и откуда веяло решимостью и ненавистью. И близкой победой.

Ицхак остался один.

Прислушиваясь к гулу загорающегося, как костер, митинга, он перебирал в памяти все, что связывало его с Моше Гершензоном.

Малкин сшил ему первый костюм, когда еще была жива Эстер. Моше Гершензон принес ему домой отрез дорогой английской шерсти. Выложил на стол и спросил:

– Хватит?

Ицхак долго снимал мерку, что‑то записывал в замусоленную книжицу, облизывал, как школьник, кончик карандаша, так же долго замерял материал, потом аккуратно выдернул нитку, поджег ее, понюхал и сказал:

– Англией пахнет. – Помолчал и добавил: – Хватит и на жилетку, и даже на заплаты.

Моше Гершензон был поражен его дотошностью и чутьем. Неужели он может по запаху определить, откуда родом материал – из Англии или из Гонконга?..

Верный своей привычке, Малкин снова стал мять и комкать отрез, а пока он его комкал, притихший Моше Гершензон разглядывал комнату. В застекленной рамке висела Почетная грамота с благодарностью от Главнокомандующего первым Белорусским фронтом маршала Рокоссовского, а чуть поодаль – вырезанный из популярного тогда журнала портрет самого полководца в парадном мундире.

– Тоже английский материал, – скромно, но не без гордости сказал Ицхак.

– Это вы ему шили?

– Приказ есть приказ. Приказали, вот я и сшил.

– Неплохо.

– А вы знаете, кто он такой?

– Нет, – чистосердечно признался Моше. – Они все для меня на одно лицо. – Жуков?

Ицхак не стал ему объяснять – пусть для него он будет Жуковым, если уж он и впрямь не узнал Рокоссовского.

– Когда примерка?

– Через три дня. Он, – Малкин ткнул в портрет, – меня тоже торопил, но я и к нему только на третий день летал.

Моше Гершензон был ужасно доволен обновой. Костюм лежал на нем как влитой. А ведь он с пятнадцатилетнего возраста ходил к самым лучшим виленским портным. Сыновья Товия Гершензона, владельца стекольной фабрики – ее стекла сверкали во всех окнах, начиная с синагоги и кончая польской охранкой, – могли позволить себе такую роскошь.

Подтянутый, опрятный, немногословный, всегда чисто выбритый, с гладко зачесанными светлыми, как у белобрысого немца, волосами, пахнувший не сырыми окопами, не товарными поездами, не эвакоприемниками, а трофейными кремами и лосьонами, Моше Гершензон отличался от всех послевоенных заказчиков Ицхака. Он и платил иначе, чем другие. Вынимал из внутреннего кармана старого пиджака пачку банкнотов, перехваченных белой полоской бумаги с цифровой пометкой и небрежно, как бы играючи, бросал на стол.

– Не надо экономить, надо много зарабатывать.

Зарабатывал он и в самом деле много. Он работал зубным техником в лаборатории военного госпиталя, расположенного на территории бывшего францисканского монастыря (как он туда устроился, одному Богу известно), делал протезы для отставных майоров и полковников и их жен, для своего прямого начальства, доставал по первому его требованию всевозможные дефицитные товары, начиная от югославских обоев и кончая финскими мебельными комплектами «Эдвард».

В те годы он был соломенным вдовцом. Сын его Исаак жил с матерью, бухарской еврейкой, шумной, красивой женщиной, встретившейся Моше Гершензону в далеком и унылом Ашхабаде. После ее смерти Исаак перешел к отцу, но вскоре они рассорились, и сын оставил Моше, а через полгода и вовсе уехал в Москву на поиски счастья.

Гершензон аккуратно посылал ему каждый месяц деньги, надеясь на то, что сын опомнится и вернется.

Каждый год Моше Гершензон шил у Ицхака Малкина два костюма – один летний и один зимний. Гершензону была по душе его молчаливость и даже суровость, умение слушать и держать язык за зубами (самое трудное испытание для еврея).

Одинокий, подозрительный Гершензон нуждался в исповеднике. Не станешь же изливать душу какому‑нибудь дородному майору или полковнику с провалившимся ртом.

Ценил нового клиента и Малкин. Не потому что тот, не пересчитывая, швырял на стол пачки банкнотов (Ицхак не ломал себе голову – откуда у него такие деньги), а потому, что был умен и привлекал своей загадочностью, никогда ничего до конца не договаривал ни о себе, ни о других.

Казалось, Гершензон попал в Вильнюс случайно, по ошибке. Наступит день, и он улетучится, промелькнет, как заплутавшая в ночи звезда, и никто о нем не вспомнит и не пожалеет.

Удивляли Малкина и проявлявшаяся порой широта его натуры и непонятные выходки, вызывавшие завистливые сплетни и кривотолки.

Однажды Ицхак увидел сшитый им для Гершензона костюм на вильнюсском дурачке Хаимке. Он щеголял в обнове, как жених на свадьбе, высовывая из рукавов свои обмороженные в гетто руки и громко на всю улицу выкрикивая:

– Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка…

Встретившись через некоторое время с Моше Гершензоном, Малкин не удержался и спросил:

– Вы что – недовольны моей работой?

– С чего вы взяли?

– Я видел ваш костюм…

– А‑а‑а, – не дал ему договорить Гершензон, – на несчастном Хаимке?

– Да‑

– Я себе другой сошью. А у него, у бедняги, пусть будет праздник. У сумасшедших тоже должны быть праздники… Стыдно – ходит оборванный еврей на виду у всего города, а нам хоть бы хны.

Когда Ицхак возвращал ему лишние деньги, Моше с улыбкой успокаивал его:

– Берите, берите. Рот, Ицхак, – свалка миллионов, только успевай лопатой грести.

– Рот, – сказал Ицхак, – прихожая тюрьмы: ляпнешь лишнее и сядешь.

– И это правда. Святая правда.

Моше Гершензон был богатым человеком, пожалуй, самым богатым среди заказчиков Малкина. У Ицхака возникали смутные подозрения о том, что, видно, не только на протезах и на золотых коронках тот разбогател. Для таких подозрений у Малкина было основание.

В один из осенних дней – кажется, это было через год или через два после смерти Эстер – Моше Гершензон ни с того ни с сего повел его, как он выразился, в свое «родовое гнездовье» на Заречье. Они миновали костел Святой Анны, перешли через мостик над Вилейкой и по узкой улочке поднялись на пригорок, где стоял трехэтажный кирпичный дом с облупившимися стенами.

– В этом доме я родился, – сказал, странно волнуясь, Моше Гершензон.

Ицхак не понимал, зачем он привел его сюда.

– Если бы мне вернули то, что принадлежало моему отцу на земле и под землей, то не только мои внуки, но и мои правнуки были бы… – и он замолк.

Малкин не стал его спрашивать, что принадлежало его отцу под землей, но слова его запомнил.

Ицхак был старше Моше Гершензона почти на десять лет. В молодости такая разница в годах не так ощутима, а вот на старости… Тем не менее они именно на старости неожиданно сдружились. Моше Гершензон уже не производил впечатления богача; он был похож на всех стариков, чьи жены умерли, а дети разлетелись кто куда, хотя в отличие от своих ровесников слыл здоровяком, никогда не лежал в больнице, не носил в кармане спасительных пилюлек и таблеток.

Деньги, правда, у него и сейчас водились, но, как говорил Гирш Оленев‑Померанц, кошелек его сильно обмелел по вине Счастливчика Изи.

Счастливчик Изя не тратил своего драгоценного времени на лепку чужих зубов – он занимался более прибыльным делом, приторговывал золотом, скупал его в Литве за рубли и через посредников переправлял в Польшу, куда и сам стремился при удобном случае уехать. Не брезговал он и валютой в чистом виде, перепродавал американские доллары, французские франки и немецкие марки. Не в пример отцу, щеголю и франту, Счастливчик Изя носил потертую курточку, выцветшие джинсы, ботинки шяуляйской фабрики «Эльняс».

Если ты не член Политбюро, то нечего и высовываться, – поучал он своего и без того ученого отца.

Однако затрапезный вид не спас молодого Гершензона. Он попался, был отдан под суд и получил восемь лет тюрьмы строгого режима.

Моше Гершензон и ухлопал половину своего состояния на то, чтобы его оттуда вытащить.

Почти год он искал верный путь к спасению сына.

И нашел.

Счастливчик Изя отсидел три года, вышел из тюрьмы и через месяц укатил в Израиль. И за каждый его шаг было заплачено не только деньгами, но и страхом. Моше Гершензон тогда весь поседел. Да и как не поседеешь, если не понаслышке знаешь, что такое тюрьма.

Первый раз все для него кончилось счастливо. Беженец из Литвы, он в сорок первом в казахском городе Аральске получил повестку в военкомат. В то время он работал расфасовщиком в погрузочном цеху солевого комбината. Солдатская каска, свист пуль не очень прельщали молодого Моше. И он решился на отчаянный шаг. Назавтра, после того, как получил повестку, он совершил кражу – вынес с комбината три кулечка соли, чуть больше полутора килограммов, и, к своей радости, был задержан охраной и препровожден в милицейский участок. Еще тогда, в кабинете следователя‑казаха, он отдавал себе отчет в том, что между моментальной гибелью в штрафбате, куда его могли в худшем случае запросто отправить, и смертью новобранца, отложенной, как недоигранная шахматная партия, на день, на месяц, пусть даже на год, большой разницы, по сути дела, нет. Он понимал, что рискует головой, но вышел победителем: переждал за решеткой четыре года войны. Не погиб, не потерял, как Натан Гутионтов, ногу, не закоченел от холода.

Выиграл он и с женитьбой. Жена его – Нона Кимягарова происходила из богатого рода бухарских евреев. И деньги ее помогли ему быстро встать на ноги после отсидки. Нона училась на факультете иностранных языков в Ашхабадском пединституте, изучала персидский язык, а его самого, благодаря связям Кимягаровых, определили в ученики к знаменитому в Ашхабаде зубному технику.

Второй раз Моше Гершензон мог сесть в сорок восьмом в Вильнюсе. Все началось с обыкновенной семейной ссоры. Еще там, в Туркмении, между молодоженами не было мира, а в Литве их отношения обострились до крайности.

Как польский гражданин Моше по закону о реэмиграции имел право вместе с женой уехать в Польшу, а оттуда – в любую другую страну. Но Нона заартачилась – она и в Литву‑то не хотела ехать.

– Я поеду рожать в Бухару, а не в Тель‑Авив, – отрубила. И поехала.

Моше ничего не оставалось, как ждать ее. Не бросать же на произвол судьбы еще не родившегося ребенка. Застряв в Вильнюсе, как ему казалось, надолго, может, навсегда (закон о реэмиграции действовал только в течение года), он решил выправить себе другие документы – сменить год и место рождения: еще, не дай бог, стекольную фабрику отца припомнят.

Сам, дурень, захлопнул перед собой дверь. А ведь как мечтал о том, чтобы вырваться на свободу из этой огромной тюрьмы, хотя и без колючей проволоки, но с надзирателями и ищейками на каждом шагу.

Нона писала ему письма, присылала фотографии сына, звала к себе в Бухару, но потом как сквозь землю провалилась. Гершензон не знал, что и подумать, не объявлять же розыск. Может, замуж вышла, может, родители, узнав о намерениях зятя, строго‑настрого запретили ей даже переписываться.

Постепенно Моше свыкся со своим двусмысленным положением, и, когда в пятьдесят шестом, спустя восемь лет, снова открылась щель в железных воротах, он решил предпринять последнюю попытку вырваться из Советского Союза.

Он стал подыскивать себе женщину, еврейку, нееврейку, – была бы только польской подданной.

Только одному богу известно, почем тогда шли невесты в угоревшем от венгерского восстания Вильнюсе.

Моше Гершензон мог выбрать себе любую, сколько бы это ему ни стоило.

– Послушайте, – придя на примерку, сказал он доверительно Ицхаку Малкину, – может, у вас на примете есть какая‑нибудь хорошая женщина?

– Смотря для чего…

– Я надумал жениться.

Ицхак Малкин был не только отменный портной, но и скрытый сводник. Он любил сватать. Сватовство в роду Малкиных почиталось так же высоко, как и ремесло. Помочь еврею найти еврейку, сделать еще парочку евреев – разве это не самим Богом нам заповедано?

– Есть.

– Откуда она родом? – осторожно осведомился Моше Гершензон.

– Из Торуни.

– Торунь, Торунь… Это где? – слукавил зубной техник.

– В Польше.

– Это хорошо. Это очень хорошо. Как ее зовут?

– Бронислава Жовтис. Сорок два года. Она была приятельницей Эстер – моей жены, – объяснил Малкин.

Моше Гершензон пытался усмирить свою радость: все подходит – и возраст, и довоенное местожительство, и национальность.

Через некоторое время Ицхак свел вдову Брониславу с Моше Гершензоном.

Они встретились у него в доме и, пока хозяин, извинившись, демонстративно громко строчил на своем «Зингере», в спальне о чем‑то тихо, с глазу на глаз, говорили.

– Я согласна, – сказала Бронислава, только должна вас предупредить: я не совсем здорова, у меня легкие…

– Не беда, – перебил ее Моше. – Там, заграницей, вылечим.

Бронислава Жовтис понравилась зубному технику. Она выглядела моложе своих лет, скромно, но красиво одевалась, была ненавязчивой, даже ее согласие прозвучало бескорыстно и искренне. У Моше даже мелькнула тайная мысль – может, их «подорожный» брак перейдет в настоящий, и он, привереда, дамский угодник, проживет мирно и счастливо с этой тихой женщиной всю оставшуюся жизнь?

Расписались и собрались Гершензоны быстро. Перед отъездом Малкин сшил молодожену новый костюм.

– Вы уж постарайтесь – не в Бухару еду, а заграницу, – торжественно произнес Моше Гершензон, предвкушая свою победу над следователем‑казахом в Аральске, отправившим его на четыре года в тюрьму; над начальником охраны, возившим мешками ворованную соль в обессоленный арбузный Андижан; над теми, кто в сороковом году бессовестно отторг земельный надел его отца Товия, присвоил стекольный завод; над теми, кто принудил его восемь лет прожить с поддельным паспортом, где только фамилия соответствовала действительности. – И еще у меня к вам просьба.

– Ради бога.

– Если мой сын Исаак когда‑нибудь появится в Вильнюсе, дайте ему адрес моих родственников в Тель‑Авиве. Ваш я сообщу ему перед отъездом.

Он продиктовал Ицхаку адрес, и тот записал его в свою священную, замусоленную книжечку, рядом со снятой меркой: «шаг – 24, талия – 92, плечи – 53… ул. Нахмани, 39. Тель‑Авив. Берковичу Шае».

– Нахмани, 39. Тель‑Авив. Берковичу Шае. Правильно?

– Правильно. Когда будет готово?

– Через неделю.

– У меня, Ицхак, нет недели. Вы должны мне сшить костюм за три дня… Максимум. Заплачу в три раза больше. Если хотите, вдобавок двуспальную кровать оставлю, новенькую совсем.

Моше Гершензон спохватился, что нечаянно обидел портного, и тут же постарался загладить свою вину:

– Готов биться об заклад – вы все равно женитесь.

Когда костюм был сшит, и пришло время прощания, зубной техник по своему обыкновению выложил на стол пачку с белой бумажной полоской и сказал:

– Даст бог, еще увидимся. Если не в Тель‑Авиве, то в Бостоне. Если не в Бостоне, то в Тель‑Авиве.

Моше Гершензон и предположить не мог, как он был прав. Да только увиделись они не в Тель‑Авиве и не в Бостоне, а снова в Вильнюсе.

Поначалу Ицхак подумал: брехня, завистники болтают. Но когда Моше Гершензон, изменившийся до неузнаваемости, растерянный, притихший, появился у него в доме, все сомнения рассеялись.

– Я остался без ничего, – прошептал зубной техник. – Без жены, без крыши, без ничего…

Крупная слеза скатилась по его небритому, осунувшемуся лицу.

Господи, если Моше Гершензон плачет, значит, случилось что‑то и впрямь из ряда вон выходящее. Слезы так же не шли ему, как и бедность.

– Крыша у вас есть, – сказал Ицхак. – Вы можете остаться у меня.

И Моше Гершензон остался.

– Я на время, я только на время, – заверил он портного. – Я все равно вырвусь отсюда. – И вдруг вспомнил слова мудреца: – Если не сейчас, то когда? Если не я, то кто?

Он ночами напролет рассказывал Ицхаку про свои злоключения.

В тридцати километрах от Гродно Брониславе Жовтис вдруг сделалось плохо, из горла хлынула кровь; переполошившиеся попутчики сперва застыли, как ледяные торосы, а потом отпрянули от нее, выбежали в коридор и уставились в окно. Моше Гершензон бросился к проводнику. Проводник в форменной фуражке, молодцевато надетой набекрень, в начищенных до блеска ботинках, как и положено человеку, обслуживающему заграничные линии, быстро захлопнул дверцу печки – подходило время чаепития, – влетел в купе, увидел забрызганные кровью простыни и занавески и под страшный кашель пассажирки объявил перепуганному мужу:

– Ближайшая больница – в Гродно. Я вызову к поезду «Скорую помощь».

– Понимаешь, – ворочаясь с боку на бок, жаловался Моше Гершензон Ицхаку, – все, что я задумал, в одну минуту полетело в тартарары. Не о Гродно же я мечтал. А тут – слезай с поезда, мотайся по больницам. Меня такая обида разобрала – на себя, на судьбу, на нее, не сказавшую мне правды. Если бы я знал, что у нее скоротечная чахотка… Надо же, чтобы такая мне попалась!

– Это я виноват, сват неудалый…

– Это проклятая советская власть виновата – держит нас всех в клетке, и не смей высовываться. И горе тому, для кого клетка – колыбель. А на тебя я, Ицхак, не в обиде. И на нее не в обиде. Я сам задурил ей голову со своим отъездом. Ни о чем не спрашивал, ничего не хотел знать, только бы поскорее, поскорее, поскорее…

Проводник принес ведро воды, половую тряпку, снял с себя форменную фуражку, китель, засучил рукава и принялся смывать кровь.

Когда уборка была закончена, он помог Моше Гершензону уложить жену, сбегал в другой вагон к бригадиру, притащил кучу всяких лекарств. Напичканная ими, Бронислава забылась тяжким и неверным сном.

Легли и попутчики.

Моше Гершензон выскользнул в коридор и прислонился лбом к запыленному оконному стеклу, за которым проплывали разбросанные там и сям хаты с облысевшими от старости соломенными крышами.

Проводник несколько раз подходил к нему, уговаривал лечь, мол, хлопот впереди полон рот: «Скорая помощь», больница, доктора, а может, не дай бог, и… Был такой случай, на перегоне Минск – Брест старик преставился. Нет большей беды, чем смерть в дороге. Моше Гершензон отгонял от себя дурные мысли, но они облепливали его, как мухи липучку. Он старался не выдать своего волнения, все еще верил, что Бронислава дотянет до границы, а там все другое – и коровы на лугу, и птицы в небе, и люди на земле. Только бы поскорей пересечь вожделенную черту, только бы сойти с этого поезда, где каждый – еще пленник, еще раб, еще подневольная скотина.

Конечно, и Польша дерьмо, но из этого дерьма куда легче выбраться. Он боялся вернуться в купе. Войдет, а Бронислава уже не дышит.

Страшно застрять в Гродно с визой на руках, бегать по больницам, заискивать перед докторами и ждать, когда твоя спасительница встанет на ноги.

Господи, Господи, он никогда не желал ни одной женщине столько добра, сколько Брониславе – ни Ноне, ни родной матери, никому. Пусть живет до ста двадцати. Он согласен жениться на ней по‑настоящему, взять с собой в Тель‑Авив, устроить свадьбу с хупой, только бы она жила. Он, Моше, не зверь, и у него есть сердце – не все в нем выжжено и не все испоганено. Он за Брониславу помолится, вспомнит давно забытые молитвы, будет твердить их всю ночь, весь день, всю жизнь.

Моше Гершензон стоял у окна и, воровато оглядываясь на купе, шептал полузабытые библейские стихи. Он просил Господа, чтобы поезд набирал скорость, летел сквозь ночь, как легкокрылая птица, чтобы нигде не останавливался ни на минуту, молил, чтобы они благополучно миновали проклятую границу, чтобы, наконец, в коридоре вагона появился поляк‑пограничник – мессия в конфедератке.

Он обещал Всевышнему, что как только переберется в Израиль, станет примерным евреем – мужем и отцом, что больше никогда никого не будет обманывать, ни у кого не будет красть, перестанет ловчить и лицемерить, даже если придется закончить земной путь в нищете и безвестности. Да, его брак – обман, его паспорт – подделка, но он, Моше Гершензон, не птица небесная, не вольный ветер. Это для них нет ни границ, ни пограничников с автоматами и овчарками. Лети куда хочешь, никто тебя не остановит и не вернет.

Как бы повинуясь желанию Моше Гершензона, поезд и впрямь набрал скорость. Он летел, рассекая темноту и возвещая гудками желанное избавление. Моше подкидывал в паровозную топку свои надежды, желания, обиды, утраты. Они сгорали, но он снова и снова подкидывал их, как уголь. Этого угля у него было несметное множество.

В сознании вдруг всплыли слова сумасшедшего Хаимки, которого он, Гершензон, опекал: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка…» Сам не понимая, почему, Моше безотчетно повторял:

– Наш паровоз, вперед лети, в Варшаве остановка…

Повторял, всякий раз заменяя города: в Вене остановка, в Париже, в Тель‑Авиве…

Только не в Гродно, только не в Гродно, только не в Гродно, выстукивали колеса, стучало в висках и эхом отдавалось в сердце. Но как раз в Гродно и случилась остановка.

Наступило утро. Моше по‑прежнему стоял у окна и смотрел, как по‑жречески величаво на поляны ступают коровы, как на окнах хат, словно святцы, распахиваются ставни, как слетаются проснувшиеся птицы и чернеющими иероглифами усаживаются на провода.

– Чай будете пить? – услышал он хрипловатый басок проводника за спиной.

– Спасибо, я‑то нет, но, может, Бронислава…

Проводник вошел в купе, поставил на столик два стакана для попутчиков и один для Брониславы. Вышел он не сразу, подошел к Моше, тронул его за плечо и сказал:

– Зайдите в купе. Мне кажется, чай вашей жене уже не нужен.

Уголь в топке догорел.

Надежд не осталось, а на одних утратах далеко не уедешь.

Проводник принес чистые простыни, пахнущие казенным уютом, накрыл покойницу, приложил руку к сердцу, как бы прося прощения у попутчиков Гершензона за чрезвычайное происшествие, и удалился.

Санитары «Скорой помощи» вынесли на носилках Брониславу Жовтис из вагона и погрузили в машину.

Моше Гершензон сидел рядом с молоденькой медсестрой‑белоруской, и невольные, непрошеные слезы катились по его лицу. Он их не вытирал, только иногда кончиком языка слизывал с губ, и их соль разъедала душу и казалась такой же неиссякаемой, как соляные копи на берегу Аральского моря. Ему было жаль себя, жаль Брониславы, хотя мертвых чего жалеть, мертвым надо завидовать – смерть чище и честнее жизни, подложной смерти не бывает.

Он не знал, что делать: похоронить ли несчастную женщину в Гродно или везти ее обратно в Вильнюс. После недолгих, обжигавших стыдом раздумий, он решил предать покойницу земле тут, на земле Белоруссии. Бронислава Жовтис – не Гирш Оленев‑Померанц, ей все равно где лежать.

Чувство стыда мало‑помалу вытесняла надежда. Похоронит ее на кладбище в Гродно, договорится с каким‑нибудь евреем, заплатит ему за памятник и, не мешкая, отправится дальше. Поезда на Варшаву ходят два раза в неделю.

Его стремления вдруг обрели благородный, даже жертвенный смысл, он приободрился, правда, бодрость его напоминала хрупкий стеклянный фонарь, который, жалобно поскрипывая, раскачивается на ветру.

Однако похоронить Брониславу Жовтис в чужом городе, к тому же теперь подданную другого государства, оказалось не так‑то просто. Моше Гершензон напрочь забыл, что в Советском Союзе в чужом городе пришельца без разрешения нельзя не только похоронить, но и принять на ночлег.

Все мольбы, все намеки на то, что он в долгу не останется, не помогли. Власти Гродно были непреклонны и твердили в один голос: «Очень сожалеем, но отправляйтесь на свое кладбище».

Два дня промыкался Моше Гершензон в Гродно, пока не нанял грузовик и не вернулся в Вильнюс. «На свое кладбище!» Черт побери, разве скажешь им, что шестая часть земли, которую они захапали, – сплошное кладбище, где без их согласия ты не волен ни жить, ни умереть.

Возвращение обернулось еще одной бедой: на него пригрозили донести родственники Брониславы Жовтис.

Разгневанный Моше сначала послал их к чертовой матери, но те были не из робкого десятка.

Не выложишь кругленькую сумму – сядешь.

Как каждый умудренный жизнью человек, Моше Гершензон назубок знал основной закон социализма – лучше заплатить, чем сесть.

И заплатил.

Но те не унимались. Того, что он им отсыпал, было мало.

Когда от него потребовали дополнительную дань, он отделался от вымогателей тем, что пообещал им принести деньги через месяц. Сам же купил билет на Варшаву и исчез из города.

Но риск его не оправдался. На границе, видно, по доносу, у него отняли визу, сняли с поезда и отправили обратно в Вильнюс. Он получил два года тюрьмы за попытку, как значилось в приговоре, незаконного перехода государственной границы.

Воля его была подорвана, но не сломлена: он не отказался от своей затеи, продолжал ходить по канату над одной шестой земли и верить в то, что не упадет, не разобьется насмерть и все‑таки вырвется из клетки.

Выйдя из тюрьмы, Моше Гершензон еще больше сблизился с Ицхаком. Зубной техник поверял ему свои тайны, а тайн у него было хоть отбавляй. Ни Натан Гутионтов, ни Гирш Оленев‑Померанц и малой толики не знали того, что было известно Ицхаку. И хорошо, что не знали. Нет на свете более тяжкой ноши, чем знать все о себе и о других.

С Кафедральной площади доносился гул митинга. Речи ораторов, усиленные мощными репродукторами, то и дело прерывались ликующими кликами:

Lie‑tu‑va! Lie‑tu‑va!

В Бернардинском саду, кроме Малкина, не было ни души. На опустевшие скамейки тихо падали листья, звезды и призраки. Призраков было больше, чем звезд, и одним из них, может, самым неожиданным для Ицхака, был всесильный, ни в чем не знавший сомнений, франт и мот, здоровяк и брюзга, грамотей Моше Гершензон.

Надо будет завтра навестить его, подумал Ицхак. Он не любил ходить в больницы, а уж в ту, где угасла Эстер, и подавно. Но он пересилит себя, пойдет, посидит до вечера, пропустит один раз, как школьник уроки, Бернардинский сад, шелест листьев, шум ветра. А сейчас, сейчас надо постараться вздремнуть. Все равно троллейбусы не ходят, до дома пешком не добраться – далеко, слишком далеко, а сил все меньше и меньше.

Но разве при таком ликовании, при таком оре подремлешь?

Lie‑tu‑va! Lie‑tu‑va!

Ицхак Малкин закрыл глаза и вдруг услышал топот молодого норовистого коня, увидел потертое до блеска седло и себя, такого же молодого и норовистого; вставил ногу в стремя, бойко вскочил в седло, натянул поводья, пришпорил коня, и конь понесся через годы, как через луга, через беды, как через перелески, и в его ликующем ржании слышалось само будущее. Конь летел, как на гербе, как на знамени, которому он, Ицхак Малкин, присягал в далеком двадцать третьем, и топот его копыт сливался с радостными возгласами:

Lie‑tu‑va! Lie‑tu‑va!

Чем дальше конь летел, тем смутнее проступал на фоне вечереющего неба силуэт всадника, пока он, наконец, совсем не растворился и не слился с закатным маревом.

Ицхак видел вороного, но уже без всадника…

Lie‑tu‑va! Lie‑tu‑va!

## Глава шестая

Отгостило лето, шло к концу и гостевание осени. Стояла короткая пора предзимья – с заморозками поутру и с журавлиным курлыканием в полдень.

Ицхак закидывал голову, и взгляд его, как птица, пристраивался к загадочному клину и следовал за ним, пока тот не скрывался за шпилями костелов или островерхими крышами Старого города. Прощальные клики журавлей, о которых, как и о цветах и насекомых, он ничегошеньки не знал, наполняли его душу странной тревогой, приводили в несоразмерное с их отлетом волнение. Ну чего он, собственно, волнуется? Улетят и прилетят. Так было и так будет. Но как Малкин себя ни уговаривал, чем дальше, тем больше его томило расставание с птицами. Да и не только с птицами. Он искренне и глубоко сокрушался, когда, придя после зимы в Бернардинский сад, не находил какого‑нибудь привычного для себя кустика или знакомой кочки, оседланной одуванчиком. Ицхаку казалось, что с каждым днем какая‑то злая и неведомая сила выкорчевывает, выпалывает, опустошает его деревья, его поляны, его небо. Исчезают цветы, улетают птицы и насекомые, уходят навеки люди. Все уходит. Только он, Ицхак Малкин, неизвестно до какого срока прикован к этой парковой скамейке – утлому ковчегу, плывущему по временам, к этим непоседливым воробьям, которых Господь Бог даровал ему для того, чтобы они своим чириканьем ублажали его старость и скрашивали его одиночество, а, может, для того, чтобы доказать ему, что на свете есть твари ничтожнее, чем он.

Не потому ли, глядя на загадочный журавлиный клин, Малкин испытывал не только волнение, но и непонятную сладостную зависть. Вот и нам бы так, ловил он себя на мысли, провожая взглядом журавлиную стаю. Собраться всем вместе: и Моше Гершензону, и Гиршу Оленеву‑Померанцу, и Натану Гутионтову с его упрямицей Ниной, и ночной еврейке пани Зофье, и ему, Ицхаку Малкину, и другим – в Литве еще наберется по крайней мере тысяча ненужных евреев! – собраться и взмыть вверх, а, взмыв, выстроиться в клин и улететь в теплые‑нетеплые страны, не имеет значения в какие, ибо они нигде уже не приземлятся, а будут летать над землей, пока не рухнут вниз, курлыкать и созывать своим курлыканием всех ненужных евреев. Всех и отовсюду – из Европы и Америки, северной и южной, из Азии и даже Африки (бродит же какой‑нибудь ненужный еврей и по джунглям). Вот это был бы клин! Всем клинам клин! Человечество задирало бы, как он, Малкин, голову и, обалдев, повторяло бы: «Евреи летят! Евреи! К чему бы это?»

– Ничего из твоей затеи все равно не вышло бы, – захихикал Гирш Оленев‑Померанц, сам великий выдумщик и фантазер.

– Почему?

– Почему? Да потому, что после Моше рабейну мы еще ни разу не смогли договориться о вожаке. Каждый еврей в вожаки лезет. Ты что, Ицхак, не знаешь? Только поднимемся в небо, и начнется тарарам: я… я… я… И никуда мы не улетим – ни на юг, ни на север.

– А зачем ненужным евреям вожак? – потерянно спросил Малкин.

– Можно подумать, что ты только сегодня на свет родился. Спрашиваешь – зачем? Затем, чтобы быть первым ненужным, главным ненужным.

С наступлением заморозков Ицхак Малкин приходил в Бернардинский сад позже обычного. Он ждал, когда пригреет скупое осеннее солнце, хотя дома делать было нечего. Дома от всего – от потолка, от пола, от стен – веяло изморозью, и уже не было такого солнца на свете, которое могло бы их отогреть.

Неуютно чувствовал он себя в последнее время и тут, в облюбованном парке, на персональной, как он шутил, скамейке. Моше Гершензон лежал в больнице; Натан Гутионтов сидел целыми днями дома и сторожил Нину, чтобы та, не приведи господь, без него не сбежала в свою Балахну; у Гирша Оленева‑Померанца были гости: приехали на родные могилы Тростянецкие из Швеции, которые сняли у бывшего флейтиста квартиру – как ни крути, а безопасней и куда дешевле, чем в гостинице; пани Зофья как сквозь землю провалилась.

В глубине души Малкин холил надежду, что их товарищество не развалится, что все еще, даст бог, восстановится. Моше Гершензон после операции выйдет из больницы и снова будет приезжать по вечерам в парк и развозить их в ранних сумерках по домам – дела его, как заверил доктор Мотеюнас, давний клиент Ицхака, не столь безнадежны. «Некоторое время он еще будет носить свой костюм…» – «Свой костюм?» – «Разве Господь Бог не сшил наше тело из непрочной ткани?»

Что правда, то правда: мог бы ткань подобрать получше и нитки покрепче, и подкладку подобротнее.

Придет в парк и Натан Гутионтов – никуда не денется. Сторожить женщину – это все равно, что к ветру охранника приставить. Сколько ни приставляй, все равно не удержишь. Да и потом, какой резон Нине стрекача давать? Гутионтов не так уж в Землю обетованную и рвется. Натан посторожит, посторожит свою благоверную и придет в парк – по нему и эти воробьи, и эта липа соскучились. Кто сказал, что они скучать не умеют? Еще как умеют! Может, больше, чем люди. Его, Ицхака, два дня не было, а когда пришел, липа так расшумелась, так зашелестела, что у него слезы на глазах выступили. Малкин сидел, осыпанный листвой, и не стряхивал ее. Прохожие смотрели на него как на чокнутого, а он продолжал неподвижно сидеть, боясь лишиться благодати, нарушить какую‑то связь между ним и Всевышним, явившимся ему на мгновение в виде старой и великодушной липы.

Явится и взбалмошный Гирш Оленев‑Померанц. Проводит своих шведских гостей, взыщет с них дань за могилу и за квартиру, пропустит свои сто пятьдесят граммов и пожалует сюда. Обязательно пожалует. Он, Ицхак, недавно здорово ему помог – саженцы для него достал, молодые дубки. Ездили аж за Неменчине, в лесхоз, к Шимкусу (Малкин с ним вместе в Литовской дивизии служил). Шимкус и деревца дал, и грузовик, водитель чуть ли не до самых рвов их довез.

Правда, поначалу Ицхак даже пожалел, что, откликаясь на просьбу Гирша о саженцах, вспомнил своего однополчанина – директора лесхоза.

– А что если нас с тобой схватят, поволокут куда следует, а саженцы – в костер?

– Я им такой костер устрою, век помнить будут. На всю Европу, на весь мир! Что же получается: ни лечь с родными вместе нельзя, ни высадить в память о них какое‑нибудь дерево, из их же лесов, их же дерево.

– Сажай где угодно, но только не там.

– А я не хочу где угодно. Я хочу там. Понары принадлежат мне. Не Литве. Майданек – не польская земля. Дахау – не немецкая. Бабий Яр – не украинская. А наша. И что хотим, то и можем на ней делать. Где это слыхано, чтобы за посадку деревьев в кандалы заковывали!

Отказ грозился обернуться не только ссорой, но и полным разрывом. Да и доводы Гирша Оленева‑Померанца казались вполне убедительными.

Как бы там ни было, Ицхак ради дружбы уступил. Они привезли саженцы в Понары и, работая с небольшими перекурами, за день высадили все до единого.

– Пусть только попробуют выкорчевать! – пригрозил неизвестно кому флейтист. – Як каждому деревцу приколочу медную табличку и укажу на ней имя и фамилию. Пусть растут мои сестры и братья, пусть на ветру развеваются волосы моей матери Златы, и пусть ветер обвевает, как листья, не вырванные негодяями клочья черной бороды моего отца Арона. Это все, что я при жизни могу для них сделать. Жаль, что я никудышний музыкант. Если бы я был такой, как Яша Хейфец, и имел хотя бы миллион, я каждому из них воздвиг бы памятник: кому из мрамора, кому из бронзы, а родителям – из чистого золота. Но я, к сожалению, обыкновенный полунищий пьянчужка. Может быть, когда мы встретимся, они меня простят за все мои грехи. А мы обязательно встретимся. И скоро. Заждались они меня…

Гирш Оленев‑Померанц не может не прийти в парк. Не потому, что ему тут так весело и интересно, а потому, что и ему не к кому притулиться, и скамейка под липами для него, как и для них для всех, – и колыбель, и гроб, и кара, и благословение. Доллары Тростянецкого не отлучат его от друзей. Тростянецкий платит зелененькими, а тут, в Бернардинском саду, они рассчитываются целительным враньем, обжигающей искренностью и замусоленными воспоминаниями, шелестящими, как старые, не вышедшие из употребления банкноты.

Объявится и ночная еврейка пани Зофья. Должна объявиться. Если, конечно, жива. Ее голуби до сих пор кружат над его головой, до сих пор – страшно кому‑нибудь признаться – она ему снится.

Почти сорок лет Ицхак прожил без снов о женщинах, и вдруг на тебе: не Эстер снится, не Фрума, а влетевшая в его жизнь, как голубь в голубятню, полька с крашеными остекленевшими волосами и цыганистыми серьгами в ушах.

Раньше с ним такого не бывало. Снилось всякое: и братья Гилель и Айзик, и маршал Рокоссовский, и даже пленный немец – портной из Мюнхена (ах, какой это был портной!) по имени Зигфрид, но чтобы женщина, да еще одна и та же, и не сестра и не жена!

Господи, господи, чем только не напичкан человек! Поди пойми, чего в нем больше: грехов или добродетели. Наверное, грехов, ибо безгрешных радостей на свете не бывает. Разве сама радость – не грех? Разве можно радоваться, когда рядом кто‑то рвет на себе волосы?

Ицхак искал для каждого, кто подолгу не приходил в парк, оправдания. Он и сам стал приходить сюда реже. И причиной тому были не проливные осенние дожди; не утренние заморозки; не участившиеся митинги на Кафедральной площади, выплескивавшиеся и в Бернардинский сад; не решительные и суровые, почти языческие шествия к башне Гедиминаса, возвышавшейся над городом в своем горделивом бойцовском спокойствии. Причина лежала в нем самом: несмотря на недюжинное здоровье, каким всех Малкиных наградила природа, Ицхак стремительно и неумолимо старел. Ему становилось все трудней и трудней вставать поутру, особенно поздней осенью и зимой. Широкая и бессмысленная двуспальная кровать не отпускала его и, как живая, нашептывала: «Лежи, лежи…» Порой он сдавался, зарывал тяжелую голову в подушку и часами напролет обнюхивал наволочку, пахнувшую детством, бабушкой, ощипывающей в сенях прирезанных гусей. Запах убаюкивал, возвращал назад, туда, где во дворе стоял колодец с огромной бадьей, полной чистой, как слеза, воды, светлых надежд и чистого, не замутненного никакими смертями и потрясениями времени. Выпьешь и будешь жить вечно, обольешься с ног до головы, и время впитается в твою плоть, в каждую пору, и его хватит не только тебе, но и твоим детям, внукам и правнукам.

Чем дальше, тем чаще Ицхак оставался дома. Бывало, выглянет в окно, а там никакого колодца. И бадьи нет. И бабушки не видно. Встанет, потопает в ванную, а там в кране ни капли, ни капельки – крути, не крути. А ляжет в кровать, зароется в подушку – и снова скрипит колодезный валек, и снова крутится цепь, и снова бадья валуном летит вниз и снова зачерпывает и бабушку, и братьев Гилеля и Айзика, и отца Довида, и живых – не прирезанных – гусей, вразвалку бредущих под окнами.

Ицхака Малкина в такие дни нет‑нет да и охватывало постыдное отчаяние: а, может, он зря утруждается, может, вообще незачем ходить в этот парк ненужных евреев. Но не проходило и часа, как он раскаивался в своем малодушии, отгонял от себя мрак, прорубал в нем расщелину и высовывал через нее голову к сумеречному, навевавшему печаль осеннему свету, разлитому в Бернардинском саду.

Нисколько не переоценивая своего значения, он тем не менее понимал, что, выйди он из игры, она закончится и больше уже никогда не возобновится, никто никогда ни одной карты в руки не возьмет. Пока он, Ицхак, сюда ходит, она будет продолжаться, и банк будет расти. Малкин хорошо знает, чем она, их игра, притягательна, и чем соблазнителен их банк. В отличие от жизни – самой крупной и до самоубийства азартной игры – в их игре нет ни победителей, ни побежденных. Тут банк не сорвешь, будь у тебя на руках даже все козыри. Там, в той кровавой и беспощадной игре, Гирш Оленев‑Померанц – безумец, не признающий никаких законов и правил, зарвавшийся шулер, пытающийся на родстве с мучениками нажить посмертный капитал и выделиться среди других, а тут он – чистая душа, чуть ли не праведник. Там Натан Гутионтов – жалкий калека, базарный цирюльник, а тут – подвижник и мудрец, готовый жертвовать собой ради любви и дружбы.

В раздумья Малкина вдруг вторгся цокот женских каблучков. Обычно, услышав их расстрельную дробь, Ицхак даже головы не поднимал, но на сей раз, повинуясь какому‑то нахлынувшему любопытству, он изменил своей привычке и увидел приближающуюся к скамейке, заметенной отлитыми в дешевое золото листьями, женщину, затянутую в кожаную, поблескивающую чешуёй юбку; в голубой блузке со стоячим, словно парус, воротником; с клипсами‑бабочками, застывшими на мочках ушей.

Она шла к нему, крутя тугими бедрами, и только по ее раскованной, почти развязной походке, по тому, как она в такт шагам размахивала своими по‑крестьянски крепкими руками, не вязавшимися с ее франтоватым видом, Ицхак узнал в ней ночную еврейку пани Зофью.

Когда замешательство сменилось беспокойным, неустойчивым чувством радости, почему‑то стеснявшим дыхание и сушившим язык, он воскликнул:

– О‑о‑о!

Других звуков у него не нашлось – они упорно откатывались от горла назад, в свою клетку, где роились в полном беспорядке, как вспугнутая пламенем мошкара.

Пани Зофья положила на скамейку изящную сумочку с плетеной ручкой, наклонилась к Малкину и бесцеремонно, но искренне чмокнула его в щеку.

– Пшепрашем, пан Ицхак, я пану без дозволеня квят намалевала.

– То ниц. Ниц, – звуки понемногу стали складываться в слова. – Таки квят не зашкодзи.

– Ниех пан правду повиедзе – пан тенскновал? – кокетничая, спросила она.

Ицхак стушевался. Звуки, собравшиеся было вместе и вырвавшиеся было на волю, снова рассыпались, разлетелись, кто куда.

– А я тенскновала… Як коханка… – сказала она и громко рассмеялась.

Пани Зофья опустилась на скамейку, прижалась плечом к старику, помолчала, потом протянула руку к сумочке, вынула из нее маленькую коробочку, перевязанную подарочной ленточкой, и положила Малкину на колени.

– То, пан Малкин, мой малюткий презент пану.

Малкин не притронулся к подарку, сидел прямо, вытянув морщинистую шею, и, не мигая, смотрел поверх деревьев вдаль, и на память ему приходили все праздники в его жизни, начиная с детства и кончая старостью. Их было немного, очень немного, и растроганный Ицхак повторял их про себя, как детскую считалку.

Пани Зофья не торопила его, молчала вместе с ним и что‑то сама вспоминала – может, своего отца‑подпоручика, может, Йоселя‑Яцека, может, старика‑раввина на Конской, говорившего ей: «Я сделаю из тебя настоящую еврейку, если нас не передушат, как кур. Мы будем с тобой по субботам читать Тору – в шаббат нельзя заниматься любовью. Твой Йосель это знает… Станешь еврейкой, и мы поставим хупу назло Аману…» Может, именно его, щуплого рабби Элиезера из синагоги мясников, она и вспоминала. Как она его боялась, думала, что он ее немцам выдаст. Но, тот, кто верит, никогда не предаст того, кто любит.

– Я выезжам до Польски. На стале. Неочикиване отчималем майонтек. Вуй змарл и зоставил вшистко: дом, пинендзи, землю, навет езеро з рыбами. Запрашам пана на гефилте фиш.

– Дзиенкую, пани Зофья. От цалего серца дзиенкую.

Он по‑прежнему глядел вдаль, как в далекие незапамятные дни в колодец, кишевший заманчивыми тайнами, напрягая глаза и стараясь отгадать ту тайну, которую ему, Ицхаку, завещал при рождении Господь Бог. Сейчас, когда он и сам стал похож на эту бесконечную и не разгаданную доселе даль, он, кажется, понял: никакой отдельной тайны нет. Есть одна, всех объединяющая и всех разводящая тайна. И тайна сия – человек. Кто он – Ицхак Малкин? Кто она – пани Зофья, у которой он даже не успел спросить фамилию? Кем были те, что были до нас, и кем будут те, кто придет вслед за нами?

– Поздравляю, – сказал Малкин по‑русски. – Я рад за вас.

Он действительно был рад за нее, неожиданно получившую завещанное дядей, тоже подпоручиком, как и ее отец, наследство: фольварк где‑то между Сейнами и Августавой. Теперь она проведет в покое и холе остаток своих дней – может, оборудует на чердаке голубятню, купит венских голубей и перед сном будет слушать их сладострастное воркование, которое сорок с лишним лет тому назад сводило ее с ума, а, может, забудет своего Йоселя‑Яцека, к которому пробиралась по затемненному Вильнюсу, нашив на дешевое ситцевое платье желтую звезду. Забудет и выйдет замуж за какого‑нибудь крепкого, но неимущего мужика – с владелицей такой усадьбы кто не согласится пойти под венец…

Та, прежняя пани Зофья с ободранной метлой и казенным ведерком, с возлюбленным Йоселем‑Яцеком и благочестивым рабби Элиезером, обещавшим сделать из нее настоящую еврейку, с ее поделенной надвое, как черствый ломоть хлеба, жизнью была Малкину ближе и родней, чем представшая перед ним дама в цокающих туфельках, в юбке чуть ли не из крокодиловой кожи, с воротником‑парусом и с сумочкой‑тайничком, с аккуратно уложенными волосами и подведенными бровями.

Ицхак ждал от нее не подарков, не театральных поцелуев, не рассказов о красотах польской природы, о пруде, по которому плавают белые вневременные лебеди, о жасмине, источающем под окнами божественное благовоние. Он надеялся услышать что‑то другое. Что ему белые лебеди? Что ему благовонный жасмин? Он надеялся, что она вернется с Йоселем‑Яцеком, и все они вместе отправятся туда, на Конскую, на чердак.

Но пани Зофья туда, кажется, не спешила. Малкин по себе знал: мертвые живы, пока к ним спешат. Потому Эстер жива. Потому и братья Айзик и Гилель только расстреляны, но не мертвы. Ицхака угнетала перемена в ней, хотя он и не осуждал ее. Каждый сам выбирает свой чердак, свой пруд и – если Господь удостоит такой милости – свою могилу.

Не было в их отношениях того, что было прежде: теплоту подменила учтивость, даже манерность, искренность сменилась разбавленной недомолвками светской говорливостью, появилась, как показалось Малкину, обоюдная, столь не терпимая им, неправдивость.

Нет, нет, такой пани Зофье он не мог признаться в том, что она ему снилась. Никогда в жизни!

Почувствовала и она какую‑то в прошлом не свойственную ему натянутость и замкнутость. Он даже коробочку не открыл, не посмотрел, какой подарок она ему приготовила на прощание. Только бы он, открыв, не высмеял ее за ненужное панибратство, за неуместную чувствительность. В конце концов, если ему не понравится, он может ее дар не принять – не обязательно то, что дорого ей, должно непременно быть дорого ему.

– По цо пан Малкин не хце попатшичь на муй презент? – напрямик спросила она, заставив его смутиться.

Ицхака поразила ее прямота, от которой сквозило неподдельной болью, и он засуетился, стал неуклюже развязывать ленточку, заглянул в коробочку, достал из нее крошечный медальон, раскрыл его и застыл в недоумении. – Твой братик? – выдохнул он, глядя на старинную фотографию, где был изображен чернявый мальчик лет десяти с вьющимися локонами и высоким лбом.

– Нет, – ответила она. – У меня не было ни братьев, ни сестер.

Пани Зофья хотела, чтобы он сам догадался. Если догадается, то его догадливость только умножит ценность подарка.

Но Малкин вглядывался в фотографию и никак не мог понять, что за мальчик запечатлен на ней, и какое он, Ицхак, имеет к нему отношение. На него терпеливо и сочувственно глядел не то юный цыганенок, усыновленный каким‑нибудь сановным поляком, не то примерный школьник‑еврей.

На минутку старику подумалось, что он зря ломает себе голову, что пани Зофья просто привезла ему на память из Польши симпатичную безделушку, но по тому, как новоиспеченная богачка ждала ответа, по тону, каким вела допрос, по глазам, внезапно округлившимся и странно, почти враждебно заблестевшим, он смекнул, что мальчик с вьющимися локонами ей ближе, чем брат.

И тут его осенило.

– Неужели? – прошептал он, и в его шепоте смешались и благодарность, и удивление, и раскаяние.

Пани Зофья кивнула.

– Сколько ему тут?

– Не знаю.

Она помолчала и добавила:

– Таким он пришел в первый класс гимназии… Ни у кого так не вились волосы, как у него. Ни у кого не было таких черных глаз – две спелые вишни. Мама его называла Копель. Яцек Копель – на польский манер. Чтобы дети не дразнили. Поэтому‑то она нас рядом и посадила… на первой парте… напротив Пилсудского… Они оба все время глядели друг другу в глаза – Йосель и Пилсудский.

Ицхак молча слушал ее, не выпуская из рук медальона, изредка бросая на фотографию любопытный взгляд, и во встречном взгляде юного Йоселя‑Яцека Копеля складывалась огромная слеза, в которой отражались первый класс Виленской польской гимназии, пышные усы маршала Пилсудского, Большая синагога, монашки в черных непроницаемых одеждах, спешащие к Духову монастырю, молодцеватые хасиды в высоких отороченных мехом шапках. Казалось, слеза вот‑вот выкатится и потечет по Бернардинскому саду, потом по Конской, потом по всем местечкам Литвы, опустевшим, очищенным от Йоселей, потом, одинокая и все увеличивающаяся, минуя бдительную стражу и пограничные столбы, хлынет и в Польшу, а оттуда в Европу и через Атлантический океан в Америку. Увидев ее, сохранившиеся в мире евреи наденут тфилин, откроют молитвенники и примутся читать те главы, которые полны ярости и скорби.

Как ни странно, поймал себя на мысли Ицхак, в слезе курчавого Йоселя, одетого на фотографии в гимназический китель, застыли и его, Малкина, слезы. Хоть он никогда не ходил в гимназию, хоть у него никогда не курчавились волосы, он чувствовал какое‑то удивительное сходство с этим чужим, растаявшим, как журавлиная стая, в воздухе мальчиком. Пани Зофья, видно, для того и подарила ему этот медальон, чтобы утешить, а не для того, чтобы растравить и уязвить душу. Утешить, утешить, утешить… Хотя горе тому, для кого единственным утешением служит чужое несчастье!

Спасибо пани Зофье. Спасибо. Он теперь не расстанется с Йоселе, будет с ним повсюду ходить, сидеть тут, на скамейке в Бернардинском саду, слушать шелест листьев… чириканье воробьев, и если кто‑нибудь – Гирш Оленев‑Померанц или Моше Гершензон, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни, или неравнодушный к чужим тайнам Натан Гутионтов – спросит Ицхака, кто этот юнец в гимназическом кителе и в форменной фуражке с кокардой, то в ответ услышит:

– Мой сын Йосель.

И в этом не будет никакого вранья. Разве те, кто погибли в отроческом возрасте в Понарах, не его, оставшегося неведомо за какие заслуги в живых, дети? Разве не имеет он права посмертно усыновить их? И потом, чем Счастливчик Изя Гершензон или Лариса отличаются от его Йоселя? Натан Гутионтов, горячий отец, назвал их бумажными детьми, в основном существующими на страницах писем и на цветных фотографиях.

Воистину бумажные – собираешь по страничке, по снимочку, бережно прячешь в какое‑нибудь укромное и надежное место, изредка показываешь друзьям и знакомым, которые при виде заморских красот, небоскребов и пляжей, новехоньких машин и ослепительной одежды впадают в восторженное отчаяние, охают и ахают, желая такого же неслыханного, заграничного счастья всем еврейским чадам.

Если любопытные не отвяжутся, будут донимать его расспросами о Йоселе – мол, откуда взялся и где он сейчас, то Ицхак сразит их таким ответом: «Незаконнорожденный сын. Живет с матерью в Польше, на родине Пилсудского».

Может же и у него, Малкина, быть какая‑нибудь завалящая тайна, какой‑нибудь скрытый грех. Грехи красят мужчину не меньше, чем шрамы.

– От Яцека тилько и зосталось: два здейенце. Венце ниц, – вдруг траурно‑приглушенно, но без ложного страдальчества сказала пани Зофья.

Она говорила быстро, без пауз, громче обычного, но ей казалось, что Ицхак не слушает ее, думает о чем‑то своем, никакого касательства к ней не имеющем. Все старики думают только о себе. Даже к смерти они относятся как к своей собственности, так, как если бы кроме них у нее не было владельцев.

Отрешенность Малкина коробила ее, но пани Зофья старалась не выдать своего недовольства, корила себя за простодушие и доверчивость. Ну с чего взяла, дура, что этому портняжке, от избытка скуки обласкавшему ее своим вниманием, так уж важна история ее жизни? В глубине души он, видно, считает ее обыкновенной шлюхой, пытающейся выдать свое распутство чуть ли не за подвиг. Подумаешь, подарила симпатичную безделушку, купленную в глухомани, в провинциальных, тягостных, как похмелье, Сейнах или Сувалках. И все‑таки пани Зофья отказывалась верить в то, что он мог о ней так подумать. Что, если она оговорила Малкина? Что, если все наоборот, и его подавленность связана не с неприязнью к ней, а с тем, что Йосель Копельман взял пана Ицхака за руку и через годы и могилы повел его отсюда, из Бернардинского сада в родное местечко над Вилией и привел его туда не седовласым старцем, а шаловливым огольцом, вихрастым, и тонконогим, с обручем в руке, в вертящейся окружности которого умещалось все: и река, и бескрайнее, теплое, как бабушкина перина, небо, и нетронутые ни хворями, ни пулями родичи от первого колена до последнего.

– Мам виеле клопот с министерством справ вевнетшних, – как ни в чем не бывало сказала пани Зофья. – Бендзем в Вильне йешче два тигодни.

– Жаль… – несколько раз кашлянув, хрипло произнес Малкин. – Мы собирались принять вас в свой клуб.

– Так? – она не могла взять в толк, о каком клубе идет речь, но и возражать не думала.

– В клуб ненужных евреев, – пояснил Ицхак и, перемежая свою речь кашлем, принялся ей объяснять, в чем дело.

– То пиенкне… то цудовние… – пропела пани Зофья. – Пан Малкин стание гвяздорем, як Грегори Пек…

Она без тени сомнения выразила свое согласие примкнуть к ним и со свойственной ей горячностью и увлеченностью обрисовала будущее клуба, который должен, по ее мнению, из еврейского стать международным и из местного – всемирным… Ненужных людей на белом свете хоть пруд пруди. Их куда больше, чем нужных. Пани Зофья даже перефразировала въевшийся в печенки лозунг: «Ненужные всех стран, объединяйтесь!» Зачем, пан Малкин, далеко ходить за примерами. Возьмите Польшу, откуда я только что приехала, – сколько там ненужных, не сосчитаешь, по каждой улице, по каждому парку десятками бродят. Или Литву – посмотрела я на тех, кто тут под боком у вас митингует, и что? Половина ненужных. Поезжайте во Францию – и там их полно. А в Америке? А в России? А в Китае?

Ицхак, довольный, улыбался, ему была приятна ее остроумная лесть, ее шутливое предложение запатентовать его прекрасную идею: помяните мое слово – когда‑нибудь клуб назовут вашим именем. Смешили Малкина и ее предсказания, что через год‑другой, если, конечно, никто не подставит ножку, в объединение, придуманное простым портным с Садовой улицы, хлынут миллионы, брось только клич, будет учрежден Интернационал ненужных людей земного шара, и что она, несмотря на обвалившееся на ее голову наследство, первой в Польше вступит в его ряды.

– Только Ленина из меня не делай, – в ответ отшучивался он. Шутейное настроение длилось недолго, но оно помогло перейти от задымившей было отчужденности к прежней открытости. Ицхака так и подмывало спросить у нее о том, чем закончилось все там, на Конской, как погиб Йосель‑Яцек, что стало с голубями, но из скромности, из боязни причинить ей боль он молчал, дожидаясь, когда гостья сама об этом расскажет.

Вопрос задал не он, а наступившая тишина. Он как бы жухлым осенним листом упал на скамейку.

Пани Зофья подняла его, поднесла к губам, принюхалась, учуяла, видно, запах далекого прошлого, чердачной плесени, отсыревших крошек хлеба в зарешеченной голубиной клетке и негромко промолвила:

– Мы з ним… ну як то повиедзиц..

Она запнулась и вдруг перешла с польского на русский:

– Поругались. Так?

– Да, – несмело помог ей Малкин, который сносно, хотя и с досадными ошибками, говорил на языках всех своих клиентов.

– Яцек, – сказала я ему, – завтра не чекай… не пшидон.

Как Ицхак понял из ее польско‑русского рассказа, ссора произошла накануне его гибели, они повздорили из‑за пустяка (пани Зофья забыла из‑за чего именно – кажется, из‑за злополучных голубей). Когда же она на следующий день вечером явилась к нему с повинной, Йоселя‑Яцека уже и в помине не было. Пол чердака был усыпан расстрелянными голубями – на белых венских крыльях багровели пятна крови. В углу огромной железной клетки белели остывшие голубиные яйца – из них вот‑вот должны были вылупиться голубята. Пани Зофья достала одно из клетки и, рыдая навзрыд, принялась согревать его своими ладонями. Потом, не переставая перекатывать его в руках, бросилась к соседнему дому, где на втором этаже жил рабби Элиезер. Она не чаяла, не гадала встретить его, была почти что уверена, что и его во время облавы увели.

Рабби Элиезер стоял у восточной стены и бормотал молитву. В бормотании тонули шаги пришелицы, и молящийся ничего не услышал.

– Что там у тебя в руке? – спросил он, когда кончил молиться.

– Голубиное яичко, – ответила пани Зофья, все еще давясь слезами.

– Там еще их много осталось?

– Штук пять. Вы перед тем Йоселя видели?..

– Я спал в ту ночь в синагоге. Господь, да не померкнет никогда его имя, пожалел меня… не отдал… Белошвейка Лея говорит, что Копельман ушел не один.

– А с кем?

– С голубицей. Как только началась стрельба, сунул ее за пазуху и ушел навеки. Сейчас, видно, летают вместе над райскими кущами. Там где есть голубь, должна быть и голубица.

Ицхак увидел, как она сглотнула подступивший к горлу ком, засуетилась, вынула из сумочки крохотное зеркальце и посмотрелась в него. Пани Зофья смотрелась в него долго, очень долго, но губы не красила, расстрепанные ветром волосы не поправляла, блузку, под которой бугрились ее взнузданные лифчиком груди, не застегивала. Перед глазами гостьи проплывала вся ее жизнь, которая, скорее, напоминала невысиженное яйцо, чем летающую над райскими кущами голубицу.

– Зобачимисмы, але юш тераз запрашам пана Малкина до заграницы, до Сейн. То ниезбит далеко от Вильна, – выстрелила в тишину пани Зофья.

Усмешка лучом карманного фонарика осветила хмурое лицо Ицхака, потом фонарик погас, и сморщенные, высохшие щеки снова уподобились жухлым листьям. Он помахал пани Зофье рукой, но в этом взмахе не было того задора и щегольства, что раньше.

Слишком поздно его пригласили за границу, беззлобно и без всякого сожаления подумал Ицхак и носком ботинка поддел горстку онемевшей листвы. Слишком поздно. Незачем теперь ему туда ехать. Теперь каждая улица Вильнюса для него – заграница: новые дома, новые витрины. А каждый его житель – иностранец. Малкин никого не узнает и никто его, Малкина, не узнает, хотя совсем недавно с ним раскланивались в самых неожиданных местах, останавливались на одну‑другую минуту, перебрасывались несколькими словами. Куда все девались? Раньше казалось, что весь город сплошь состоит из его клиентов. Почему же все вокруг – словно иностранцы и он сам как иностранец?

Много лет тому назад в польском городе Гданьске прояви он решительность, Ицхак и впрямь мог стать иностранцем. Не германским подданным, а американским. Стоило ему, Ицхаку, только рискнуть, только предать Эстер, мертвую или живую, только сказать «да» рыжему Моне, Моне из Кишинева, завхозу военного госпиталя, и он, Ицхак Малкин, сегодня, может быть, торчал бы не тут, в этом саду, а гулял бы по какой‑нибудь авеню, рядом с магазином готового платья его сестры Леи, которую со слезами на глазах в Америку провожали почти все парни местечка, может быть, второй раз женился бы не на ядовитой и хмурой Фруме, а на американской еврейке из хорошего дома или на такой же беженке, как и он сам, народил бы с ней кучу детей, сам открыл бы магазин‑мастерскую. Но Моня из Кишинева его согласия не дождался – улепетнул из Польши на запад один, а он, Ицхак, остался – никакого доверия у него капитан Эммануил Вайсберг не вызывал.

– Ну что тебя так тянет назад? Могилы? Солнце сталинской конституции? – шепотом среди руин спрашивал у него Моня из Кишинева.

Малкин слушал и молчал, не возражая ему и не соглашаясь с ним.

– Ты что, на все сто уверен, что твоя Эстер жива?

– На все сто – нет.

– Я договорился с поляком‑проводником. Он нас под видом глухонемых до Берлина доведет… до самой Курфюрстендамм аллеи.

После исчезновения Мони из Кишинева Ицхак только и ждал, когда за ним придут из СМЕРШа и вместо родной Литвы или вожделенной Америки он попадет куда‑нибудь на дальний‑дальний север, в тундру, где за колючей проволокой испустит дух и где его зароют в вечную мерзлоту. Но шли дни, и никто за ним не приходил. Видно, капитану Вайсбергу удался побег – недаром он к нему тщательно и тайно готовился: сшил себе из трофейного коверкота костюм; отрастил пышные бюргерские усы и такие же бакенбарды, рыжина которых, вероятно, должна была засвидетельствовать его принадлежность к любой нации, кроме еврейской; обменял ворованные лекарства и спирт на доллары – мало ли что произойдет в дороге. Может статься, Моню из Кишинева схватили, но тот на допросах его не выдал, не назвал все‑таки его имени как соучастника, и поэтому Малкина не тронули.

Ицхак вынул из кармана штанов ядреную антоновку, осторожно, боясь повредить протезы, откусил кусочек и, вдыхая ее морозящий губы родниковый аромат, зажмурился. И вдруг из‑под тяжелых опущенных век выполз белехонький корпус военного госпиталя на краю Гданьска, распахнулись двери палаты, где он, Ицхак, лежал после второго, к счастью, легкого ранения в плечо, вбежала смазливая сестричка Люба, которой предлагали руку и сердце все, кроме него, а за ней в палату вошел незнакомец, облаченный в белоснежный халат. Он был без всякой докторской амуниции – без трубки, без молоточка, даже белой шапочки не было у него на голове. Когда он подошел поближе к койке, Ицхак под небрежно накинутым халатом разглядел край погона, и сердце на мгновение екнуло.

*Оттуда* , промелькнуло у него, и он зажмурился от ярко вспыхнувшего в сумерках страха.

– Вы – рядовой Малкин? – осведомился тот, подойдя.

– Да, – произнес Ицхак и почувствовал, как односложное слово осколком гранаты впилось ему в висок.

– Портной?

– Так точно, – ответил он, полагая, что верность уставу задобрит незнакомца.

– В Париже учились?

Господи, *они* все знают. Откуда? Во всех анкетах на вопрос: «Были ли вы за границей и когда?» он неизменно отвечал, не задумываясь: «Не был».

– Нет.

– Не скромничайте, – с пониманием отнесся к его вранью гость. – У нас есть другие сведения.

Осколок гранаты проникал все глубже, еще миг – и конец.

– Напомню вам: в тридцать седьмом вы полгода с лишним совершенствовались как закройщик в столице Франции у дяди вашей жены. Не вижу никакого основания для того, чтобы вы жалели об этом. Хвала мастеру, который стремится к новым высотам.

Речь незнакомца текла гладко, без остановок и задержек, и ее гладкость, как дорожный каток, шаг за шагом сминала Малкина.

Тем не менее он проявлял завидное, но безнадежное упорство. Кто бы мог подумать, что случайное признание в разговоре с однополчанином и земляком приведет к такому печальному исходу!

– У меня есть разрешение врача забрать вас, – сказал особист.

Гм, это им‑то нужны разрешения?! Им же все разрешено!

Единственное, чего они не могут, – упечь за решетку Господа, хотя компромат на него давным‑давно собран.

– Сестричка, – продолжал незнакомец. – Принесите его обмундирование.

Внизу, во дворе госпиталя, стоял наглухо закрытый джип. Подполковник, снявший в приемном покое халат и надевший привычную долгополую шинель, услужливо открыл дверцу, и Малкин, стараясь не задеть хоть и зажившую, но все еще ноющую рану, втиснулся в ленд‑лизовскую машину.

Ехали молча, и от этого молчания исходил какой‑то жар, почти что зной, какой стоит в середине лета. Чем дальше, тем трудней становилось дышать.

Джип петлял по замысловатым улицам Гданьска, подскакивая на выбоинах; полковник дремал или притворялся, что дремлет; водитель, молодой парень с подозрительными монгольскими скулами и недобрыми, колючими, как наконечник стрелы, глазами курил одну самокрутку за другой. И хоть от едкого дыма махорки першило в горле, Ицхак был благодарен монголу за этот запах, он вдыхал его с удовольствием, с обреченным наслаждением и думал о бездарном, несправедливом, незаслуженном конце своей жизни.

Что за преступление совершил он, если за ним послали не обыкновенного, спешащего выслужиться лейтенантика, а полковника? Чем он так не угодил советской власти?

Вдыхая махорочный дым и борясь с отвращением к дремлющему полковнику, к себе, к выбитой гусеницами танков дороге в этом богобоязненном польском городе, где ему, Малкину, скорее всего, суждено завершить свой земной круг, он один за другим перебирал в памяти свои грехи. Но все попытки отрыть в ее развороченной воронке грех кончались неудачей. Да, был в бою не очень смел, порой нерешителен; да случалось, когда он безмолвно, немо, безголосо поругивал и немцев, и русских, втянувших его в эту кровавую канитель. Но, видит Бог, не делал ничего такого, чтобы из‑за него утруждали себя полковники, чтобы они, как сейчас, трясясь по бездорожью, мчались неведомо куда.

Нет‑нет да возникал перед глазами Ицхака Моня из Кишинева. А вдруг рыжий оказался провокатором? А вдруг он встретится с ним в роковом кабинете на очной ставке? Это только отец Довид считал, что еврей еврея никогда не предаст. Чушь собачья! Он, Довид, жил не в двадцатом веке, не с живыми людьми, а в своей заваленной башмаками каморке или в просквоженной насквозь древними молитвами синагоге. Они же – и Моня из Кишинева, и этот седоватый полковник, и этот намертво вцепившийся в руль водитель, вечный кочевник, – люди другого времени, живущие в ином веке. Их век – время предательства и измен, время братской крови, ибо кроме братской никакой другой крови, если верить Библии, нет. Каждое око – око ближнего, каждое сердце – сердце ближнего, каждая рука, держащая меч или оливковую ветвь, – рука ближнего.

Что творится с миром, где не осталось ни одного ближнего? Все дальние. Все только дальние. Все.

Ни полковник, свесивший от усталости голову, ни водитель, скручивавший очередную козью ножку, ни Моня Вайсберг, улепетнувший за океан или готовый через час прочитать по нему, живому Ицхаку, кадиш, – не ближние его и ближними никогда не станут. Как говорил рабби Мендель, у добра меньше наследников, чем у зла. Зло золотит карман, а добро – душу.

Гданьск кончился, повеяло озерной влагой и заболоченными лугами. Малкин не понимал, почему его так долго везут. Неужели с ним не могли покончить, не выезжая из города? Кокнули бы за еврейским кладбищем, и какая‑нибудь сердобольная душа зарыла бы его среди своих.

За всю дорогу Малкин ни разу не вспомнил о Париже. Впервые в жизни он убоялся собственных воспоминаний, как будто кто‑нибудь мог их подслушать. Господи, что это за век, где даже невысказанные воспоминания – улика.

Неожиданно джип остановился, мотор взревел, зачихал и, поперхнувшись выхлопными газами, замолк.

– Приехали, – весело, почти дружелюбно сказал полковник и стряхнул с себя дремоту, как выкупанный щенок воду.

Малкин оглянулся. Перед ним простиралось наспех оборудованное летное поле, на котором стояли два истребителя и несколько чем‑то напоминающих стрекоз машин, которые в армии крестили «кукурузниками».

– Спасибо, Чингиз. Ты быстро нас домчал, – бросил полковник водителю и, повернувшись к Ицхаку, предложил: – Покурим, а то там, наверху, может, и не удастся. У летчиков свои правила.

– У летчиков? – упавшим голосом переспросил Ицхак.

– Рядовой Малкин, вы что, никогда не летали?

– Нет.

– На чем же вы добирались до Парижа? Да признайтесь же наконец. Иначе… иначе мы вас отправим обратно в часть, то есть в окопы.

Малкин застыл в изумлении. Он вдруг почувствовал, что стал похож на манекен: издали вроде бы человек, а вблизи захватанная руками деревяшка.

На поле появился летчик в полном летном обмундировании, с парашютом за плечами. За ним плелся второй – видно, штурман‑стрелок.

– Знакомьтесь, – произнес особист.

– Бородулин, – пробасил тот, кто был с парашютом.

– Гордеев, – представился штурман‑стрелок.

– Малкин, – сказал Ицхак.

– Отлично. Теперь вам, наверно, частенько придется летать вместе.

Полковник что‑то еще пробормотал про исключительно ценный груз, про то, что вылеты будут производиться в любую погоду и в случае надобности сопровождаться экскадрильей истребителей. В голове Малкина крупные клочья страха смешались с легкими перистыми облачками надежды. Он прилагал огромные усилия, чтобы без ущерба для себя отъединить доброжелательность полковника от его же таинственности, не сулившей поначалу ничего хорошего.

Ицхак уже, правда, почти не сомневался в том, что его кости истлеют не на польской земле, не на Гданьском еврейском кладбище, которое находилось в ста метрах от военного госпиталя и по которому он иногда прогуливался, разбирая замшелые надписи на сохранившихся плитах и пытаясь разыскать надгробие с высеченным именем: «Малкин». Где их, Малкиных, только нет!

Чувство робкого, постепенного освобождения от страха делало его закоченевшее от дурных подозрений тело пружинистым и легким. Еще не поднявшись в «кукурузник», Ицхак уразумел, что стал частью какой‑то совершенно секретной операции, успех которой зависит, наверно, не от автомата Калашникова и не от пушки такого‑то и такого‑то калибра, а от его иглы, от привычных ему портновских ножниц. Впервые за четыре года войны он почему‑то, скорее по наитию, чем по трезвому размышлению, почувствовал себя не вооруженной букашкой, ползающей день‑деньской по окопной грязи, не бумажной мишенью, которой неведомы ни боль, ни страдания, а тем, кем он был всю свою сознательную жизнь и в маленьком местечке над Вилией, и в величавом Париже, научившем его не только лучше кроить и шить, но и преобразившем его до неузнаваемости.

Малкин сидел, откинувшись на спинку потертого кресла, в крохотном и шумном, как шмель, самолетике и, прислушиваясь к гулу моторов, слышал другой водопадный шум – парижских площадей и улиц, базаров и набережных, и этот шум вливался в его, Ицхака, горло, как спирт, и он пьянел, пьянел, пьянел от него, как тогда, когда он прощался с ним навеки. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты не покарал меня за мое малодушие, которым я унизил лучшие дни моей жизни, красоту и честь города, возведенного как будто не из камней, а из Твоей милости.

За самолетиком увязалось облако, и вдруг, на самом его краю обозначилась улица – улица Декарта, а на ней, затейливо вившейся по облаку, выросла портновская мастерская Бецалеля Минеса – дяди Эстер, иголка которого покорила весь Латинский квартал. Кудесник Бецалель ходил по облаку с сантиметром на шее и давал своему родственнику из Литвы всякие советы: «Пуговицы надо пришивать так, как будто пришиваешь их навеки» или «Клиенту никогда не следует говорить, что этот фасон вышел из моды, ибо он платит тебе не за пошив, а за послушание, которое будет модным вечно». Дядя Эстер ругал Ицхака за рассеянность и строптивость, за неверный наклон туловища, когда тот сидит за машинкой, даже за молчание.

– На работе портной должен обязательно что‑то тихонько напевать.

– Ноу меня нет никакого голоса, – безнадежно защищался Ицхак.

– Неважно, – говорил он. – Пой. Господь Бог при сотворении мира тоже пел. Когда игла слышит, как ты поешь, она снует куда резвей.

Иногда облако накрывало многомудрого Бецалеля Минеса, Латинский квартал и улицу Декарта, и в залитую небесным светом просеку входил сам Господь, пышнобородый, в строгом, длинном одеянии до пят, которое Ему, казалось, сшил тот же неунывающий, лузгающий премудрости, как семечки, Бецалель Минее. Всевышний шагал по просеке рядом с урчащим самолетиком, и Его близость, Его присутствие как будто укрепляли дух Ицхака – казалось, с ним ничего не случится, он останется жив, еще вернется на родину и, может, встретится с Эстер.

По правде говоря, у него не было никакого желания куда‑нибудь возвращаться. Вернешься, а там никого и ничего – ни родины, ни братьев Айзика и Гилеля, ни Эстер, которую он так нелепо потерял – отпустил в гости к тетке на самую границу с Германией, в Пагегяй.

Ему хотелось лететь и лететь, неважно куда, только бы не опускаться на землю, только бы висеть между ней и небом, как это невесомое облако, на котором нет ни одного жителя, кроме Всевышнего. Какое счастье было бы, если бы Он на пробу поселил хотя бы малую малость живых на облаках вместе с их швейными машинками, сапожничьими колодками, с их зеркалами, бритвами и пульверизаторами, с амвонами и скамьями, на которых они читают и постигают дарованную Им Тору, если бы перед расселением отнял хотя бы у каждого второго оружие – вражду и ненависть, ибо ими заряжаются все винтовки и пушки. Если бы, если бы!.. Он, Ицхак, первым попросился бы в поселенцы! Чем мы хуже птиц, выстроившихся в клин журавлей или диких гусей? Неужели только тем, что – двуногие, а не двукрылые? Почему Он, Всемогущий, не оперил наши руки? Почему не сделал летающими? За что нас покарал?

«Кукурузник» совершил два круга и, по‑старчески кряхтя, стал снижаться.

Полковник продрал глаза.

Он умеет спать даже рядом с Богом, поймал себя на невеселой мысли Малкин.

– Что, прилетели? – не столько с удовольствием, сколько с досадой спросил особист. Ему, видно, явно не хватало сна. Ицхак пожал плечами.

У самого трапа их ждал такой же джип, как и в Гданьске. Только за рулем сидел не скуластый водитель с глазами степного беркута, а молоденький солдатик, почти мальчик с челкой жестких, как скошенный лен, волос.

Откуда‑то глухо доносилась артиллерийская канонада. От полевого аэродрома, на котором они произвели посадку, до фронтовой полосы было рукой подать.

Джип то и дело застревал на перекрестках, пропуская грузовики с живой силой и тягачи, подтягивавшие к фронту тяжелые дальнобойные орудия.

Нервничавший полковник даже ходил к регулировщикам, упрашивал, чтобы их пропустили без очереди, но те были непреклонны.

Наконец шустрая машина обогнала стадо тяжеловозов и, вырвавшись на простор, влетела в кукольный немецкий городок. Через мгновение она остановилась у готического здания, очень напоминавшего праздничный баумкухен. По числу охранников Ицхак быстро понял, что в здании расположен штаб фронта.

Полковник предъявил охране свое удостоверение, их тут же, без всяких помех пропустили в большую залу, увешанную огромными картами. Кроме карт, на стене висела старинная, писанная маслом картина, на которой были изображены шагающие по дремучему лесу охотники с ягдташами, битком набитыми дичью, и гончие. Под потолком мерцали, как застывшие медузы, две огромные люстры.

За массивным дубовым столом сидел знаменитый маршал, бывший, как говорили, заключенный, помилованный в начале войны Сталиным и по его приказу посланный в другое пекло – на фронт. Не было в армии солдата, который бы не знал его имени. Знал его и Ицхак.

Полковник отдал ему рапорт, маршал встал из‑за стола и, статный, красивый, больше похожий на актера, чем на военного, подошел к Малкину.

– Ну здравствуй! – сказал он не то по‑простецки, не то покровительственно‑высокомерно.

– Здравия желаю, товарищ маршал! – вскрикнул, как от боли, Ицхак.

– Я слышал, ты портной.

– Так точно.

– Хороший портной?

– Не могу знать, товарищ маршал!

– В Париже учился?

Ему он не мог соврать, но и прямо ответить не хотел – только незаметно кивнул.

– Мундиры шить умеешь?

– Настоящий портной должен уметь шить все – от савана до королевского камзола. Так говорил мой учитель.

– Ну саван пока что не требуется.

Малкин почувствовал, что допустил непростительную оплошность. В двух шагах от смерти ляпнуть про саван! Что если маршал обиделся? Но, на его счастье, тот широко улыбался и с интересом оглядывал портного.

– Времени у нас с тобой в обрез. Я к маю должен выиграть войну, а ты – сшить мне парадный мундир.

– Товарищ маршал, очень у вас прошу прощения, но я скоро не умею. Это не латать и штопать.

– Хвалю за прямоту, рядовой… рядовой…

– Малкин, – услужливо подсказал полковник.

Похвала Рокоссовского подбодрила Ицхака. Его откровенность, оказывается, не только не прогневила командующего, но еще больше расположила к солдату. Малкин и раньше не заискивал перед заказчиками, не кривил душой и частенько расплачивался за свое прямодушие тем, что обиженные переходили к другим портным.

– Стало быть, по рукам? – спросил Рокоссовский.

– А материал у вас есть? – по обыкновению поинтересовался Ицхак.

Командующий немного опешил от его вопроса, а потом, поперхнувшись от удивления, расхохотался и принялся похлопывать Малкина по плечу.

– Есть, есть… – не переставая хохотать, повторял он.

Загрохотал и полковник. Но его смех был неискренний, натужный, расчетливо‑уставной. Особист за спиной маршала делал Ицхаку какие‑то знаки: мол, и ты, болван, рассмейся. Но Малкин стоял как глухонемой и смотрел то на маршала, то на немцев‑охотников, пробиравшихся в высоких, невиданных сапогах и причудливых шляпах‑плоскодонках по дремучему, кишевшему диковинными зверями лесу.

Вдоволь насмеявшись, Рокоссовский набрал короткий номер телефона, и вскоре в залу вошел его адъютант с отрезом английской шерсти.

– О! – счастливо, как в юношеском сне, вздохнул Малкин.

– Ну а сейчас я передаю командование вам, – сказал маршал и протянул отрез портному. – Можете снять мерку.

Если бы не суеверие, внушенное Бецалелем Минесом Ицхаку во время его упоительного ученичества в Париже, если бы не его привычка везде и всюду возить с собой сантиметр и государственный флаг портных – иголку с продетой через ушко длинной ниткой, которую он обычно прикалывал как талисман к внутреннему карману, операция дремотного полковника под кодовым названием «Мундир», державшаяся в строжайшем секрете и сулившая, возможно, ее руководителю звание генерал‑майора, провалилась бы с позором, да и одному Богу известно, чем обернулся бы ее крах и для самого Малкина.

Мерка была снята; полковник взял под козырек; Рокоссовский занял свое привычное место за столом, уставленным телефонами; немцы‑охотники поверх Ицхаковой и полковничьей головы зашагали с добычей дальше; за ними по валежнику побежали усталые гончие; адьютант, как новорожденного младенца из родильного дома, вынес на запруженную солдатами улицу отрез из английской шерсти, передал его полковнику, пробравшемуся в кузов первым; джип тронулся с места и как бы прямиком въехал в самолетик, дожидавшийся на полевом аэродроме; капитан корабля Бородулин взялся за штурвал; и снова за бортом в облаках возникли сперва Бецалель Минее – дядя Эстер с его никогда не тускнеющей мудростью, с его вечной одышкой и кубинской сигарой во рту, придававшей ему, как он считал, сходство с обожаемым Черчиллем, а за ним сам Господь Бог с по‑праздничному расчесанной бородой, сверкавшей в лучах солнца, как драгоценный алмаз. Он махал ему, Ицхаку, своей могущественной рукой, и с каждым ее взмахом «кукурузник» заполнялся теми, кого он оставил там, в Литве. Рядом молча села Эстер, откинула волосы, и их прядь коснулась его, Малкина, лица; за спиной задремавшего полковника опустились братья Гилель и Айзик, два лохматых богатыря, готовых в любую минуту прийти на помощь. И вдруг Господня длань исчезла; ветер подхватил волосы Эстер и вплел в облако; сквозь открывшуюся дверцу, как два отставших от стаи журавля, вылетели братья Айзик и Гилель; на Ицхака исподлобья глянули беркутиные глаза Чингиза, разящие, как наконечник боевой стрелы; джип покружил‑покружил по городу и наконец застыл на территории интендантской части.

Фронт приближался к Берлину, вместе с войсками передвигалась Ставка командующего, и Малкину пришлось летать к нему на примерки в новые прифронтовые города. Неизменными оставались только так и не назвавшийся полковник, беркут Чингиз да экипаж «кукурузника» – пилот Бородулин и штурман‑стрелок Гордеев. Единственной переменой, повергшей Малкина в уныние, было появление трех истребителей, которые поднимались в небо вслед за самолетиком Бородулина и точно следовали по его курсу. Что бы это все значило?

Господи, господи, вдруг осенило Ицхака, да они стерегут не пилота Бородулина – отца двух малолетних детей, не штурмана‑стрелка Гордеева, еще и жениться не успевшего, и даже небезымянного, как степной могильный холмик, полковника, и не его, Малкина, круглого сироту и изгоя, а мундир. *Мундир!* Что их жизни по сравнению с ним? Они все могут погибнуть до единого – только бы он уцелел, только бы его получить в срок, и ни на один день позже.

Все они – их малолетние дети, жены, невеста, Эстер, если ее не убили *там* , – были его заложниками. Странно, почему мундир не снабдили парашютом? Может, потому, что это первая примерка? Может, позже, когда он будет готов, позаботятся и об этом?

Ицхак на минуту представил, как над покоренной Германией летит на парашюте мундир маршала в сопровождении эскорта боевых истребителей, как солдаты‑победители салютуют в его честь из всех видов оружия, как поверженные немцы задирают головы и тут же слепнут от его великолепия. Он представил себе, как мундир спускается, как к нему подбегает сухопарый адъютант маршала и облачает в обнову своего благодетеля и властелина.

Вечер догрыз, как яблоко, осенний полдень. Бернардинский сад опустел, в окнах, выходящих на Кафедральную площадь, зажглись огни. Ицхак всегда испытывал какое‑то возвышенное волнение от этого чужого, но ласкового света.

Он поднялся и медленно, еще с маршальским мундиром в руках, двинулся к троллейбусу.

У выхода из парка, у раскинутого шатра, он остановился и на обклеенной боевыми листками стене прочел:

*Red Army до home!*

В шатре держали голодовку литовцы. Говорили, будто среди них был один восьмидесятилетний старик, вернувшийся из ссылки. Малкину хотелось на него посмотреть, но он не решался встать в длинную очередь сочувствующих и зевак.

Всякий раз, когда Ицхак проходил мимо этого тихого, но упорного мятежа, его посещала одна и та же мысль: как хорошо умереть от голода, когда тебя кормят давным‑давно протухшей ложью, когда все вокруг довольствуются хлебом насущным сытного равнодушия, когда выстраиваются в очередь не за тощей колбасой, а за чьим‑то, пускай и тщетным, но вдохновляющим мужеством.

Через час Малкин вернется домой, сядет у телевизора, включит Москву и, пока не уснет в кресле, будет ждать: а вдруг запоет Утесов, а вдруг, как воробей в открытую форточку, залетит крохотный, неказистый самолетик, на котором он летал на свидание с богами – земным и небесным, а вдруг ни с того ни с сего к какой‑нибудь будущей, почти забытой годовщине прокрутят пленку про парад Победы на Красной площади, и перед тем, как он, Ицхак, умрет, весь мир увидит его работу…

Телевизор старый, часто выходит из строя, Ицхак приглашает мастера, платит ему за починку. Тот правит забарахливший «Фантом», тычет в ящик и приговаривает:

– Телевизор у тебя, старик, еще неплохо дышит, к нему бы только время другое, но время, дорогой, я не ремонтирую.

Ицхак открыл дверь, зажег свет, снял с себя давно сшитое демисезонное пальто с накладными карманами, вынул из него медальон и стал на свету разглядывать своего черноокого сына. Йосель‑Яцек вспархивал в овале медальона, бил крыльями, недовольно ворковал.

Малкин подсыпал ему хлебных крошек, слушал его воркованье, и никакие облавы, никакие напасти не были страшны ни ему, ни Йоселю.

## Глава седьмая

Все зимы Малкин проводил дома. Если и выходил, то только в сквер, где соседские мальчишки лепили снежные бабы или с искусственной горки наперегонки спускались на саночках вниз, на скользкую, закованную в лед площадку. Иногда, увидев Ицхака из окна, к нему присоединялся Михаил Рубинов, усатый учитель, попавший в сорок первом под Ригой в плен и с тех пор выдававший себя за азербайджанца. Свое еврейство он упорно отрицал и после войны, хотя оно уже не каралось смертью, и, как он сам говорил, продолжал жить в плену.

– Все мы живем в плену, – уверял еврей‑азербайджанец Малкина. – Кто у жены… кто у любовницы… кто у начальства… Государство – не что иное, как необъятный лагерь пленных.

В свои почти что семьдесят лет он занимался йогой, стоял по утрам на голове, сосредоточенно медитировал и всех пламенно уверял, что именно она, йога, спасет человечество от полного одичания. Не коммунизм, не капитализм, не панисламизм, не сионизм.

Если бы человечество хоть раз в неделю стояло на голове, то в мире порядка было бы намного больше.

Малкин же придерживался того мнения, что как бы человечество ни стояло – на голове ли, на ногах ли, – порядка в мире не прибавится, пока в окрестных городах и селах водится такой зверь, как человек.

Взгляды их рознились, но их объединяло вдовство и морозы. Бывало, Рубинов вечерком позвонит, справится о здоровье Ицхака или даже заглянет на чаек. У еврея‑азербайджанца было два сына, но то ли оттого, что они не стояли на голове, то ли оттого, что с самого утра прикипали к рулю своих «волг» и, обгоняя друг друга, мчались зарабатывать деньги, Рубинову‑старшему было с ними скучно.

– В плену, в плену… – вздыхал сосед Ицхака. – Как хорошо, что хоть от денег мы с вами свободны.

– От этого свободны, – не желая терять зимнего собеседника, поддакивал Малкин. Потеряешь и на всю зиму останешься в одиночестве, живого голоса не услышишь. Натан Гутионтов до весны не появится, на полуживого Моше Гершензона даже грех рассчитывать. Если кто‑то и заглянет на часок, то только Гирш Оленев‑Померанц – выдует шкалик‑другой, совершит на диване государственный переворот, добьется от новых властей указа о своем захоронении в Понарах, и поминай как звали.

Зимний Рубинов был даром небес.

Малкин ему не перечил, слушал его рассказы про карму, про чакру, про какую‑то святую женщину Блаватскую.

Иногда Ицхак засыпал под мерный убаюкивающий говор соседа. Случалось, что они оба засыпали, и тогда кто‑нибудь из перепуганных сыновей еврея‑азербайджанца прибегал и среди ночи будил их.

Сыновья уводили пленного, и Малкин оставался наедине с темнотой. Света, однако, он не зажигал, потому что свет только подчеркивал его неприкаянность и одиночество, а из мрака, как со дна горного озера, он мог поднять все, что безнадежно кануло в небытие.

Зимняя темень кишела не только живыми существами, персонажами его детства и юности, но и всякими демонами, ведьмами, вурдалаками. Порой какой‑нибудь родственник или знакомый являлся Ицхаку в медвежьей шкуре или в россыпях рыбьей чешуи. Они рыскали по потолку или плавали между потолком и полом, подплывали к кровати, ударяли по подушке хвостами и исчезали в чернильной глубине. Нет‑нет да появлялась Эстер – только протяни руки и поймаешь ее за хвост. Но рыба‑Эстер все время ускользала, и в ушах Ицхака отдавался только всплеск, только лиственный шелест плавников.

Мрак обладал поразительной способностью приблизить и до неузнаваемости, до крика преобразить все, что было дорого, но безвозвратно утрачено. Он не щадил никого и ничего, и в этой беспощадности, в этом стремлении все исказить и обезобразить было что‑то притягательное и отталкивающее одновременно.

Ицхак пытался этому наваждению, этой нескончаемой череде фантомов противопоставить свою обыденную, столь свойственную ему трезвость, но ощущение того, что они все больше овладевают его воспаленным воображением, не исчезало.

Он избегал кому‑нибудь рассказывать о своих видениях. Не потому, что боялся советов – мол, засыпай при свете, на худой конец обратись к доктору, который выпишет снотворное, – а потому, что привык к своей тайне, и эти доморощенные, въедливые кошмары все‑таки были ему куда приятней, чем храп соседа за стеной или стук двери поутру: «Водопроводчика вызывали?».

Чаще всего в его полуснах‑полувидениях возникала Эстер, принимавшая самые разные обличья – то увертливой рыбы, то птицы с огненными перьями, то козочки с переливающейся во мраке жемчужной короной вместо рожек, то белокрылого ангела, стучащегося в расписанное узорами инея окно. Представала она перед ним и в образах вполне реальных – медсестры в гимнастерке и кирзовых сапогах, монашки в строгом черном платье с белоснежным ошейником‑воротником и суровой билетерши в столичном кинотеатре «Победа», куда они любили ходить на счастливую, беззаботную Марику Рокк, певшую сперва для надменных, захлебывающихся от своих удач немцев, а потом для них, столь натерпевшихся от этих кровавых побед евреев.

Чем больше Ицхак старел, тем присутствие Эстер становилось явственней. В короткие зимние дни и долгие, как пытки, ночи они почти не расставались друг с другом. Он слышал каждый ее вздох, каждый ее шаг. Он переносился к ней туда, где никогда не был и быть не мог.

Порой его тесная, пропахшая выпаренной материей и старой рухлядью квартира превращалась в дом лесника Иеронимаса, за окнами которого шумела непроходимая, таившая в шелесте, в сверкании, в шуршании и в писках несметное множество тайн чаща; порой – в прохладный, тенистый придел костела. Он, Ицхак, и сам чем дальше, тем чаще подвергался самым неожиданным, томившим душу превращениям.

Сколько раз он, став в мыслях на минутку лесником Иеронимасом Гайдисом, пытался сломать волю Лионгины.

Лионгина – так на протяжении четырех военных лет звали Эстер.

– Да забудь ты своего Ицхака, – жарко шептал Малкин – Гайдис.

– Это страшно, но с евреями в Литве покончено.

– Ты христианка. Понимаешь?

– Нет.

– Мертвых надо помнить. Но от них ничего не родится.

Эстер никогда ему не рассказывала о лесничестве, о дяде Игнаса Довейки лесном бирюке Иеронимасе, да Ицхак ее и не спрашивал. Христианка, не христианка, не все ли равно, ее вера его не интересовала.

Самое важное было то, что Эстер жива.

Он простил бы ей все – крещение, измену. Все, кроме смерти. Всякое могло быть, всякое. Мало ли чем расплачивались люди в те роковые годы, чтоб только их не выдали немцам – золотом, целомудрием, верой.

Когда завывала вьюга, и дверь к Малкину подолгу не открывалась, он запрягал свою бессонницу и отправлялся туда, на берега Невежиса, в чащу, где среди зверей, пчел и деревьев безропотно пережидала свою беду Эстер.

Однажды он с ней и впрямь выбрался в лесничество.

Лейбе Хазин, тогда еще работавший в госбезопасности, всячески отговаривал Малкина: куда, мол, лезете, в самое логово бандитов, вам что – жить надоело? В войну уцелели, а сейчас по собственной воле под пули…

Ицхак опасался Хазина, его милости и его гнева, но никогда не сомневался в том, что фотограф знает, где гром гремит.

– Может, не поедем? – дрогнул в последний момент Ицхак. – Подождем, когда все успокоится.

– Все успокаивается после похорон на кладбище, да и то не всегда, – отрезала Эстер. – Два года прошло, а мы ничегошеньки не знаем ни про Довейку, ни про Иеронимаса. Стыд и позор.

Что и говорить, Малкина смущало, что до сих пор не было никаких вестей о путевом обходчике Игнасе Довейке, спасшем Эстер в первые дни войны, но их неведение он не считал ни стыдным, ни позорным.

До Паневежиса два раза в неделю по довоенной узкоколейке ходил обшарпанный, провонявший мочой поезд с выщербленными скамьями и тусклыми оконцами, а оттуда до лесничества надо было добираться либо на попутной телеге, либо топать семь верст пешком. Пешком топать не пришлось – на выезде из города им попался щуплый мужичонка, правивший смирной лошадью в крупных белых яблоках, с развевающейся на ветру густой гривой и большими, затянутыми печалью, как придорожный пруд тиной, глазами.

Он ехал в том же направлении, что и они, и без всяких упрашиваний согласился подвезти незнакомую пару. Его сговорчивость и бескорыстие насторожили Ицхака, и он всю дорогу оглядывался по сторонам.

Выбитая, в рытвинах и в торчащих из‑под земли судорожных корнях колея вела все время через лес и перелески.

Возница то и дело извлекал из кармана пачку папирос и закуривал, и легкий дымок клубился над телегой, как облачко.

Малкин своей все нарастающей тревогой, как кнутом, подгонял неторопливую лошадь. Она щелкала над клячей, и было странно, что никто не слышит этого сухого прерывистого пощелкивания.

Эстер, кажется, дремала. Ее голова покачивалась из стороны в сторону и чем‑то напоминала колеблемый ветром спелый плод на уставшей от тяжести ветке.

Ицхак никогда не забирался в такую глушь, и, наверно, потому с особой остротой воспринимал каждый запах и звук, будь то упоительная трель птицы или трубное похрюкиванье кабана в зарослях.

Воздух был пасхально свеж и прозрачен. Казалось, на свете никогда не было никакой войны, никому ни от кого не надо было прятаться, все – и птицы, и деревья, и звери, и самые малые козявки – были равны и одинаково угодны Господу, да и Он сам, всевидящий и вездесущий, расхаживал поблизости по своим угодьям, которые если и были чьим‑то логовом, то только не тех, кого фотограф Хазин называл бандитами.

В душе Малкина понемногу накапливалась благодарность Эстер за то, что та вытащила его из Вильнюса, из этой огромной казармы, где, не успев отойти ко сну, уже слышишь побудку. Вставай, беги, добывай, ловчи, выкручивайся, опережай другого!

Он смотрел на круп лошади и вспоминал свою уланскую службу, своего буланого, его мохнатые, словно в плешинах мха, ноги, его раздутые, полные жизни ноздри, и ему, Ицхаку, казалось, что сейчас и он похож на него, полного жизни, норовистого, готового пуститься вскачь по этому лесу, по этому висящему над ними небу.

Вскачь, галопом, как угодно.

Однако чем ближе они подъезжали к лесничеству, тем острей саднило чувство неизбывной, казавшейся непристойной ревности к Иеронимасу Гайдису, которого Ицхак ни разу в глаза не видел и к которому он едет, бог весть, в каком качестве – то ли благодарного по гроб мужа, то ли поверженного соперника, который должен радоваться собственному поражению. Ревность сминала все красоты вокруг: и непостижимую чащу, и прорубленную через нее еще топорами крестоносцев дорогу, многоцветие кружившихся над телегой жужелиц – божьих искр, рассыпанных в пространстве, чтобы путники не заблудились. Сама мысль о том, что Эстер за свою безопасность вынужденно (вынужденно ли?) могла заплатить любовью, доставляла Ицхаку нестерпимую боль. Поди проживи четыре года бок о бок с мужчиной и не согреши… Да и как ее осуждать – ведь он мог не вернуться с войны или мог похоронить ее без времени и жениться на другой. Сколько не вернулось! Война, да еще такая, – всегда развод.

Что бы там между ней и лесным бирюком ни было, он, Ицхак, примет это как неизбежность. Он, скрепя сердце, простит ее, никогда не упрекнет и ни о чем не напомнит. Это жизнь нельзя начать сначала, а любовь – можно. Любовь всегда начало…

Вдруг протяжно заржала лошадь, и вслед за ее ржанием раздался зычный окрик:

– Стой!

Возница натянул вожжи, телега жалобно заскрипела колесами и застыла. Откуда‑то из бурелома на обочину выпрыгнули вооруженные обрезами люди. Один из них схватил под уздцы лошадь, а двое других подошли к грядкам телеги и приказали невозмутимо спокойному, видно, привыкшему к таким нападениям крестьянину и его попутчикам слезть.

– Кто такие? – обратился к вознице тот, кто только что держал под уздцы лошадь. Он, похоже, был среди лесовиков старшим.

– Не знаю, – чистосердечно признался мужичонка. – Попросили до лесничества довезти, я, дурень, и согласился.

– Взаправду дурень, – поддержал его незнакомец. – Не знаешь, кто просится, а в воз сажаешь. – И вдруг гаркнул: – Всех обыскать!

Обыск явно разочаровал налетчиков. Кроме паспортов, мешка непроданной картошки, завернутого в холстину сыра, смятых, как бы запотевших русских рублей, сантиметра с выцветшими делениями да иголки с продетой ниткой, ничего другого найти не удалось.

– К кому едете? – по‑домашнему, без всякой угрозы продолжал допрос старший, сняв с плеча обрез и поглаживая свободной рукой густую и непроницаемую, как и чаща, бороду.

– К Иеронимасу, к Гайдису, – ответила Эстер. В наступившей тишине слышно было, как мочится лошадь.

– Зачем?

– В гости. Я жила у него во время войны.

Эстер боялась повредить своему благодетелю излишними объяснениями, медленно и тяжко подбирала слова. Изредка она бросала ободряющий взгляд на Ицхака: мол, все обойдется, никакой вины за нами нет. Малкин же смотрел на вековые деревья, подступавшие к самой обочине, на больших птиц, которых он видел впервые в жизни и, как все евреи во все времена, молил Всевышнего о чуде. Ну что стоит одной из этих птах скосить глаз, увидеть его и Эстер, стремительно снизиться, подцепить их своим острым и мощным клювом, оторвать от этой трижды проклятой земли, постоянно жаждущей крови, поднять в небеса и унести отсюда навсегда, навеки куда‑нибудь на остров в океане, где под шум волн на пустынном берегу можно спокойно вылизать свои раны.

Бородач полистал их паспорта, глянул на фотокарточки, прострелил взглядом их лица и как бы между прочим спросил у Малкина:

– А ты в войну где находился?

То был вопрос жизни или смерти.

Ответь Малкин, что в Красной армии, в той самой, которая сейчас жестоко и неумолимо охотится за ними, развязка наступила бы тут же, на месте, и труп его сбросили бы в заваленную валежником канаву.

Он хорошо понимал, что от ответа зависит не только его судьба, но и Эстер. Единственное, чем Ицхак мог помочь себе и ей, было убедительное, трудно оспоримое вранье. Надо бородачу и его помощникам как‑то внушить, что его, Малкина, уже не раз на смерть гнали – в Каунасе, в Вилиямполе, а потом отправили в Германию, в концлагерь.

Так он и поступил:

– В Германии, в концлагере, а оттуда на родину вернулся.

Лесовик испытующе глянул на него, похлопал по холке приунывшую, искусанную надоедливыми лесными мухами лошадь и коротко бросил:

– Кто вернулся, а кто еще нет. – Помолчал и добавил: – Но мы вернемся… Когда вернем ее…

Глаза его вспыхнули, губы сжались.

Все ждали его решения. Но бородач не спешил, подошел к своим соратникам, смачно уплетавшим изъятый у возницы сыр, и после недолгого совещания разрешил мужичонке катить дальше, а Ицхаку и Эстер велел следовать за ними.

Успевший оглянуться Малкин увидел, как возница быстро и истово осенил крестным знамением себя, потом гнедую, потом дорогу, потом чащу, в которой скрылись его незадачливые попутчики.

В лесу было тихо и прохладно. Под ногами похрустывал валежник, и хруст его был домовитым и миротворным, предвещавшим как бы тепло и покой…

Все шли молча, цепочкой, глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться о пни или не провалиться в какую‑нибудь яму.

Хотя вокруг и владычествовала тишина, какая, наверно, стояла только в первый день творения, она угнетала Малкина больше, чем грохот орудий. Он силился представить, куда и зачем их ведут, но от растерянности ничего путного не мог придумать. Ради того, чтобы пустить их в расход? Так это же можно было сделать сразу, на проселке, не утруждаясь. Ради того, чтобы им учинить суровое дознание? Так разве же неясно, что их свидетельства и гроша ломаного не стоят? Что могут знать портной или домохозяйка? Может, их вздумали выменять на кого‑то? Но кого они в обмен на двух несчастных евреев могут получить? Мешок картошки, и тот за них не выклянчишь.

Как бы там ни было, если им и суждена погибель в этом бору, то он хотел бы пасть от пули первым. Пусть Эстер проживет хотя бы на миг дольше, чем он. Разве для любящих миг – не вечность?

Господи, почему он не послушался Хазина? Кто мог подумать, что они попадут в такую передрягу, что им придется продираться через такой лес! Почти полвека они прожили отдельно, – он, Ицхак, и эти столетние деревья, которые бесконечной солдатской шеренгой двигались на них и сжимали своим смертельным кольцом.

От немоты сводило скулы. Ицхаку хотелось заскулить, завыть, вполголоса запеть, но врожденная осторожность, не раз выручавшая его в прошлом, заставляла молчать. Молчание шаг за шагом превращало его в дерево с бесчувственной шершавой корой вместо кожи, с темным, гниловатым дуплом вместо сердца, с оставленной птицами кроной вместо головы, из которой выпорхнули все мысли.

Эстер шла впереди него, не оглядываясь, как бы чувствуя свою вину.

У обгорелой сосны они остановились. Бородач на короткое время исчез в чаще, но вскоре он вернулся с сухопарым мужчиной в выцветшей довоенной офицерской форме, не вязавшейся с пенсне на тонком, с горбинкой, носу. Он был без фуражки. Редкие русые волосы трепал залетный ветерок.

Помощники бородача подвели к нему Малкина.

– Профессия? – поправляя сползающее пенсне, спросил офицер.

– Портной, – не задумываясь, выпалил Ицхак.

– Знаем мы этих портных, которые нам в сороковом иголки под ногти загоняли, – буркнул один из охранников.

– Тебя никто не спрашивает, – одернул подчиненного мужчина в пенсне и снова обратился к Малкину. – Портные нам пока не нужны… А это кто? – ткнул он револьвером в Эстер.

– Моя жена.

– Так, так. Помню, раньше, до войны, евреи к нам на дачу приезжали. Я с их детишками вместе в озере купался. Заплывешь, бывало, за камыши и только слышишь: «Авремке, назад!», «Мендке, мешугенер, назад!». Но сейчас – не дачный сезон…

Разговорчивость офицера внушала надежду, и Малкин вцепился в нее, как дятел в ствол дерева… Стук ее заглушал сердцебиение.

– Итак, что евреям в бессезонье понадобилось в лесу?

– Господин офицер, – не давая Ицхаку опомниться, начала Эстер. – Мы хотели проведать моего спасителя лесника Гайдиса и крестного отца – ксендза Валатку.

– Ты знакома с ним?

– С кем? – спокойно спросила Эстер, и ее спокойствие поразило Малкина.

– С Валаткой.

– Он меня крестил.

Эстер замолкла, истощились вопросы и у следователя, он спрятал за пазуху револьвер, снял с переносицы очки, согрел их своим дыханием, подождал, пока запотеет стекло, протер его и, приблизившись вплотную к женщине, облегченно выдохнул:

– Лионгина. Не узнала?

– Нет.

– В прежней жизни Юозас. Органист. Не раз до твоего отъезда в город заходил к вам в лесничество… Неужели так изменился?

– Все мы изменились.

– Нет больше Иеронимаса. И ксендза Валатки нет. Некого проведать. Зря ехали, зря головой рисковали.

Малкин слушал его и беззвучно повторял благодарственную молитву.

Чего только он не наслушался о них от Хазина: они, мол, головорезы, руки у них в еврейской крови. За всех Ицхак ручаться не будет. Наверное, и этот сухопарый в пенсне не святой. Ведь вернуть себе родину, без немцев и без русских и, может, без таких евреев, как Лейбе Хазин, и при этом не пролить ни своей, ни чужой крови невозможно.

– Я провожу вас… выведу на опушку. Оттуда до местечка полверсты, не больше, – сказал Юозас и повернулся к бородачу: – Сокол! Пойдешь со мной.

– Могу и один, господин командир.

– Вдвоем веселей, – деланно улыбнулся офицер.

Видно, не доверяет, усек Малкин, который до первого ранения какое‑то время был разведчиком. Бородач и у него не вызывал доверия. Выведет на опушку и еще разрядит в них обойму. И никто их не хватится, никто слезы не обронит. Мертвые евреи никого не удивляли – за четыре года к ним привыкли. Если и удивлялись, то только живым.

Как только они двинулись обратно, деревья расступились, их смертельное кольцо разжалось, распалось на звенья. Каждый дуб и каждая сосна напоминали буланую или пегую лошадь, уносящую их от этих лесных солдат; от отвоеванного клочка их родины, который они, живя в своих норах и берлогах, делят с волками и дикими кабанами, а не с детьми и женами; от этих, начиненных порохом красот обратно в город, к преданному «Зингеру», к вымощенным или заасфальтированным улицам, к освещенным окнам, к очередям за хлебом, к бдительному Лейбу Хазину, фотографирующему сейчас уже не трупы, а мысли и намерения. Скорей, скорей к привычному, как воробьиное чириканье, быту! И никуда больше не ездить, ничего лишнего не помнить. Подальше, подальше от тех, кто участвует в этих кровавых сшибках, это не занятие для портных, это вообще не дело евреев.

Чаща стала редеть, и в проем между деревьями, застывшими, как табун, хлынул свет. Его было так много, как в детстве, как на Рош‑Хашана, когда он, Ицхак, вместе со своими братьями Айзиком и Гилелем под предводительством бабушки ходил на реку, на Вилию, топить свои грехи.

– Бабушка, – жаловался Ицхак. – Ты же знаешь, никаких грехов у меня нет.

– Ладно, ладно. Топи чужие… Мои, деда‑безбожника, отца Довида – он тайком по субботам курит… Чем больше потопишь, тем Бог к тебе милостивей будет. И ты получишь от него благословляющую подпись не на год, а на целый век!

Бабушка, Вилия, братья Айзик и Гилель, сладкие детские грехи, уклейками уплывшие вниз по течению в Неман, заслонили опушку, на которую они наконец вышли.

Над головой Ицхака кружилась бабочка‑однодневка, очень смахивавшая на офицерское пенсне, только неизвестно кем раскрашенное. Внизу струился Невежис, в котором, как в Вилии, как в каждой литовской реке, нерестились невинные грехи тех, для кого слово бабушки было словом Бога.

– Знаете ли вы, кого покрываете?

– Никого я не покрываю.

– Солдат Красной армии Ицхак Малкин, еврей, потерявший в войну всех своих близких – в роли заступника убийц! Да что там, заступника – чуть ли не ангела‑хранителя. Что полагается за такое укрывательство, надеюсь, вам известно. Не пугаю – я не судья, а обыкновенный следователь. Только предупреждаю! Если кого‑то и хотел бы видеть за решеткой, то, поверьте, не лиц вашей национальности. Может, только мы, русские, пострадали больше. В численном отношении, но не в пропорциональном. Ответьте мне на вопрос: зачем вы ездили в Паэжэряйское лесничество и с кем там встречались, и мы, как говорят в Одессе, разойдемся, словно в море корабли. Я приду к вам на Троцкую, в ателье, вы сошьете мне новый костюм, и я буду выхваляться им повсюду. Ведь жизнь у нас кочевая: сегодня Литва, завтра Украина, послезавтра Эстония.

– Я уже вам сказал: ездили к человеку, который спас мою жену. Но его не застали дома. А что до встреч, то ни с кем, кроме мужика, подбросившего нас до развилки, не встречались.

– Негусто… Нашему брату, следователю, с вами, евреями, всегда было работать нелегко, ох, как нелегко. Столько вас били, а одно из вас никому еще выбить не удалось – вашу способность ускользать от ответа. Вы народ вопросов.

– Пока вы спрашиваете больше.

– Спрашивать – мое ремесло, а не национальная черта. Могли же вы с кем‑то случайно встретиться. Случайности правят миром. Случайно родились, случайно повстречались, случайно умерли… Вглядитесь хорошенько в эту фотографию. Узнаете?

– Нет.

– Правая рука Гайдиса. Кличка «Филин». В миру Юозас Шерис, бывший органист. Особая примета: носит пенсне. Молодой… Молодой, да ранний. На прошлой неделе его люди напали на волостной центр и вырезали семью парторга – двух стариков‑родителей, детей‑близнецов и жену.

В зимние вечера, когда на заметенных снегом улицах замирало движение и никого нельзя было выманить в гости, Ицхак принимался воскрешать и высаживать то, что, казалось, было выкорчевано навсегда и не доставляло никакой радости. Ну какую радость могут доставить бородачи с обрезами в руках или хитрый, поднаторевший в допросах майор госбезопасности; неприступное, как дот, и неумолимое, как рок, здание на проспекте Сталина, которое хоть и возвышалось в самом центре Вильнюса, своими подвалами‑норами, своими кабинетами‑берлогами, своими шторами, плющом свисавшими со стен и окон, напоминало ту непроходимую чащу с ее загадочными тропами, с ее трясинами, скрытыми под зеленями, с ее буреломом – только в чаще ломало деревья, а тут – людей.

Долгую городскую зиму вместе с Ицхаком коротали безымянный мужичонка, понукавший свою покорную лошадь, бородач с обрезом, ощупывавший штаны Малкина и запускавший свои волосатые руки к нему за пазуху; майор Миров или Киров, не перестававший стращать его геенной огненной и превозносить предательство как высочайшую добродетель; хромоногий Лейба Хазин, закутанный в вывязанный женой – заботливой Леей Стависской – шарф и сновавший с доносами по городу, как со свежими пончиками; Юозас Шерис в треснутом пенсне, катавшийся за окнами с искусственной горки на санках и что есть мочи кричавший: «Авремке, назад!», «Мендке, мешугенер, назад!»

Под вечер приходила Эстер и всех разгоняла:

– Пшли вон отсюда! Пшли вон!

И в открытую дверь на мороз вылетали превращающиеся на глазах в пар собеседники Ицхака – следователи с разными погонами и манерами; доносчики; смирные лошади и многомудрые деревья, знающие больше о людях, чем люди о них; прорубленные крестоносцами просеки. Пар застывал в студеном воздухе, и все пережитое Малкиным, кружась снежной каруселью, проникало через щели в оконных рамах и возвращалось к нему снова и снова.

Зимней порой Ицхаку казалось, что он сам, и вся жизнь человеческая – не более, чем пар, клубящийся изо рта в стужу. Выдохнул и – исчез. Единственное, чего он не мог понять, – почему же между выдохом и исчезновением такое огромное расстояние.

Он тихо покрякивал, укоряя себя за то, что еще выдыхает в пустоту то ли пар, ставший жизнью, то ли жизнь, ставшую паром. Мысли изнуряли его. Он изнемогал от их обилия, от их повторяемости, от их тяжкого, изъязвляющего сердце однообразия. Невозможность их обновления мучила Ицхака – у всех его дум были один крой и один фасон. Ему хотелось придумать что‑то новое, что‑то изменить, но он не обольщался, знал, что новшества, если это не мор и не война, не появляются внезапно. Ведь и само время долго новым не бывает.

Когда делалось совсем невмоготу, Малкин подходил к «Зингеру», опускался на обшитый еще Эстер стульчик, нажимал на педаль и принимался вхолостую строчить. Так он мог строчить часами, пока усталость и сон не смаривали его. Звук работающей машинки на время примирял Малкина со старостью, с одиночеством; пораженные ревматизмом ноги обретали прежнюю упругость и подвижность; изнуренные глаукомой глаза впивались в головку «Зингера», как в шпиль Собора Парижской Богоматери; и с каждым нажатием педали он сбрасывал, словно вымокшую под весенним дождем одежду, свою немощь, и, бесстыдно молодея, облекал себя в силу, в страсть, в соблазны.

Игла обезумевшего во мраке «Зингера» перешивала всю его судьбу, прострачивала не пустоту, не воздух тесной коммунальной квартиры, а как бы пролагала стежку для всех заблудившихся на свете, для всех потерявших друг друга, для него и Эстер, для смертельно больного Моше Гершензона и его сына Счастливчика Изи, для Натана Гутионтова и его Нины, для Гирша Оленева‑Померанца и одиннадцати его сестер и братьев, для майора Мирова и органиста Шериса.

Засиживаясь за верным «Зингером», Ицхак сходил с ума вместе с ним. Но то было заманчивое, целительное безумие, и Малкин мечтал только об одном – чтобы оно длилось бесконечно. Кончится безумие – кончится жизнь.

Безумие, овладевавшее им в такие долгие зимние вечера, как эти, не имело ничего общего с обыденным, каждодневным безрассудством, которое встречалось на каждом шагу и которое кончалось самоубийствами, членовредительством, тюрьмой и ссылками.

Жить в том обыденно‑безрассудном мире ему не хотелось. Он отказывался быть его подданным и, видно, потому пытался на своем одиночестве построить свое, ни от кого не зависимое государство, в котором большинство населения составляли бы мертвые и управлял бы им один живой – он, Ицхак Малкин. Но уберечь свою республику от нашествий и вторжений живых, от какого‑нибудь гэбиста Мирова или бородача с обрезом он был не в состоянии. Ее границы против его воли свободно переходили те, к кому он питал отвращение, и те, к кому был безразличен или кого всю жизнь опасливо избегал. Вот и сейчас они крадутся к границе, которую стережет всего один человек, который является и пограничником, и основателем государства, поскольку в нем, кроме Ицхака, никто в живых не числился.

– Стой! – кричит он бородачу с обрезом.

– Стой! – приказывает он Лейбе Хазину, фотографу, спешащему в серое здание на проспекте Сталина с полновесным доносом.

– Стой! – останавливает он у самой пограничной кромки следователя‑гэбиста, вооруженного с ног до головы дубовой, непробиваемой верой в то, что все, кроме него, – враги Отечества.

Но на них его предупредительные крики не действуют. Они знают, что никакой стрельбы не будет. А если он и будет стрелять, то не смертоносными пулями, а ветхозаветными заповедями, присловьями отца и деда о добре и зле, заклинаниями и заговорами бабки и прабабки.

– Можно?

Ицхак вскинул голову. Неужели он ослышался? Неужели голос ему только померещился?

Телевизор выключен, «Зингер» дремлет – ему, наверно, снится его прежний хозяин‑немец. За окном, в маленьком, почти что нарисованном городке завывает вьюга. Но вьюга не говорит по‑русски.

По‑русски говорит еврей‑азербайджанец Михаил Рубинов.

Ицхак ленится подойти к двери. Кому нужно, тот зайдет. Он никогда не запирает дверь. И в молодости не запирал. Как только ни убеждала его Эстер – и по хорошему, и бранясь, – но он стоял на своем: от беды замками не укроешься. Радость на замок не запрешь. Что правда, то правда, все родичи запирали свою с трудом добытую радость, но она то и дело сбегала от них. А сбежавшая радость, как невеста, улизнувшая из‑под хупы, – никогда не возвращается.

– Можно? – голос окреп.

– Всегда, – обронил в тишину Ицхак, не питая никакой надежды на то, что в дверном проеме появится чья‑то голова.

Но он ошибся. Темнота родила гостей.

Услышав, как они переговариваются, Малкин доплелся до выключателя, щелчком зажег свет и, кутаясь в махровый халат с увядшим начесом, уставился на пришельцев.

Валерия Эйдлина он узнал сразу, а во втором опытным портновским глазом узрел иностранца.

– Простите великодушно, мы нагрянули без звонка, – смущенно пробормотал музейщик.

– У меня телефон не работает. Уронил на пол. До сих пор не поднял, забыл.

– Мой друг из Америки… Из Колумбийского университета. Джозеф Фишман. Снимает фильм о евреях Восточной Европы…

– Очень приятно, – натянуто сказал Малкин. – Посидите немного, я поставлю чай.

– Мы ненадолго… на минутку… – на подпорченном английскими распевами идише объяснил Джозеф.

– Он хочет и вас снять, – оправдывался Эй длин. Желая расположить хозяина, он поднял с пола телефон, вытащил из сумки перочинный нож со штопором и принялся что‑то усердно отвинчивать.

– Сперва чайку попьем. Если желаете, у меня и покрепче найдется. Целая коллекция. Чаевые за сорок лет.

Он прошел на кухню, поставил на плиту чайник со свистком, вернулся в гостиную, распахнул дверцу буфета и воскликнул:

– Армянский, грузинский, молдавский, азербайджанский! Коньяк сорокалетней выдержки! – Он извлек запыленную бутылку с наклейкой, испещренной загадочными буквами, достал три рюмки, водрузил на стол и, пресекая всякие возражения, объявил: – В честь первого и последнего американского гостя!

– Почему же последнего? – спросил учтивый американец и пристегнул блестящей скрепкой, похожей на запонку, сползающую с головы кипу.

– Потому что гости, может, еще будут, но вот хозяина… Не про вас да будет сказано, но порой жизнь напоминает затянувшиеся похороны.

– Хотя мой фильм и о последних евреях, но я вам желаю: до ста двадцати как до двадцати!

– По‑моему, – тихо, пропустив мимо ушей пожелание иностранца, промолвил Ицхак, – Америку всегда интересовали первые.

– Это правда, – подтвердил Фишман. – Но и на последних есть спрос, особенно на последних евреев Литвы и Польши.

– Вот как, – изобразил на лице удивление Ицхак и разлил коньяк по рюмкам.

– Если вы, Ицхак, согласитесь, вас увидит вся Америка, весь мир, – рассыпал дешевое просо лести Эйдлин, копаясь в чреве телефонного аппарата. – У вас там, небось, родственники.

– Была сестра Лея.

– Где? – не притрагиваясь к коньяку, осведомился Фишман, излучая щедрую и нелживую доброту.

– В Детройте… Почему вы не пьете?

– Спасибо, мне нельзя, – ответил гость и поправил кипу. – О, Детройт! О, Форд! – твердил он с восторгом. – Мои грандмазе и грандфазе тоже жили в Детройте.

Он вдруг задумался, и задумчивость, как ваятель, придала его безвозрастному лицу выражение детскости и простодушия. Взгляд его скользнул по неубранной квартире, по старой скатерти с крупными, довоенной вышивки цветами, по давно не беленным стенам и остановился на застекленной фотографии, на которой были запечатлены молодой, кудрявый мужчина с тростью в руке и невысокая женщина в шляпке, вошедшей в моду после фильмов с участием Франчески Гааль. За спиной влюбленной пары всходила, как на дрожжах, громада Эйфелевой башни.

– Париж? – спросил Фишман.

– Да. Тридцать восьмой год.

– Справа – вы, а слева?

– Моя жена. Эстер.

Ицхак потянулся к рюмке, от волнения опрокинул ее, пролил коньяк на скатерть, снова налил, но на сей раз доверху, и вкус простоявшего сорок лет напитка вдруг вернул его в маленькое кафе, напротив Оперного театра, куда он по вечерам приходил с Эстер выпить стаканчик бургундского или чашку крепкого до головокружения кофе. А, может, голова у них тогда кружилась не от вина, не от кофе, а от того, что они вместе, что рядом шумит, бурлит, куролесит, веселится, скабрезничает, целуется взасос, соблазнительно сверкает огнями великий город, который может только присниться, в котором столько же любви, сколько огней, сколько листвы на бульварах, сколько звезд над Сеной. Бецалель Минее уговаривал их остаться, обещал даже помочь с деньгами – снимите, мол, скромненькую мансарду неподалеку от Центрального рынка или подвальчик на бульваре Капуцинов и мало‑помалу выбьетесь в люди. Но они не послушались. Вернулись домой, в Литву, в родное местечко, где их знал каждый камень, каждое дерево, каждая лягушка, радостно приветствовавшая всех поутру своим бесхитростным гимном.

Что их тянуло назад? Родители? Братья и сестры? Где они сейчас, их отцы и матери? Где Айзик и Гилель? Ципора, Фейга?.. (Он, старый, порой даже не в силах все имена вспомнить!). Что было в его, Ицхака, жизни между Парижем и сегодняшним днем? Окопы под Прохоровкой и Алексеевкой, госпитали, страх перед полковником‑доброхотом, смерть Эстер, страх перед соседом‑доносчиком, перед следователем‑гэбистом, прощание с друзьями, которых увозили на кладбище или в Израиль, и чужие брюки, пиджаки, пальто – тысячи, сотни тысяч, считай, не считай все равно со счета собьешься. А у Эстер? Что было у нее? Товарный вагон на железнодорожной станции, куда ее от немцев и их подкаблучников спрятал сердобольный Игнас Довейка; лесное заточение в Паэжэреляй у Иеронимаса Гайдиса, выслеженного энкавэдистами и приговоренного к расстрелу; болезни; доктора; онкологическое отделение; глиняный холмик на дарованном властями еврейском кладбище рядом с городской свалкой? Это все, что они получили взамен за обольстительный, незабываемый Париж. Кто там наверху, в Господней канцелярии, так, а не иначе распорядился их судьбой? Или все предопределено заранее, и ни один человек, где бы он ни жил, не может это предопределение изменить в свою пользу?

– Валери, – назвав Эйдлина на непривычный иностранный лад, прервал раздумья Малкина Джозеф, – рассказывал мне, что у вас в Вильнюсе есть такой парк… парк евреев и что вы там главный…

Малкин усмехнулся:

– Парк‑то есть. Евреев нет.

– А мне никто, кроме вас, не нужен, – признался Джозеф. – Если не возражаете, завтра в десять Валери приедет за вами на такси и привезет туда. Долго мы вас не задержим. Так и вижу первый кадр: вы ходите по аллее, а вьюга заметает ваши следы.

– Прекрасно, – восхитился Эйдлин, окончательно запутавшийся в рычажках и винтиках. – Какой потрясающий образ!..

– Через два дня мы улетаем. Должны успеть все сделать: снять, проявить материал… Вы согласны?

– А если вьюги не будет? – воспротивился Малкин и снова усмехнулся.

– Будет, будет, – успокоил его американец. – Вьюги в Литве всегда будут. За них я спокоен. А с евреями надо спешить…

Он полез в карман, вынул таблетку – свой кошерный ужин – и осторожно проглотил ее, считая полностью решенной проблему завтрашней съемки.

Пока американец запивал свой скудный ужин крепким чаем, музейщик Валерий, отчаявшийся починить телефон и от расстройства чуть не опрокинувший на него бутылку грузинского коньяка, успел нагнуться над Малкиным и по‑литовски прошептать:

– Вам заплатят… долларами.

– За что?

– За съемки…

– А кто мне заплатит за то, чего снять нельзя? – выдохнул Ицхак. – Или вы просто пришли ко мне как на могилу? Возложите по цветочку и уедете в Нью‑Йорк.

Фишман вежливо выслушал коротенький урок литовского, но понял только одно слово: Нью‑Йорк.

Гости снова принесли свои извинения и стали собираться. Малкин проводил их до прихожей.

– Большое спасибо. До свиданья, – сказал Джозеф и, повернувшись к Эй длину, перешел на английский: – У меня уже, Валери, руки чешутся. Кадр получится, достойный Феллини: молодой провинциал‑еврей, турист из Литвы, с тростью в руке на фоне Эйфелевой башни и он же – глубокий старик, следы которого под чтение кадиша заметает вьюга.

Когда гости ушли, было уже за полночь. В соседних окнах давно потух свет. Но Ицхак никогда раньше и не ложился.

Он был приятно взволнован то ли от выпитого грузинского зелья, то ли от предстоящей съемки. «Кроме вас, мне никто не нужен». Выбор американца льстил его самолюбию, нет‑нет да просыпавшемуся, как забытый вулкан – ни с того ни с сего извергнется и обдаст горячим пеплом. Правда, чувству приподнятости мешало то, что он как бы присваивает себе печальную радость других – Натана Гутионтова и Гирша Оленева‑Померанца. Разве они не заслуживают того, чтобы их сняли, чтобы их увидел весь мир? Например, Лариса в Израиле. Есть и у Гирша Оленева‑Померанца, наверно, где‑нибудь родич в Гватемале или Уругвае. Еще отец Довид говорил, что две вещи всегда найдутся у еврея: хворь и родственник. Может, если будет названо его, Ицхака, имя, кто‑нибудь в Детройте или в Париже, откинувшись в мягком кресле, воскликнет в голубых сумерках: «Да это же наш дядя Малкин, брат мамы!» или «Смотрите, смотрите! Неужели папин ученик, муж тети Эстер?»

Ицхак покосился на стол, снова налил себе полную рюмку (Что это с ним стало? За последние три десятилетия он не высосал столько, сколько за один этот вечер!) и медленно выцедил. Перед сном полезно. Хотя он вряд ли сегодня так скоро уснет. В последнее время он вообще почти не спит. Думает. Больше всего о смерти. Ицхак и для нее держит дверь открытой. Наверно, для нее в основном и держит. Прошлой зимой она перепутала двери – пришла к соседу‑литовцу, – поленилась подняться этажом выше.

Нет, он не будет убирать со стола – пусть стоят эти рюмки, эти чашки, и эта бутылка. Пока в доме не убрано, ты жив. Господи, когда и от кого он это слышал? Он оставит все как есть. Может быть, среди ночи встанет и еще рюмашечку клюкнет. Коньяк горячит кровь, прочищает заросшие, как чертополохом, ненужными словами уши. Сколько он их наслушался на своем веку!

Нужных было так мало, так мало.

– Я тебя люблю, Ицхак!

Они, эти слова, далеким и чистым эхом докатываются до него из другого времени, из другого века и волнуют так, как будто Эстер произнесла их только вчера. Самые нужные, хоть и давно отзвучавшие слова в его жизни.

За окном куролесит ветер. Завтра будет вьюга, завтра Ицхак приедет в Бернардинский сад как на собственные похороны и вопреки всем обычаям сам над собой прочтет кадиш, завтра сквозь чертополох бессмысленных слов на английском, на литовском, на идише снова пробьется:

– Я люблю тебя, Ицик.

Она будет с ним рядом, и вьюга никогда не заметет ее следы, ее слова, ее волосы.

Надо лечь, попытаться уснуть, чтобы к утру набраться сил. Одному Богу известно, сколько раз тебя прогонят из конца в конец парка, прежде чем снимут.

Можно не раздеваться. Так, пожалуй, лучше – встать, накинуть на плечи потертое зимнее пальто (шубу‑то он еще в прошлом году продал!) и прямо в такси. Нечего, как говорит Гирш‑Оленев‑Померанц, выпендриваться. Он, Ицхак, не киноартист. Сойдет и пальто, и шапка из выдрового меха, и нечищеные ботинки. Когда стоишь одной ногой в могиле, то тебе надлежит заботиться не о том, надраена ли до блеска обувь, а о том, чиста ли твоя душа.

Ицхак похлопывает рукой «Зингер», как лошадь по крупу, и направляется в другую комнату к кровати. Валится на перину, закрывает глаза, но сон упрямо не идет. Мысль бодрствует, как зеркало, и ничем ее не занавесить.

В изголовье стоит Эстер, просится в постель, но он ее не пускает. Не пристало дряхлому старцу лежать с молодой. Ицхак не желает, чтобы она заразилась от него старостью и немощью. Он знает, как заразна старость – к чему ни прикоснется, к дереву ли, к человеку ли, к камню ли, все дряхлеет, ветшает, плесневеет.

Дребезжа, к кровати подъезжает «Зингер». С ним тоже не уснешь: он выбрасывает в ночь тысячи и тысячи нитей, и каждая из них, наматываясь на шею, тянет Ицхака куда‑нибудь – в Париж, в Гданьск, в Берлин, в Москву на Красную площадь.

Старик «Зингер» переживет его, старика. Кто‑нибудь после смерти Ицхака заберет машинку себе. А, может, поговорить с Мажуйкой, пусть он вместо надгробного камня на могилу «Зингер» поставит, штырем к земле прикрепит, забетонирует. Был бы памятник всем портным Литвы – и тем, кто на этом кладбище лежит, и тем, кого в Понарах убили. И ему, Малкину. А что? По ночам, глядишь, отовсюду собирались бы и по очереди строчили бы: кто брюки, кто жилетку, кто еще что.

Ицхак так увлекся своей придумкой, что не почувствовал, как засопел.

Он окунулся в сон, как в теплую воду Вилии, и все, что его угнетало в повседневности, вдруг расплескалось, размылось, отступило. В него бесшумно и непрерывно вливались немыслимо далекое, почти забытое детство, бедная, но счастливая молодость – они омывали его раны, выносили на поверхность не его утраты, а радости, придавленные многослойным илом времени.

Спрыгнул с крыши кот рабби Менделя и повел его к синагоге, где стояла хупа, и уже ждали все приглашенные. Пожаловали даже Хаим Пагирский, подаривший к свадьбе все необходимые пряности и сласти, и чванливый мельник Гольдштейн, распорядившийся доставить в дом жениха два мешка отборной муки для пирогов.

– Добро пожаловать, – поприветствовал Ицхака рабби Мендель, наклонился и что‑то прошептал своему пушистому любимцу. Кот согласно замяукал, бросился прочь и через мгновение притащил в зубах, как мышь, бархатную ермолку.

Ицхак надел ее, и тут в сон, как диковинная рыба, вплыла скрипка клезмера Лейзера. Лейзер приложил ее к плечу, тронул смычком струны, и веселая свадебная мелодия соединила всех за столом в один оркестр.

Братья Айзик и Гилель пустились в пляс, за ними зацокали каблучками сестры Эстер – Хава, Ципора, Мирьям, Злата и Фейга, все безмужние, все еще с закрытыми для женихов закромами, полными плодов, а за ними – такого никогда не было! – завертелся, закружился отец Довид.

– У, у, у! – заукал он, как филин.

Ему дружно вторила вся свадьба.

– А почему жених и невеста не танцуют? А ну‑ка в круг!

Эстер, вся в белом, с огромной алой розой в волосах, смущенно поглядывала на него, на Ицхака, но он и не думал вставать из‑за стола.

– В круг! В круг! – неистово требовала свадьба.

– Сынок! – взмолилась мать Рахель. – Не порть праздник…

– Но я шестьдесят лет не танцевал, – прохрипел Ицхак.

– Ха‑ха‑ха!

– Да твоему отцу еще и пятидесяти нет. Что же получается – он твой отчим? Или, может, сын? Хо‑хо‑хо!

Под восторженные клики, под самозабвенный хохот, под довольное чавканье и под веселый стон скрипки, воткнув руки в боки, Ицхак принялся выписывать вокруг своей избранницы Эстер какие‑то замысловатые па. Он едва передвигал ноги и то и дело оглядывался на сотрапезников и танцоров, на музыкантов и местечковых нищих, столпившихся в дверях в ожидании того часа, когда гости покинут свадьбу, и все, что не будет съедено и выпито, достанется им.

Нищие ободряюще кивали Ицхаку, и он, ежась от воровато сочувственных кивков, отворачивался от них и устремлял свой взгляд к потолку.

– Лехаим!

Ицхак заворочался во сне, но не проснулся. Через минуту‑другую он снова услышал гомон свадьбы и увидел себя, старика, снова в кругу, рядом с огромной, пылающей, как летний закат, розой, которая отбрасывала свет на его седину, на его морщины, на помятый пиджак.

Господи, неужели никто ничего не видит? Не видит его позора, его старости, его нищеты, несоизмеримой с убожеством столпившихся на пороге побирушек? Неужели и Эстер не видит, не слышит, как он кряхтит, как стонет, каким тленом дышит ей в лицо? Бежать, бежать, бежать! Куда глаза глядят да поскорей! Но попробуй стронься с места, когда тебя тоненьким звуком скрипки как бы пришили к половицам, а музыка не затихает, одна мелодия сменяет другую, и роза в волосах Эстер не удаляется, а приближается, касается твоего лица, глаз, щетины, губ, и от этого прикосновения все твое существо дрожит и каменеет.

Да тут еще откуда‑то сверху, с потолка, куда снова устремился его взгляд, на свадебный стол, на яства, на всех сидящих и танцующих, на Хаима Пагирского и мельника Гольдштейна, на нищих, на родных и посаженных братьев, на подружек и сестер вдруг начинают падать легкие неудержимые снежинки.

Их становится все больше и больше. Уже идет снегопад, неожиданный и обильный. Все вокруг в хлопьях снега. Они застилают пол, подносы, тарелки. В белизне тонут пироги и фаршированная рыба, гуси с яблоками и рубленая селедка, тейглэх – печенье, вываренное в меду, и имбирные сладости. Клезмер Лейзер смычком смахивает снег с праздничной ермолки; барабанщик с многострадального барабана счищает палочками белые лепешки; заснеженные нищие с обидой поглядывают на заснеженных родителей жениха и невесты – чего, мол, ждут, пусть только знак дадут, и все навернем мигом, крошки не останется.

В доме переполох, смятение.

Откуда на Рош‑Хашана, на еврейский Новый год, снег? Как он может валить на свадебный стол, если только в прошлом году наново перекрыли крышу?

А снег валит и валит.

Сугробы уже по колено, по пояс, по шею. Только роза в волосах Эстер багровеет. Только роза…

Ицхак слышит, как на улице метет поземка, как крепчает вьюга, как задувает в щели, и оттуда, из сна, натягивает на себя сползшее одеяло и снова пытается вернуться на свадьбу, но *там* никого нет, *тот* снег растаял, растаяли, как сугробы, родители и самые почетные гости – лавочник Пагирский и мельник Гольдштейн; нищие съели все яства, перемешанные со снежными хлопьями, клезмер Лейзер навеки зачехлил свою скрипку, смахнув вместе со снежинками всю свадьбу, все местечко. Все, все, все…

Только роза Эстер багровеет в волосах.

Ицхак высвобождает из‑под одеяла руку, тянется к пылающему цветку и открывает глаза.

В зеркале он видит, как по противоположной стене степенно и непугано ползет большой таракан. Таракан шевелит усами и что‑то выискивает.

Что он ищет, проснувшись, подумал Ицхак. Что, собственно, мы все ищем?

Шаги в прихожей отпугивают и таракана, и мысли хозяина.

– Ицхак Давидович! – раздается профессионально доброжелательный голос Эйдлина. – Я за вами. Вы еще спите?

– Нет.

– Прошу прощения, но американцы любят пунктуальность.

Малкин быстро одевается и спускается вниз.

Во дворе холодно и вьюжно.

Водитель включает дворники, но за ветровым стеклом видна только вьюга.

А, может, это только Ицхак не видит ничего другого.

## Глава восьмая

Ицхак никогда не думал о Нем столько, сколько в эту затяжную и, как не раз ему казалось, бесконечную зиму. Может, только в далеком, призрачном, словно старинный сон, детстве Господь Бог так до боли зримо представал перед ним в каждой падавшей за окном снежинке; в дуновении ветра, выстуживавшем дыхание; в нахохлившемся озябшем снегире, взобравшемся на подоконник только для того, чтобы хоть на один вершок быть ближе к Тому, кто его когда‑то, в теплые и незапамятные времена, создал; так неумолимо‑ревниво следил за всеми его поступками, так неотвратимо просеивал через свое невидимое сито его мысли, то витая далеко в небесах, то воплощаясь в его, Малкина, близких – живых и мертвых.

Поначалу Ицхак не мог найти объяснения странно возникшей связи с Тем, кого испокон веков принято называть Царем всего сущего на земле. Раньше он вроде бы не морочил себе голову вопросом, существует ли Всевышний для компанейского времяпрепровождения или просто придуман каким‑нибудь сметливым, изнывающим от одиночества и скуки пастухом на горах Иудейских, который если и изливал на пастбище душу, то уж, наверно, не счастливым от очередного приплода и собственной глупости овечкам и не агнцам‑задирам, бодавшим целый день небосвод своими набухающими, как почки на деревьях, рожками.

Последний раз Малкин, кажется, шептал подобие молитвы на передовой, где‑то под Прохоровкой, у полуживой ветлы, шелестевшей своими задымленными ветками над окопом. Но то, что он шептал, и молением‑то не было, а так, испуганным бормотанием, шелухой из невнятных и смятенных звуков. От каждого слога молитвы почему‑то пересыхало в горле, как будто Ицхак обращался за незаслуженной защитой не к еврейскому Богу, а к залегшему в двухстах метрах на взлобке немецкому снайперу.

Но и тогда Малкин связывал то, что он выжил в том огненном, сжимавшемся с каждой минутой кольце, скорее с везением, промахом немца‑снайпера, чем с заступничеством Господа Бога.

Сейчас же все было по‑другому, как будто его и в самом деле вернули на три четверти века назад, в детство; вложили его руку в морщинистую ладонь бабушки, и он безропотно поплелся за ней, как изголодавшийся котенок к миске со сметаной, на богослужение в синагогу, на второй ярус, где день‑деньской клубилось не благочестие, а стоял сварливый старушечий грай.

Теперь же, в эту, местную, Хоральную, синагогу Ицхак – не ходок, его туда ничем не заманишь. Сходил раз и зарекся – больше его ноги там не будет. Ругань, сплетни, торги. Рабби – недоучка из Англии, габай – пронырливый снабженец из промторга, ест свинину и спит с литовкой, богомольцы за участие в богослужении мзду получают – двадцать долларов в месяц. В роду Малкиных никто не молился из корысти. Недаром рабби Мендель говорил: «Дьявол платит наличными, а Господь Бог от нас самих требует платы каждый день, каждый час, каждую минуту». Двадцать долларов, конечно, на дороге не валяются, но и душе негоже валяться в грязи, даже если под ней и золотые слитки сверкают.

Примерно то же самое сказал Ицхак американскому профессору Джекобу Фишману, когда тот предложил ему как патриарху, как орденоносному воину сняться на Хануку со всеми богомольцами в синагоге и зажечь первую свечу. Спасибо, мол, за честь. Хватило с него вчерашних съемок – приехал домой чуть живой, ноги гудят, как телеграфные столбы, на лице все еще румянец от мороза горит, и голова кругом идет от взвихренных то ли ветром, то ли тоской мыслей. Хорошо еще – он отказался отвечать на вопросы и вслух рассуждать о будущем евреев. На кой черт американцам его вымокшие в крови и заметенные золой ответы. У него вообще нет ответов ни на что – даже на то, что его больше всего теперь волнует: «Зачем он жил? Зачем Господь Бог создал человека по своему образу и подобию? Что же это, да будет позволено спросить, за подобие? Чем, например, безногий Натан Гутионтов подобен Всевышнему? Или проживший корявую, жадную до запретных удовольствий – во всяком случае для Малкина неприемлемых, – жизнь Моше Гершензон? Или в чем тождество Всевышнего с ним, Ицхаком? Разве он скроен по Божьей мерке? Еще год тому назад Малкин ко всему этому – к Создателю, к серафимам и ангелам, к раю и аду – относился как к ожившим воспоминаниям, ничем, по сути, не отличавшимся от проводов сестры Леи в Америку или службы в уланском полку в Алитусе, – нахлынуло и под утро растает бесследно. Ему казалось, что приобретшие расхожие, обиходные черты небожители, ставшие на старости лет его каждодневными спутниками и соглядатаями, не что иное, как повторяющееся изо дня в день сновидение, как вторгшаяся в его унылые будни бабушкина сказка – старуха довяжет носок, уронит спицу, и вместо звуков тимпанов и арф, вместо Господних упреков и назиданий он, Ицхак, услышит домовитое поскребывание мыши или стрекот теплолюбивого сверчка за радиатором.

Но все оказалось куда сложней.

Придя поутру в Бернардинский сад, Малкин уже не оглядывался на маячившую на Кафедральной площади колокольню, из‑за которой обычно выныривали и Натан, и Моше, и Гирш, а бывало, и Лея Стависская и ночная еврейка – пани Зофья. Нет, нет, он был рад приходу каждого из них, но и их отсутствие уже его не тяготило, как прежде. Может, поэтому он и созванивался с ними реже, чем обычно. Позвонишь и услышишь те же самые жалобы – на здоровье, на власть, на проклятую старость.

У Господа же было великое преимущество перед всеми – Он молчал, Он только слушал.

Все чаще оставаясь один, Ицхак вспоминал деда по матери Шимена Минеса, вольнодумца, почти еретика, его вечные перепалки с бабушкой.

– Ты хоть бы на Иом‑кипур сходил в синагогу. Хоть бы один разок в году, – стыдила его старуха.

– Если Он тебе что‑то новое скажет, ты же все равно не вытерпишь и расскажешь мне, – отбивался он. – Зачем нам Его вдвоем слушать?

Бабушка багровела, как спелая, только что очищенная свекла, но ничего с ним не могла поделать. За всю свою долгую жизнь дед ни от нее, ни от Бога ни одной стоящей новости не услышал.

Ицхак сам толком не знал, какую новую весть он ждал от Него. Но ему напоследок хотелось что‑то услышать – его уши и душа были открыты нараспашку, и Малкин был уверен, что Бог его не обманет: в последнюю минуту, в предсмертный миг Всемогущий наклонится над ним и прошепчет какое‑то слово, только ему, Ицхаку, предназначенное. У Него для каждого приготовлено такое слово. Не Его вина, что люди сами отказываются выслушать то, что Он им скажет, – они оглушают себя кто чем: одни – звоном серебра и золота, другие – шелестом лавровых венков, третьи – бряцанием оружия.

Чувство сопричастности к дотоле неведомой тайне, зависимости от нее было настолько непривычно, что Малкин решил поделиться своими непростыми ощущениями не с кем‑нибудь, а с язвительным Гиршем Оленевым‑Померанцем, набожностью никогда не отличавшимся, но обладавшим, по мнению Ицхака, недюжинным воображением, возносившим его над землей.

– Слушай, – без всяких обиняков начал Малкин. – Он к тебе никогда не приходит?

– Кто?

– Он, – Ицхак воздел указательный палец вверх.

– Бог?

– Ага, – облегченно выдохнул Малкин.

– А что ему у меня делать? – повел мохнатой бровью Гирш Оленев‑Померанц. – Пить не пьет, в преферанс не играет, к бабам не ходит.

– Я серьезно.

– И я серьезно.

Гирш Оленев‑Померанц задумался, достал из кармана сигареты, закурил и, пристально следя за колечками дыма, продолжал:

– Раньше я думал, что Он действительно наш отец.

– А разве не отец?

– Отец, – согласился флейтист. – Но беглый.

– Скорее, мы с тобой беглые дети.

– Беглые дети? Может быть, может быть. – Гирш Оленев‑Померанц снова задумался. Он неотрывно смотрел на поднимавшиеся кверху колечки и, казалось, сам, превратившись в невесомый, тускло голубеющий дымок, воспарял к обложенному гнойными декабрьскими тучами небу. – Ты, Ицхак, не поверишь, но однажды – дело было в начале сорок восьмого года, до моей посадки – я криком Его просил:

«Приди! Приди! Если ты и впрямь Бог евреев!». Я распахнул перед ним все двери и окна, открыл зачерствевшую в войну, как ломоть сиротского хлеба, душу, соскреб с себя всю грязь и копоть. Я кричал ему: «Яви свое милосердие!»

– И что?

– Он не пришел. К нам, Померанцам, он никогда не приходил, словно мы были прокаженными.

Флейтист замолк и уставился на Малкина залитыми, как светом барачной лампочки, глазами.

В Бернардинском саду было бело и тихо. Шурша, падали снежинки, и их шуршание делало тишину то ли праздничной, то ли поминальной.

– Может, не будем больше? – зашмыгал носом Гирш Оленев‑Померанц. – Давай о чем‑нибудь другом…

Малкин был подавлен. Неужели всемилостивейший Господь ничего о Гирше Оленеве‑Померанце не знает? Неужели ангел‑письмоводитель ни разу не принес к Его престолу записи, где говорится и о попытке пролить кровь за Израиль – обитель Бога на земле, и о лагере на Колыме, в конце концов, о жутких Понарах. Ведь тогда у Гирша Оленева‑Померанца в жизни еще не было ни забегаловок, ни ресторанов – в них он стал подрабатывать только после возвращения с Воркуты. Почему же Он не услышал его мольбы? Какой же Он Бог, если у него нет ни капельки сострадания?

– Не хочешь – не рассказывай, – разочарованно, чуть ли не с обидой протянул Ицхак, – сетуя и на Гирша Оленева‑Померанца, и, кощунственно, на Создателя.

– Господь Бог не пришел… Пришел мой тесть – майор КГБ Адамишин. Я был женат на его дочери Лиле. Мы вместе учились в консерватории – она на хормейстерском, а я на инструментальном. Валентин Петрович церемониться не стал и уже на пороге объявил: «Чтобы с Лилей больше не смел встречаться. С сегодняшнего дня она и Толик – Толиком звали моего трехлетнего сына – будут жить у нас. Не послушаешься – пеняй на себя. Управу на тебя найдем…» И хлопнул дверью. Лиля плакала, умоляла, грозилась, беременная, покончить с собой. Ничего не помогло. Бог‑Адамишин перевел ее в московскую консерваторию, а Толика взял к себе и приставил охрану. Когда Лиля родила, они все переехали из непокорной, не прекращавшей отстреливаться Литвы в Загорск. Валентин Петрович перекинулся с лесовиков с обрезами на попов с кадилом – он был, как сейчас говорят, специалистом широкого профиля. У меня есть подозрения, что перед отъездом он успел приложить руку и к моему аресту.

Гиршу Оленеву‑Померанцу, видно, было больно все это вспоминать. Но то, что долгие годы пролежало под спудом и нагнаивалось, давно требовало выхода – от долголетнего молчания и утаивания гнойник только набухал – еще немного, и он разольется, и к пораженной плоти прибавится и неисцелимо пораженная душа.

Правдивость Гирша Оленева‑Померанца, порой доходившая до самоистязания, всегда подкупала Ицхака. Он ценил его распахнутость, его безбоязненность – в нем было что‑то детское, незащищенное, Гирш Оленев‑Померанц напоминал наспех раскрашенную мишень, в которой не было ни одного непростреленного места и которая как бы сама взывала к стрелку: «Пли! В меня невозможно промахнуться!»

Они кружили по Бернардинскому саду, как арестанты по тюремному двору.

Флейтист ловил ртом падающие снежинки, которые таяли на кончике языка; глаза у него были закрыты, только веки подрагивали, как крылышки разбуженных по весне мошек.

– Люди – дураки, – заговорил он. – Боятся смерти. – Помолчал и добавил: – Бояться надо жизни. А я ее никогда не боялся. Я все время хотел ее как женщину. Я каждый день говорил ей: «Разденься и ложись в постель. Будем заниматься любовью с утра до вечера и с вечера до утра…» Я никогда не говорил: «Я устал, хватит, желаю от тебя освободиться. Пшла вон! К черту твои протухшие постели, твои дешевые ласки, твою обманчивую мишуру!» Мне всегда ее было мало. Даже в лагере я цеплялся за нее, как за подножку поезда. Только бы не сорваться, только бы попасть в тамбур, а уж оттуда, мол, снова на перины, в объятья, морду в шампанское… Ты вот, Ицхак, говорил о Боге. А можешь ли ты назвать лучшее, что Он создал? Что ты так на меня смотришь?

– Не знаю.

– Хитришь, Ицхак, хитришь.

– Право, не знаю, – с нажимом повторил Малкин.

– А я, так любивший житуху, так хватавший ее за титьки, знаю. По‑моему, лучшее, что он создал – это, только не наложи в штаны, смерть. Согласен?

– Как бы мне плохо ни было, я всегда голосовал за жизнь, а не за ее противницу…

– Напрасно. Смерть – так мне, Ицхак, кажется, – справедливей. Нет бедных мертвых и богатых мертвых. Нет мертвых отцов, которые разлучают своих мертвых дочерей с их мертвыми мужьями, русские ли они, евреи ли, китайцы ли. Нет мертвых стукачей и тюремщиков, как нет мертвых мучеников и узников.

– Обе одинаково несправедливы. Ибо приговор вынесен до суда – он известен заранее.

– И все‑таки пожизненное заключение хуже!

Гирш Оленев‑Померанц ржавой пилкой голоса пилил морозный воздух.

Вокруг, кроме них, никого не было.

С Кафедральной площади доносился басовитый звон колокола, который сзывал прихожан в собор. Старая, дышащая на ладан власть вернула им в надежде на то, что они у Бога вымолят для нее еще годик‑другой жизни.

Что этот колокол, подумал Малкин, по сравнению с тем несмолкаемым громом, который перекатывается по кровеносным сосудам Гирша Оленева‑Померанца и разрывает его маленькое съежившееся сердце, до которого никакой власти никогда не было никакого дела.

– Ты их потом нашел? – стараясь отвлечь Гирша Оленева‑Померанца от мыслей о смерти, спросил Малкин.

– Кого? – не сразу сообразил флейтист. Лицо у него было отрешенное, как будто застывшее на морозе, только в глазах, как в спиртовке, пламенел исцеляющий огонь.

– Лилю и Толика.

– Нет. Два года искал. Писал в Москву. Чуть ли не Сталину в Кремль. Я еще тогда в него, негодяя, верил… Ответ отовсюду был один и тот же: «Таковые не числятся». Во всей огромной стране не оказалось ни одного нужного мне Померанца и ни одной Адамишиной. Не было, и все. Улетучились, испарились. Отняла у меня Родина детей, как котят у кошки. О том, кто должен был вот‑вот родиться, я вообще ничего не знаю. Слышал только от товарища‑саксофониста, как будто и второй – мальчик. Может, правда, а, может, брехня.

– Больше не искал?

– Какой смысл? – он потер лоб и выдавил: – Считай, что они погибли вместе с бабушкой и дедушкой, с тетками и дядьями тут, в Вильнюсе, в гетто. Построили всех в колонну и угнали в Понары. Разве не все равно, кто стоял на краю ямы с автоматом – немец ли, литовец‑полицай или майор Валентин Петрович Адамишин…

Поднялся ветер. Он принялся швырять в лицо крупные хлопья снега, слепить глаза, заметать дорожки.

– Пора, Ицхак, домой. Синоптики к вечеру вьюгу обещают. И вообще парку евреев – каюк.

– Парку – нет, а евреям – да, – горько усмехнулся Малкин. – Может, еще годик продержимся.

– Вряд ли. Моше Гершензон со смертью борется. Как ни сражайся, а вместо желудка протез не вставишь. Натан Гутионтов женушку сторожит. Надо будет весной торжественное закрытие устроить, письма по всему свету разослать – твоему тезке Ицхаку Шамиру в Израиль, Джорджу Бушу в Америку, Франсуа Миттерану во Францию, Маргарет Тэтчер в Англию, – Гирш Оленев‑Померанц вдруг замурлыкал: – «Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наши звезды, как сказал поэт…» Горбач со своей Раисой сам, без всякого приглашения, примчится. Михал Сергеич как‑никак нашему брату ворота к счастью открыл. Во всех странах, кроме собственной. Я договорюсь со своими корешами, сколотим оркестрик, начнем естественно с «Хатиквы», потом для равновесия сбацаем «Союз нерушимый» и на десерт «О, Литва, отчизна наша…», как говорится, с заделом, а потом грянем что‑нибудь из нашего детства – «Из гевезн а мол а пастехл» или «Розинкес миг мандлен». Со всего мира съедутся теле– и радиорепортеры, они будут вести прямой репортаж на свои страны… Как же – закрывается единственный в мире парк ненужных евреев! Уверяю тебя: успех будет грандиозный. Мы станем на один вечер героями всей планеты! Хотя что я тебе объясняю – говорят, ты уже стал кинозвездой.

– Откуда ты знаешь, – насупился Малкин.

– Смешной вопрос. Евреи обо всем узнают первыми и забывают о том, что узнали, последними. И еще кое о чем я прознал.

– О чем?

– Что у тебя, старина, не дом, а винный погреб. Это правда?

Малкин сконфузился.

– Сам в рот не берешь, а чаевые всю жизнь принимал только в виде отборных коньяков… Для кого, скопидом, их приберегаешь?

– Для гостей.

– Брось заливать! Какие в нашем возрасте гости? Кончились хозяева, кончились и гости. Или ты еще кого‑нибудь ждешь?

– Никого не жду, – сдался Ицхак.

– Тогда пошли к тебе!.. Не бойся, все не выпьем… Немножко и для Машиаха оставим.

Гирш Оленев‑Померанц пил на удивление мало и неохотно, подносил рюмку ко рту, пригубливал, смаковал, как дегустатор – со сладостной брезгливостью и пресыщением и неотрывно смотрел на противоположную голую стену, к которой был прислонен облупившийся «Зингер» и на которой рядом с вальяжным маршалом Рокоссовским и самодовольным, пышущим ученостью и здоровьем Бецалелем Минесом, парижаниным, висела цветная фотография из какого‑то английского иллюстрированного журнала, изображавшая Иерусалим – площадь возле Стены Плача, запруженную солдатами в белых вязаных кипах.

– Иерусалим, – держа на весу рюмку, хрипло произнес флейтист. – Какие ребята, а?

– Ничего не скажешь – орлы, – буркнул Малкин.

По тому, как вел себя Гирш Оленев‑Померанц, по его дремучим, полным недосказанностей и намеков разговорам, по непривычному равнодушию к спиртному Ицхак понимал, что тот не спешит выкладывать самое важное. Он терялся в догадках, однако ничего путного ему не приходило в голову. Ясно было одно: у Гирша Оленева‑Померанца вызревало – а, может быть, уже вызрело – какое‑то трудное решение, о котором он Ицхаку сегодня и поведает.

– Может, все‑таки махнем туда? Сейчас там не то, что у нас – пятнадцать градусов тепла, солнце светит, пальмы зеленеют, евреи вокруг. Куда ни ткнешься, свой человек – еврей.

– Еврей – свой человек, пока с ним дела не имеешь, – ухмыльнулся Малкин.

– А нам‑то что – все равно в свою тундру вернемся. Поехали! На билет, небось, на съемках заработал.

– Бесплатно я…

– Не предлагали, что ли?

– Мало ли чего предлагали…

– Олухами мы были и олухами помрем. Твои американцы на нас неплохие мани делают. А мы таем от счастья, что на нас внимание обратили, что раз в жизни на пороге смерти заметили. Господи, господи, кто бы мог подумать, что могилы станут товаром, что рвы будут приносить дивиденды.

– Ты же сам с могил дань собираешь, – огрызнулся Малкин.

– Что правда, то правда. Лучше бы мне до таких дней не дожить.

– Я им и о тебе… то есть о вас обо всех говорил, – стал нелепо и горестно оправдываться Малкин. – Я им сказал, что ты можешь та‑ко‑е поведать! Даже адрес твой дал. Неужели они тебя не нашли?

– Нашли… На кладбище. Я как раз надгробие Тростянецких расчищал.

– Сняли?

– Сняли, сняли. Повезли в Понары и до самого вечера, пока не стемнело, допрашивали, что и как было, – Гирш Оленев‑Померанц придвинул к себе бутылку и стал разглядывать причудливую армянскую надпись на наклейке, похожую на следы птичьих лапок на неопороченном прохожими снегу. – Первый раз пленку не так зарядили. Пришлось все повторять сначала – и про то, как я в ту далекую августовскую ночь сорок первого выбрался из доверху заваленной трупами ямы, и про то, как в темноте, голый, дополз до какой‑то усадьбы, как увидел на огороде чучело в шляпе, в дырявом пиджаке и в полотняных брюках с обрезанными штанинами, и про то, как напялил на себя все это отребье и побрел куда глаза глядят. Они меня слушали, раскрыв рот, как наши предки – Бога у подножия горы Синай, а я, неблагодарный, хамоватый, смотрел на них, на залетного американца с новехонькой камерой в руке, на этого нашего, в очках, с благочестивой бородкой – чистеньких, ухоженных, как декоративные цветы в раскрашенной вазе, и такая злость меня взяла, такая злость, сам не знаю на кого – на себя, на них, на весь мир.

Малкин не спускал с него глаз. Он все это впервые слышал.

Гирш Оленев‑Померанц избегал рассказов о своем военном прошлом, ограничивался общими фразами, боялся, видно, что не поверят, скажут, что все придумал, присвоив себе эти страшные муки либо для того, чтобы производить впечатление на мужчин – заведующих отделами кадров и знавших об оккупации понаслышке, либо на чувствительных, неравнодушных к душещипательным сюжетам дамочек. В самом деле – где тот свидетель, который мог бы подтвердить все рассказанное им? Таких свидетелей не было и не будет. Ведь свидетельства мертвых в расчет не принимаются.

– Столько лет мы с тобой знакомы, и ты все это от нас утаивал, – тихо, стараясь не уязвить Гирша Оленева‑Померанца, проронил Ицхак. – Говорил, что сбежал от безносой, перешел линию фронта, попал к своим…. И ничего про яму…

– А что тут особенного? Весь мир, все человечество вылезает каждый день из‑под груды трупов и до сих пор вылезти не может. Разве ты, Ицхак, из‑под нее не вылезал? А Натан? Выкарабкался на поверхность, а одной ноженьки нема… А Моше? Всю жизнь, умник, считал, что он не в яме, а на самой вершине… Не тут‑то было. Все мы туда вернемся.

– Куда? – зная наперед ответ, все же спросил Малкин.

– В яму. Я уж туда точно вернусь. Еще немного подожду, но если от этих старых или новых, одинаково засраных, властей разрешения не получу, то…

– Перестань, – перебил его Ицхак.

– Гм… Думаешь о Боге, а смерти боишься. А ведь Всевышний – дарователь не только жизни, но и гибели. Тебе бы хотелось, чтобы ее в меню не было, а она, дорогой, является обязательным блюдом. Одним на десерт его подают, а другим неизвестно за какие грехи – на закуску, на форшмак… Как моей родне… Иногда мне в голову приходит страшная мысль: на кой хрен я выбрался тогда из‑под этого кровозема? Что бы я потерял, если бы задохся тогда, в ту звездную августовскую ночь?

Ицхак в испуге вытаращил на него слезящиеся от глаукомы глаза.

– Что я после нее за пятьдесят с лишним лет на свете увидел? – продолжал флейтист. – Майора Адамишина, угольный забой в ледяной Воркуте, ресторанных и прочих блядей. Да если хочешь знать, я и сам незаметно для себя превратился в такую проблядь. А ведь у меня были легкие, как у Армстронга. Ты знаешь, кто такой Луи Армстронг?

– Нет, – честно признался Малкин.

– Знаменитый джазмен. Негр с кузнечными мехами в груди. А какие у меня были пальцы! Профессор Сейдель говорил: «Гирш! Бог награждает такими пальцами только тех, на чьи сольные концерты Он сам приходит…» Я играл классику – Моцарта, Перголези…

Зазвонил телефон. Малкин извинился, грузно направился в прихожую, уставленную старой обувью и увешанную отжившей свой срок одеждой – тяжелым пальто с выцветшим, в проплешинах, воротником; задубевшей шубой, какие носили милиционеры, охранявшие правительственные учреждения, и регулировщики уличного движения.

– Квартира Малкина слушает, – старомодно, с подчеркнутой важностью отозвался Ицхак. – Нет, не Ляонас. Такого тут нет. Вы ошиблись номером. Ничего, ничего…

Он положил на рычаг трубку, и от наблюдательного Гирша Оленева‑Померанца не ускользнуло его разочарование.

– В последнее время что ни звонок, то ошибка, – сказал Малкин.

– Радуйся. Мне вообще не звонят. А если посмотреть на это пошире, то мы с тобой, Ицхак, раньше ошиблись номером.

– Что‑то я тебя не понял.

– Я говорю: номер страны не тот. Стра‑ны, – по складам повторил флейтист. – Надо было родиться где‑нибудь в Гонолулу или на острове Мальорка. Или, на худой конец, в княжестве Монако. Да, да, мы набрали не тот номер, и все наше несчастье в том, что другого у нас уже никогда не будет. Никогда… Я тебя не задерживаю?

– Нет, нет. Сиди хоть до рассвета… Можешь совсем ко мне переселиться. Каждое утро ты будешь получать у меня рюмку коньяка – армянского, грузинского, молдавского, какого только пожелаешь…

– Только рюмку?

– И в обед рюмку, и на ужин рюмку… – улыбнулся Малкин.

– Ицхак, где ты был раньше? Почему ты так долго скрывал от меня свою доброту?

– Да у тебя самого этого добра навалом…

Снова раздался телефонный звонок.

Ицхак поднялся было, но Гирш Оленев‑Померанц его остановил:

– Успокойся. Не тебя…

– А, может, из больницы… от Моше…

– Ты что – доктор?

– А, может, Натан. Он давно мне не звонил.

– А, может, Машиах? Въехал в Вильнюс на белом ослике и первым делом решил позвонить портному Ицхаку Малкину, чтобы тот сшил ему демисезонное пальто.

– Тебя не поймешь. То все время о смерти, то шуточки.

– А смерть и есть шуточка. Самая удачная шуточка на свете, которую повторяют все без исключения.

Во дворе громко и требовательно засигналила машина.

– Мусор, – объявил Ицхак и заспешил на кухню.

Через минуту Гирш Оленев‑Померанц услышал, как заскрипела входная дверь, как на лестнице кто‑то зашаркал. Он повертел в руке рюмку и вдруг безотчетно, торопливо шагнул к висевшему напротив Иерусалиму, к Стене Плача, к площади, запруженной солдатами в вязаных кипах и чокнулся с белевшей над их головами таинственной кладкой, о которой слышал еще в дощатом Двинске от своей второй – латышской – бабушки Голды. Солдаты в вязаных кипах и с автоматами «Узи» в руках, удивленно глянули на старика; двое из стоявших на переднем плане вдруг раскрыли рты и закричали «Лехаим!»

Гирш Оленев‑Померанц готов был поклясться, что ясно и неоспоримо слышал их голоса, и он снова поднес к застекленной фотографии свою чарку и, как во время пасхальной трапезы, произнес:

– Лехаим!

– С кем это ты чокаешься? – опешил вошедший Малкин.

– С ними, – флейтист ткнул в смеющихся солдат.

– Я вижу, тебя оставлять одного опасно.

– Ты только надо мной не смейся, – предупредил Гирш Оленев‑Померанц. – Ведь если хорошенько поразмыслить, я мог бы командовать их отцами, быть генералом… А стал генералом лагерных вшей… командующим подземных мокриц и крыс… Можно я у тебя покурю?

– Кури…

Гирш Оленев‑Померанц чиркнул зажигалкой.

– У каждого из нас свои дурости. Я чокаюсь с бумажными солдатами, а ты к машине пустые ведра таскаешь.

– С чего это ты взял? – зарделся Малкин.

– Одно время и я так делал. Мусора в ведре не было, а я его выносил. Чтобы с соседями хотя бы словом перемолвиться… Чтобы сказать им: «Люди! Вот он я, Гирш Оленев‑Померанц, живой, пока живой…» Может, скажешь, я не прав… свихнулся…

Ицхак не отвечал. Придвинул бутылку, налил себе рюмку, полную, до краев и, не морщась, опрокинул в рот. Тут же наполнил вторую и с той же несвойственной лихостью выпил.

– Ладно, пора кончать. А то ты, чего доброго, еще в наркологическое отделение попадешь. Оно, конечно, лучше, чем в онкологическое. Поболтали мы с тобой вдоволь – и о Боге, и о смерти, и о другой чепухе, – а теперь перейдем к делу. Собственно, из‑за него я сегодня и пришел в парк…

Никаких новых дел у Гирша Оленева‑Померанца не было, и Малкин не сомневался, что он снова начнет со всеми подробностями и с той же сжигающей его страстью рассказывать про свою тяжбу с властями за право быть похороненным в Понарах. Некоторые на полном серьезе утверждали, что в этом его стремлении, рассчитанном на легкую и дешевую славу, есть что‑то нездоровое и что ему следует обратиться не в Верховный Совет, а к доктору.

Чего греха таить, и у Ицхака иногда возникали подобные подозрения, унижавшие не только Гирша Оленева‑Померанца, но и его самого, но он их старался всякий раз отбросить. Нет, нет, из‑за дешевой славы человек не станет этого добиваться. Гиршем Оленевым‑Померанцем движет не низменный расчет, а чувство бездомности.

Малкин ждал, когда гость заговорит, но тот продолжал молчать, впившись в застекленный, сжатый алюминиевой рамкой Иерусалим, словно старался поверх солдатских голов, поверх Стены Плача разглядеть что‑то такое, чего никто не видит.

– Рачкаускас, мой знакомый адвокат, помог мне написать завещание, – наконец произнес он. – Там я все написал. Ты меня слушаешь?

– Да.

– Тебя… как своего единственного и самого близкого друга… назначаю, так сказать, контролером.

– Контролером чего?

– Ты должен будешь следить за исполнением всех пунктов.

– Ты с ума сошел. Ведь я же старше тебя, и каждый день могу сыграть в ящик. Хорош контролер!

Гирш Оленев‑Померанц насупился, обжег хозяина недобрым, почти презрительным взглядом и как ни в чем не бывало продолжал:

– Самый главный пункт касается моей флейты, я хотел бы забрать ее с собой. Понимаешь?

Еще одна новость!

Малкин покачал головой.

– С иглой проще, – объяснил Гирш Оленев‑Померанц. – Воткнул в саван – и вы вместе. А с флейтой будет морока.

Ицхак ничем не выразил своего удивления. Он давно привык к тому, что в разговоре с Гиршем Оленевым‑Померанцем наступает такой момент, когда к каждому его слову надо относиться со снисхождением.

– Ты ненароком не уснул?

– Да что ты, что ты!..

На своем веку Малкин встречал разных людей – чудаков, лицедеев, выдумщиков, присваивателей чужих судеб, шарлатанов, обожавших за стаканом водки или за карточной игрой пускать пыль в глаза, но Гирш Оленев‑Померанц не принадлежал ни к одному из этих человеческих подвидов.

– Вы думаете, мне неизвестно ваше отношение ко мне? Чокнутый, с тараканчиками в голове… А знаете ли вы, почтенные, что только подлец может быть в этом мире нормальным! Задумывались ли вы хоть раз над тем, что не заспиртованный в безумии мозг начинает тут же тухнуть и смердеть корыстью? Тысячи тысяч людей смирно, без всяких закидонов, работают, едят, спят, умирают, смирно отправляются на тот свет – им все равно, где и с кем лежать. Только чокнутые, только с тараканчиками в голове плачут, когда другим больно, и смеются, когда другим весело. Их чокнутость – их богатство.

Малкин слушал Гирша Оленева‑Померанца, и ему казалось, будто тот не говорит, а играет – на той самой флейте, с которой, как с верной женой, хотел бы лечь рядом.

То ли от сгустившихся сумерек, то ли от выпитого вина, щипавшего кровь, то ли от появившегося чувства отстраненности, дарившего облегчение, до слуха Ицхака долетали не слова, а мелодия, тягучая, вязкая, звуки которой выпрыгивали из действительности, как рыбы из Вилии в жаркий день и, испугавшись света, сигали обратно в пучину.

По правде говоря, Ицхак не прилагал особых стараний, чтобы вникнуть в смысл того, о чем с таким пылом и тихим неистовством говорит Гирш Оленев‑Померанц. Подумать только – даже Богу он вменял в вину высокомерное равнодушие, несговорчивость и строгость учителя провинциальной школы, и само Его творение считал не олицетворением совершенства, а ошибкой, порожденной торопливостью и излишним размахом.

– Что можно создать за шесть дней? Какую симфонию? Гадов ползучих и всяких пресмыкающихся – да… Птичек с разноцветным опереньем – да… Трусливых зайцев и хитроумных лис – куда ни шло… Но человека?!

Стенные часы пробили десять раз. Подуставший от вещих речей Гирш Оленев‑Померанц засуетился, для бодрости налил еще рюмку, выпил ее стоя.

– Уже уходишь?

– Пора и честь знать. Поздно.

– В нашем возрасте такого деления нет.

– Какого?

– На «рано» и на «поздно».

– А какое есть?

– «При нас» и «без нас».

– Ты, Ицхак, абсолютно уверен, что часы пробили при нас? Почему же у меня такое чувство, что я давно умер?

– Ну уж.

– Да, да. Все, что можно было, у меня уже отняли. Ведь смерть – это не когда тебя хоронят, а когда у тебя забирают все, кроме дырявого брюха.

– Ну что ты на себя наговариваешь? – растрогался Малкин. – Умные люди не зря говорят: не подсказывай ветру, когда ему листья с ветки срывать.

– О какой ветке ты, ангел мой, говоришь? Дерево спилили! Да, чуть не забыл спросить – как там наш благодетель Моше Гершензон? Еще держится на ветке?

– Лучше не спрашивай. Сходил бы ты к нему.

– Надо бы, – без восторга согласился Гирш Оленев‑Померанц. – Пока от Счастливчика Изи никакого заказа не было… Между прочим, Зайдиса я все‑таки откопал. Мириам, медсестра из Святого Иакова, выручила. Родители ее рядом лежат. Без нее вовек не нашел бы… Фамилии стали не то китайскими, не то корейскими: …ух… ди… …ая… ман. Буквы выцвели. Хорошенькое будущее нас ждет: ты станешь –…хак…ин, Моше Гершензон – …ще…зон, а Натан Гутионтов – …тан … ион….

Перед тем, как попрощаться, Гирш Оленев‑Померанц, при всех своих чудачествах и возлияниях отличавшийся настырной деловитостью, взял с Малкина слово, что, если случится то, что в конце концов случается со всеми смертными, тот не пренебрежет его волей и сделает все так, как написано в завещании…

– Если бы я мог все сделать сам, я бы тебя, Ицхак, не просил. Больше некого. Последнюю волю надо уважать. Почему я должен навеки побрататься с червями, а с флейтой расстаться, как с вокзальной проституткой?

– Ладно, ладно. Сделаю все, что смогу.

Иначе от него не отвяжешься.

Малкин давно раскусил его: для Гирша Оленева‑Померанца самое важное – поддерживать его замыслы и поражаться их необычности и смелости. Он напоминал Ицхаку пьянчужку‑подмастерья, изгнанного с работы, но постоянно приходившего клянчить трешку на пол‑литра. Получив рубль вместо желанного трояка, он выбрасывал, как Гитлер, вперед руку и восклицал: «Спасибо за перспективу!»

Именно она, перспектива, была дороже Гиршу Оленеву‑Померанцу, чем ее осуществление. Многократность надежды ценилась выше, чем единичность удачи.

Гирш Оленев‑Померанц поклонился Ицхаку и скрылся за дверью, которую Фрума когда‑то на зиму обила войлоком. От войлока веяло казармой, развешанными на веревке портянками или преющим под утюгом шинельным сукном. К вечеру воздух в доме от этого запаха загустевал, как желе, и стесненное астмой дыхание Малкина еще больше затруднялось.

После ухода Гирша Оленева‑Померанца Ицхак еще долго шлепал по опустевшей, сразу ставшей огромной и ненужной квартире, разглядывал на стенах Бецалеля Минеса, маршала Рокоссовского и солдат в кипах, и ему мерещилось, будто все в сумерках перебегают друг к другу: солдаты перемахнули под сень Эйфелевой башни, к Бецалелю Минесу, а маршал Рокоссовский на виду у всех дезертировал в израильскую армию, затесавшись в толпу у Стены Плача.

Малкин сел за стол и, не убирая в буфет ни бутылку, ни рюмки, стал смотреть на себя, молодого, в Париже, у кафетерия «Черный тюльпан», в Латинском квартале; на уличного музыканта, игравшего на скрипочке и певшего о злоключениях любви, и у Ицхака из головы не выходил другой музыкант – Гирш Оленев‑Померанц, его навязчивая просьба похоронить его вместе с флейтой.

С тех пор, как Ицхак себя помнит, только один человек – балагула Рахмиэль – наказывал перед смертью своей обширной родне зарыть его вместе с лошадью, павшей от занесенной из Германии хвори в самый разгар извозчичьей страды. То была всем лошадям лошадь – могучая, с густой, словно крона у липы, гривой – сам Илья‑пророк охотно впряг бы ее в свою колесницу. Родичи, естественно, не допустили такого кощунства – возница и конь легли врозь, но, как уверяли старожилы, Рахмиэль по ночам отправлялся к буланому, выводил его из могилы, словно из конюшни, оседлывал и до зари скакал на нём, до смерти пугая в ночном пастухов и их девок. Девки весело визжали и писали от страха в трусы.

Безумства Гирша Оленева‑Померанца не тяготили Малкина. Если флейтист ничего не придумывал, Ицхак подзадоривал его, беззлобно журил за скудость воображения. Странные выходки друга разнообразили жизнь, сообщали ей больший смысл, придавали ей недостающую крепость и вкус, будоражили кровь и побуждали к возвышающему душу сочувствию. Малкин в его причудах не видел ничего зазорного – он был для него не просто Гирш Оленев‑Померанц, а персонаж увлекательного трофейного фильма наподобие прославленного Тарзана – только Тарзан себя чувствовал вольготно в истинных джунглях, а тот – в джунглях вымысла…

Малкин понимал, что из всех завсегдатаев парка евреев судьба больше всего обидела Гирша Оленева‑Померанца, ибо Господь, вложивший в его руку не грубый топор мясника, не услужливую бритву цирюльника, не вездесущую иголку портного, а ветку, плодоносящую неземными звуками, не вступился, не защитил, когда ни за что ни про что ее взяли и обрубили.

Разжиженные светом пожилой люстры сумерки омывали угрюмое лицо Ицхака.

За окном шмелями‑великанами гудели троллейбусы. Тихо поскрипывали в тишине стенные часы, купленные в сорок пятом на привокзальной толкучке и отливавшие в темноте лунным светом – латунный маятник в деревянном алтарике и крупная зернистая цифирь на циферблате воскрешали в памяти старинные часы деда, которые не одному поколению Малкиных отсчитали отмеренное Вседержителем темное время.

Будь его, Ицхака, воля, он бы на тот свет с собой прихватил не чужой «Зингер», не подушечку с иголками, не подаренный парижским мастером Бецалелем Минесом наперсток, а часы, доставшиеся ему от проезжего поляка, он поставил бы их в изголовье – пусть поутру играют побудку, пусть на еврейском кладбище будят всех мертвых. Ведь и их надо будить, чтобы пришествие Машиаха не проспали.

В обычные дни Малкин в такое время уже лежал в кровати и, глядя до ряби в глазах в потолок, силился уснуть, погрузиться в омут сна, спрятаться в его наволочь, но сегодня день был какой‑то необычный, выделявшийся в череде других своей насыщенностью и подспудной тревогой.

Ицхак только не мог уразуметь, с кем и с чем ему предстоит прощаться, но знобкий дух прощания витал над ним, касаясь его лба, глаз, сивой щетины на щеках. От невидимого морозца удлинялись морщины, увеличивалась подозрительная влага в глазах, а к белизне щетины на щеках прибавлялась пугающая неподвижность мускулов.

Ко всему еще примешивалась дурная примета – вчера, когда он вернулся со съемки, ходики остановились.

Надо же – столько лет шли исправно и вдруг замерли, как накануне смерти Эстер.

– Почему они не остановились ни на день раньше, ни на день позже? – спросил он у часовщика Генеха, однополчанина, работавшего в Центральном универмаге.

– Чистая случайность, – сказал Генех. – Не придавай этому большого значения. Пятьдесят два рублика – и твои ходики помчатся дальше, как буденновская кавалерия.

Малкин каждое утро подтягивал гирьки, вытирал пыль на иссохшихся дверцах алтарика и при этом что‑то шептал – то ли заклинание, то ли стих из Торы, то ли слова, не высказанные никому при жизни – ни Эстер, ни Гиршу Оленеву‑Померанцу, ни родителям, когда они были живы.

Когда шмелиное жужжание за окном прекращалось, а соседи отходили ко сну, когда умолкали гам чужих праздников и вопли чужого горя и разлада, Ицхак подходил к платяному шкафу, вытаскивал нетронутую одежду Эстер, выносил на балкон, развешивал на перилах и, дожидаясь, пока платья проветрятся, устремлял взгляд в небеса, на далекие звезды, высаженные в вышине, испытывая чувство печальной нерасторжимости со всей Вселенной, со всеми, кого любил и кого благодарно помнил.

В такие минуты Малкин и впрямь чувствовал, что он не один, что он никогда и не был один – вместе с ним о ржавые перила балкона опирался некто, как его ни называй: Бог, не Бог, хранитель ли, каратель ли…

Ицхак вспоминал, как Фрума упорно пыталась сбыть эти платья Эстер на Калварийском рынке, в комиссионке или всучить за бесценок бродячей цыганке.

– Если хоть одно пропадет, – предупредил ее Ицхак, – я тебя завтра же к чертовой матери выгоню!

– Но зачем тебе эти тряпки? Эта рвань?

– Сама ты рвань. И дрянь…

Откуда ей было понять, почему он не расстается с этими платьями? Зачем их стирает, сушит, развешивает на балконе? Зачем пересыпает нафталином? Не то дорого, что живо, а то живо, что дорого. Но разве ее вразумишь?

– Памяти нет сноса! – поучал он свою муку.

– Память‑шмаметь! Мой отчим, светлый ему рай, говорил: бедный в памяти, как в заднице, роется, а богатый строится.

– Замолчи, не то убью!

Господи, прости за такие слова и помилуй! Он тихо ненавидел всё, связанное с ней: ее отчима, ее наряды, куриный бульон, галоши, лекарства, одежду, счета, бессарабский диалект, ханжескую улыбку, самоуничижение, заплатки и штопки, войлок на дверях, бесконечные узелки на балконе и в кладовке, все, все, все.

– Чем же она тебя так приворожила? – ополчаясь на самую теплую и надежную его одежду, возмущалась Фрума, униженная любовью к мертвой. – Может, тем, что изменяла тебе с бандитом‑литовцем?

– Как тебе не стыдно!

– Что же получается? Все, что у тебя в памяти – правда, а что у других – неправда? – не сдавалась ревнивица. – Вспомни, как она его, своего бандита, в Каунасе на суде защищала! Мол, почти что три года еврейку спасал. А почему спасал – ни слова!

Боже праведный, с какой гадюкой, с какой подколодной змеей он прожил столько каторжных лет!

Малкин сгреб со стола бутылку, рюмки, поставил в буфет и медленно отправился к дубовой, остывшей кровати. Он взбил подушки, но не разделся, лег на пододеяльник в луговых цветочках, лежа скинул ботинки, потушил свет ночной лампы, яичным желтком отражавшийся в большом портновском зеркале.

Нахлынувшая злость к Фруме улеглась, слилась с сумерками, Ицхак задышал ровней; взгляд его впился в темноту, и вдруг откуда‑то из глубины зеркала, как из глубины времен, до слуха его донеслись звуки флейты.

Флейта звучала, как пастушеская свирель‑жалейка, и звуки ее выплескивались на луг, на тот самый луг, на котором паслись бессмертные коровы и рядом с которым катила свои бессмертные воды родная Вилия. Но играл на ней не сын рыбака Антанаса Феликсюкас, не многоопытный Гирш Оленев‑Померанц, а он, Ицхак, и все твари вокруг внимали его игре: и птицы в небе, и рыбы в воде, и коровы на пастбище, и сам Бог за облаками.

Он играл, нисколько не смущаясь того, что ему не десять лет, как пастушонку Феликсюкасу, а восемьдесят пять с гаком, что в легких почти иссякли запасы воздуха, что губы пожухли, что извлекаемый из флейты звук замутился и стал шероховат, как и пальцы. Он играл и, повинуясь зову его исстрадавшейся души, со всех сторон к месту, где плескалась мелодия, спешили пары чистых и нечистых – Эстер и Фрума, путевой обходчик Игнас Довейка и лесничий Еронимас, Моше Гершензон из онкологической больницы и Натан Гутионтов из своей сторожевой будки, Гирш Оленев‑Померанц из кафе литераторов и Зелик Копельман из‑под русской деревушки Прохоровки; спешили бессмертные коровы с лугов его детства и увертливые окуни в скользкой и блестящей, как бриллианты, чешуе; мчались пушистый кот рабби Менделя и Лея Стависская из лавки Бениямина Пагирского с полным коробом колониальных товаров.

Все они собирались для того, чтобы направиться в Бернардинский сад, на торжественное закрытие парка евреев.

Молодые литовцы, предвкушавшие близкое освобождение и поднявшие над башней Гедиминаса свой триколор, уже сооружали около летнего кафе трибуну, прикрепляли к ее фронтону огромный транспарант: «Прощайте, земляки‑евреи. Не поминайте лихом!»

Над Вильнюсом стоял непрерывный гуд самолетов. Они один за другим приземлялись на тесное, почти убогое летное поле.

На их фюзеляжах красовались эмблемы и гербы разных – великих и малых – стран.

Вот подрулил к красной ковровой дорожке американский авиалайнер номер один с Джорджем Бушем на борту.

Вот на литовскую землю впервые ступил сосредоточенный, замкнутый Франсуа Миттеран.

За ним, игриво поправив свою элегантную шляпку, по трапу английского «Боинга» спустилась твердокаменная Маргарэт Тэтчер. Вот в проеме дверей показались шляхетские усы плутоватого Леха Валенсы, поднаторевшего в церемониях по закрытию парков евреев в Варшаве и Кракове.

Желая продлить редкое удовольствие, осмотрительно стриг своими подвижными и упругими ножками расстеленную для почетных гостей ковровую дорожку юркий, как ханукальный волчок, Ицхак Шамир.

Посадку совершил красавец «Люфтганзы». Пробуя прочность литовского бетона, к строю почетного караула приближался грузный и надежный, как немецкая марка, Гельмут Коль.

Прилетели, как весенние ласточки, всегда предвещающие перемены, меченый Горбачев и фигуристая Раиса.

Рев моторов, мычание скота, всплеск рыб, щелканье фотоаппаратов, команды начальника почетного караула.

В поблескивавшем в лунном свете зеркале, в которое гляделись тысячи клиентов, вдруг отразились сколоченная наспех трибуна, деревянные ступеньки, ведущие вверх, головка микрофона и смущенные, пришибленные оказанной честью лица тех, кто, сгорбившись, один за другим, взбирался на импровизированный мавзолей: Моше Гершензон в твидовом, сшитом у Малкина костюме; Натан Гутионтов с разноцветной орденской планкой на неестественно выпяченной груди; Гирш Оленев‑Померанц в берете, какие носили французские летчики из эскадрильи «Нормандия‑Неман», и с черной розой, приколотой к лацкану плаща; Лея Стависская с уложенной башенкой косой; увидел Ицхак в зеркале и себя в будничной куртке и с зонтом от дождя и солнца (кто знает, сколько придется на трибуне проторчать?), в грубошерстных (от подагры) штанах и в ботинках на толстой подошве, которые не то что в Литве – на Северном полюсе не подведут.

Прозвучал сигнал, запела флейта; президенты и премьер‑министры выстроились в ряд, за ними столпились зеваки, хлынувшие с соседних улиц – с Замковой, Большой, Университетской, Ломбардовой; еще сигнал, и весь парад двинулся к летнему кафе.

Моше Гершензон и Натан Гутионтов по‑военному отдавали президентам и премьер‑министрам честь, Лея Стависская махала им маленькой ручкой в лайковой перчатке, погружала ее в плетеную корзину, извлекала оттуда колониальные товары – изюм и арахис, урюк и чернослив – и осыпала ими высоких гостей. Задумчивый Малкин многозначительно кивал и, нарушая от волнения дипломатический протокол, самозабвенно ковырял в носу.

Бдительный Джордж Буш и сентиментальный Гельмут Коль прослезились, вынули из карманов носовые платки с именными вензелями и приложили к глазам.

Маргарэт Тэтчер посылала воздушные поцелуи.

Ицхак Шамир потирал боевые руки – слава богу, конец еще одной диаспоре. Пусть принимающие парад отправляются прямо в Землю обетованную. Ам Исраэль хай! (Народ Израиля жив!).

Лех Валенса подкручивал ус и громко, то ли радуясь, то ли жалея, восклицал:

– Еще жидзи не згинели!..

Михал Сергеич косился не на евреев, а на молодых литовцев, выкрикивавших надоевшее:

Lais‑ve Lie‑tu‑vai![[1]](#footnote-1)

Малкин и его соратники стояли на трибуне, которая, казалось, была вровень с башней великого князя Гедиминаса, приподнятые над землей, над всеми владыками мира, как бы готовые к какому‑то полету – кончится парад, и они взлетят к небу, вольются в стремительный воздушный поток, и тот подхватит их и понесет из Литвы туда, где люди высиживают, как наседки, свое будущее, а не свое прошлое. Но где она, эта благословенная страна? Где этот бесскамеечный край на земле?

Так, стоя на трибуне, Ицхак и уснул.

Он еще крепко спал, когда в прихожей взбесился телефон. Звонок был продолжительный и резкий, словно к нему кто‑то прорывался из‑за границы.

Заспанный, сбитый с толку, он сунул в шлепанцы босые ноги и, теряя их на ходу, подбежал к трубке.

– Квартира…

Но голос на другом конце провода перебил его жестко и беспрекословно:

– Немедленно приезжайте в больницу. Ваш брат при смерти.

И длинные гудки: ту‑ту‑ту…

Братьев у Малкина не было, но он понял, кому понадобился.

## Глава девятая

Не успею, думал Ицхак, добраться до больницы, как Моше Гершензон свободно и беспрепятственно отправится за границу – за границу жизни. Кончится его земной путь, и начнется другой, неведомый, без конца и края, без рытвин и ухабов, без взлетов и падений, а главное, без грехов, долгие годы обременявших душу и память.

Господи, как мал и ничтожен человек, как беспомощен перед дуновением беды, перед каждой непредсказуемой переменой. Кажется, совсем недавно, до роковой, непреклонной болезни, в разгар светлого лета, какое бывает только в беспечной, влюбленной юности и на закате дней, он еще обратился к Ицхаку с неожиданной и почти что лестной просьбой – поехать с ним в Белоруссию, на родину его предков – смолокуров, плотогонов, коробейников, до остервенения прилежных богомольцев‑раввинов, в небольшой городок, зажатый озерами между Лидой и Свирью, где якобы доживал свой долгий век его дальний родственник, женившийся то ли на белоруске, то ли на украинке.

Ехал Моше Гершензон, однако, не к нему, а в пущу, вплотную подходившую к городку, на делянку, на которой должно было состояться торжественное открытие памятника местным евреям, истребленным белорусскими полицаями.

Ицхак никак не мог взять в толк, почему Моше Гершензон, известный своим пристрастием к остроумным рассказчикам и веселым спутникам, пригласил в поездку не Гирша Оленева‑Померанца, который мог наплести с три короба и который к тому же, как он сам выражался, слыл доктором могиловедческих наук, а его, Малкина, не переносившего никаких торжеств – ни свадебных, ни поминальных. Но отказать Моше Гершензону в его просьбе не посмел.

Дорога предстояла неблизкая – сто, сто двадцать километров.

«Москвич» Моше Гершензона был старый, пригнанный из Средней Азии, куда зубной техник ездил на розыски жены и сына, весь в заплатах, как изношенная овчина; краска облупилась; мотор страдал старческой одышкой, судорожно и подозрительно дребезжал.

Всегда осторожный, не терпевший никакого азарта и лихачества, Моше Гершензон в очках, присланных ему по рецепту из Израиля и, кажется, оставшихся единственным подарком Счастливчика Изи, в легкой спортивной куртке на проворной застежке, в замшевых водительских перчатках, не сводил близоруких глаз с шоссе и непривычно тихо матерился, когда из‑за ремонтных работ надо было подолгу выбираться на шоссе в объезд.

Никакого понятия о городке смолокуров и коробейников Малкин не имел. По правде говоря, он и не испытывал по поводу своего невежества сожаления – просто приятно вырваться из опостылевшего Вильнюса, из очерченного старостью и бездеятельностью круга абы куда – побывать денек в новых местах, подышать ягодным и грибным воздухом белорусской пущи, и, может, полакомиться земляникой, ежевикой, свежей малиной. Моше Гершензон клянется, что ветер Чернобыля сюда не долетел – остановился в пятидесяти верстах от Свири.

Была еще одна причина, малопочтенная и царапавшая совесть – желание Малкина что‑то разузнать о тайне, тщательно оберегаемой Моше Гершензоном ото всех. Как ни говори, а любопытство всегда выжигает скуку – пусть не дотла, но все же…

Был, по‑видимому, некий скрытый расчет и у зубного техника. Не возьмет же он в такую дорогу человека только ради празднословия. Моше Гершензон каждый шаг свой взвешивает и обдумывает. Малкин не помнит такого случая, чтобы тот действовал, движимый только чувствами – дружбы ли, вражды ли, мести ли.

Бывало, правда, и у него что‑то непредвиденно и непринужденно вырывалось; как огонь из‑за раскаленной заслонки.

– Можно подумать, что наши предки трудились в поте лица только для них.

– Для кого?

Моше Гершензон окинул его недоуменным взглядом и, не удостоив вразумительного ответа, продолжал:

– Для тех, кто нас убивал и грабил. Убийцы и мародеры только и заботились о том, чтобы потом, через десятилетия, их дети и внуки в пущах и над рвами ставили памятники ограбленным и убитым с надписями‑головоломками, по которым постороннему человеку и догадаться‑то невозможно, кому они воздвигнуты.

Моше Гершензон в сердцах газанул.

– Что бы ты, скажи на милость, испытывал, если бы к тебе пришли и без спроса забрали твой «Зингер»?

– А «Зингер» – не мой. Я его, так сказать, тоже у кого‑то втихаря спёр, – честно признался Ицхак. – Думал, что это не грешно. Что это справедливо. Ведь немцы забрали у нас самое дорогое. Но сейчас я так не думаю… Тот, у кого забрали все, не может уподобиться ни вору, ни грабителю, ни насильнику. Могу поклясться: сейчас бы я вернул этот «Зингер» его прежнему хозяину. Разве лично он виноват, что его соотечественники убили моих братьев Айзика и Гилеля?

Моше Гершензон не одобрял его склонность к всепрощению и считал, что евреи, которые так думают, ничему за войну не научились, хотя урок и обошелся им дороже, чем иным.

– Задним числом все умными заделались. Говоришь, вернул бы. А не потому ли, что «Зингер» больше тебе не нужен?

– Нет. Потому, что чужое всегда чужое.

– Почему же они, сволочи, его не возвращают, а произносят речи на могилах, клянутся в любви к нам, фальшиво молят о дружбе, прощении… Ты, например, ходишь по Вильнюсу, смотришь на окна и тебе хоть бы хны. Окна как окна – занавешенные шторами или распахнутые настежь. А для меня они – в первую очередь напоминание о моем отце – Товии Гершензоне, не спавшем ночами, гнувшем в молодости спину на кофейных плантациях в Бразилии, разносившем в Нью‑Йорке сладости и откладывавшем за счет недосыпания и недоедания каждый заработанный цент. Он ни у кого ничего не забирал. Его же лишили всего, за одну ночь нищим, отщепенцем, изгоем сделали…

– Жаль, конечно, что разбомбили вашу стекольную фабрику… Но не литовцы же ее бомбами забросали…

– Не прикидывайся дурачком. По‑твоему выходит, будто виновников вообще нет. История виновата… Но кто же от имени истории должок нам вернет… хотя бы руины… Кто?

– А зачем тебе, Моше, руины?

– Затем, – озлился зубной техник.

В тот светлый безоблачный день середины лета старенький, раздрызганный «Москвич», продираясь к Минскому шоссе, выкатил на Заречье и остановился у трехэтажного дома, принадлежавшего когда‑то старательному, богобоязненному и бережливому отцу Моше – Товию Гершензону.

– Вылезай! Коротенькая остановка.

Малкин отстегнул замусоленный ремень, открыл дверцу и выбрался из машины.

Из распахнутых окон бывшего господского дома густыми хлопьями опадали на землю запахи бесхитростной еды – кислой капусты, жареной на подсолнечном масле рыбы, чеснока и лука, кильки в томате. Они обволакивали все вокруг, и даже голоса женщин, покрикивавших на игравших внизу в ножички и расшибалку беспризорных мальцов тонули в этом, хоть и незримом, но гнетущем и клубившемся над окраиной мареве стойкой бедности и сиротства.

Не сказав ни единого слова, Моше Гершензон несколько раз ритуально, по периметру, обошел пустырь возле отцовского дома, вышел на самую середину, на небольшое возвышение и так же ритуально застыл в глубоком молчании. С горба пригорка открывались красоты разноязычного и разностильного города – строгие шпили костелов, волнистая гряда купающихся в зелени гор, узкие и острые, как рыцарские рапиры, улицы, гребни крыш, выложенных как будто не черепицей, а каллиграфически выведенными латинскими литерами, четверостишиями застывшими в воздухе.

– Жильцы ко мне привыкли, как к собаке, – глухо произнес Моше Гершензон. – Все уверены, что я известный художник или фотограф, приезжающий сюда любоваться видами Вильнюса. И я их не разочаровываю. Всегда беру с собой фотоаппарат и щелкаю для блезиру. Пусть принимают за кого угодно, только не за владельца… Владельцев в Советском Союзе терпеть не могут. Фотограф так фотограф.

Моше Гершензон сел за обтянутый плетенкой руль, за ним в «Москвич», кряхтя, забрался Малкин, мотор гриппозно закашлял, и машина тронулась с места.

Ицхак выжидал, пока зубной техник снова заговорит с ним, но тот, казалось, дышал не воздухом, смешанным с парами бензина и луговыми испарениями, а молчанием – перестанет молчать, и, кажется, не миновать приступа удушья.

Позади осталась ухоженная, холеная Литва; замелькали бедные белорусские подворья – почти без живности, одни куры под открытыми ставнями, кое‑где надменные, неторопливые гуси с пепельными от грязи перьями; низкородные свиньи со смазливыми, игрушечными поросятами; на соломенных крышах аистиные гнезда с горластыми, требовательными юнцами.

За Вороновым, насладившись молчанием, Моше Гершензон снова заговорил:

– Знаешь, Ицхак, о чем я думаю?

– Нет, – чистосердечно ответил Малкин.

– Я думаю, что зря я из кожи вон лезу.

– В каком смысле?

– Все равно мне ничего не отдадут. Наследников‑то у меня нет.

– А Изя?

– Дай бог, чтобы мой ветрогон сюда на мои похороны прилетел! Он должен держаться от здешних мест подальше. Ведь его и посадить могут. Новые прокуроры новых денег потребуют.

– Да… Посадить тут всех могут.

– Растешь в моих глазах! – похвалил его зубной техник. Вздохнул и невесело, чуть ли не обреченно продолжал: – Я скоро возненавижу себя. Ну, чего спрашивается, я сюда, на этот вонючий пустырь, каждую субботу, как в синагогу, бегаю?

– Значит, надо.

Малкин весь съежился, затаился, замер в предвкушении чего‑то долгожданного, сокровенного. В эту минуту все, что разделяло Моше Гершензона и Ицхака, рухнуло, исчезло, как будто никогда и не существовало.

– В один прекрасный день, – волнуясь, выдохнул зубной техник, – они пригонят бульдозер и все отроют. Бульдозерист отдаст оба чугунка с их кошерным содержимым в государственный банк и за честность и добросовестность получит денежное вознаграждение. А мы… а я останусь на бобах.

– Ты о чем? – притворился простаком Ицхак.

– О золотых кольцах… ожерельях… браслетах… подвесках… царских монетах…

«Москвич» двигался медленно; за окнами чернели непроходимые леса, от которых пахло грибами, вековой тишиной, чадившими партизанскими кострами. Над деревьями кружили большие незнакомые птицы, и тень от их крыльев долго висела над махонькой машиной, как туча, которая вот‑вот вспыхнет молнией и прольется благодатным библейским ливнем над притихшими полями.

Ицхака вдруг обуяло какое‑то зудящее желание – ему захотелось, чтобы и впрямь начался ливень и непроницаемой завесой отделил их от этой пущи, от этих диковинных птиц в небе и от этих полупризнаний и полуумолчаний Моше Гершензона.

Но солнце стояло высоко и прочно, небосвод был чист и ясен, дорога мягко и почти неслышно разматывала свой клубок; уже замаячили крыши сонной, погруженной в провинциальную негу непривередливой Лиды.

– Золото спасает, но золото и губит, – сказал зубной техник. – В первый день войны я сказал отцу: «Брось все к чертовой матери и бежим, пока немец не нагрянул…» А он: «Это все ты, что ли, по крупице добывал? Это ты свое здоровье и молодость на все это променял? Нет, ты за гойками день‑деньской увивался, на скачках отцовские деньги профукивал. Конечно, тебе на золото плевать. А по нему, сынок, как по венам, вся моя кровь течет… капля за каплей…» Эх, дурак, старый дурак, да простит меня Всевышний.

Он сбросил газ, пустил машину на холостой ход.

– Встал ночью, сложил все драгоценности в два допотопных чугунка для варки картошки в мундире, взял лопату и сказал мне: «Рой! Рой свое будущее! Золотом от всех можно откупиться – от красных, зеленых, коричневых. Только место запомни…» Когда все было зарыто, я ему и говорю: «Ну а сейчас ноги в руки!» Не тут‑то было: «Ты, Моше, чеши, а я за сторожа останусь! Золото без сторожа плавится и в канаву, как обыкновенная жижа, стекает».

Дорогу перебежал лопоухий заяц.

– Ишь как жмет косой… – восхитился Моше Гершензон. – Так вот… «Если все брошу, – говорит, – сразу и умру. Только ты обо мне не думай так, как эти комиссары – мол, Товия Гершензон – кровопивец, угнетатель, толстосум, он за копейку повесится. Ты поступай как хочешь, а я буду сторожить и это золото, и этот воздух – он тоже мое золото (столько лет им дышал); и эти звезды буду сторожить, они мне подмигивали каждый вечер и желали «Спокойной ночи»; и булыжнику этому стражник нужен, каждое воскресенье я по нему на пролетке в Бернардинский сад ездил – слушать, как духовой оркестр вальсы Штрауса играет…»

Зубной техник снял замшевую перчатку, стер со лба испарину, высунул в окно руку, поправил боковое зеркало.

– Может, он был прав. Может, на самом деле сторожил не то, что было золотом, а то, что золота дороже… Он все‑таки был человеком верующим, – не то с одобрением, не то с сожалением сказал Моше Гершензон. – Дети никогда родителей не понимают. И наоборот. Если сторожить нечего и некого, разве стоит жить? Ты, конечно, посмотришь на меня как на сумасшедшего… Но я и впрямь иногда ради собственного удовольствия позволяю себе быть немножко мешуге… Не поверишь, но мне нет‑нет да приходит в голову, что и он… мой отец Товия Гершензон вместе с нами… приходит под липы в Бернардинский сад, садится на скамейку и слушает «Сказки Венского леса», а в начале Замковой на козлах его дожидается усатый извозчик, и лошадь прядает большими, как литавры, ушами.

Зубной техник замолк, но через минуту бросил:

– Ты, Ицхак, первый, кому…

Малкин кивнул.

– И последний…

– А Изя?

– Что Изя?

– Он‑то, наверно, все знает.

– Есть люди, которым можно рассказывать обо всем, но только не о деньгах, – уклончиво ответил Моше Гершензон. – Из‑за них они готовы с самим сатаной породниться. Шепни им, что звезды – бриллианты, воткнут в них вилы и с неба сволокут.

Он испытывал потребность в исповеди, сумбурной, торопливой, однако без привычных недосказанностей и утаек, по‑нищенски благодарно рассчитывая на понимание и сочувствие… Небось, некоторые из его приятелей до сих пор убеждены, будто и он такой – вилами в звезды…

Моше Гершензон не спешил, то и дело гасил скорость, подолгу молчал, но вдруг ни с того ни с сего принимался откровенничать, освобождаясь, видно, от того, что угнетало и томило его долгие годы. Может, его откровения были сопряжены с предчувствием роковой болезни, изредка подававшей смутные и тревожные знаки преходящими болями и коликами. Поездка в Белоруссию, казалось, была придумана им с одной‑единственной целью – излить душу, обнажить то, что раньше никакому обнажению не подлежало, Бернардинский сад не был тем местом, где он мог и хотел открыться – под старыми липами можно было затрагивать только верхний слой, для которого бульдозер не представляет никакой опасности…

К открытию памятника они опоздали, но Моше Гершензон не сокрушался, нисколько об этом не жалел. Он терпеть не мог казенщины – заранее заготовленных речей, лузгания семечек, заученной скорби пионеров и похожих на древних ископаемых, невесть откуда взявшихся доморощенных псалмопевцев. Даже слезы тех, чьи родичи полегли в пущах и рощах, внушающих почтительный ужас, вызывали у него какое‑то внутреннее противодействие – целый год глаза сухи, а тут рыдают в голос да еще поглядывают по сторонам, замечены ли их рыдания.

Люди понемногу расходились – среди них не было ни одного знакомого, не удалось Моше Гершензону отыскать в толпе и своего дальнего родственника.

Ветер задиристо гонял по площадке, пахнувшей только что уложенным и застывшим асфальтом, картонные стаканчики из‑под лимонада, жестяные пивные баночки, искореженные ногами, обертки конфет и леденцов, программки с подробным списком ораторов – день выдался на редкость жарким.

Парило. Трудно дышалось.

Чей‑то профессионально‑задорный голос плыл над гранитным памятником, как воздушный шар, изукрашенный цветными рекламами:

– Гостей из Израиля, Франции и Америки, а также родственников погибших из Белоруссии и Литвы приглашают в городскую столовую на торжественный обед. Улица Янки Купалы, одиннадцать. Внимание, внимание!.. В семнадцать часов силами самодеятельности в Доме культуры будет дан большой концерт…

Общий обед не прельщал Моше Гершензона. К самодеятельности он относился, как к советской власти – мирился с ней, но не поддерживал.

Между тем воздушный шар продолжал свое плавание. Он вдруг новой вестью повис над осиротевшим памятником.

– Нуждающихся в ночлеге просят пройти к товарищу Фесуненко в горисполком. Проспект Гагарина, восемь, комната семь…

Моше Гершензон задрал голову к висевшему на сосне громкоговорителю и кивком поблагодарил его. В ночлеге ни он, ни Ицхак не нуждались. Незачем беспокоить товарища Фесуненко и гостиничных клопов. Уж если они и решатся тут заночевать, то подыщут что‑нибудь получше – может, лягут где‑нибудь под столетним дубом в пуще или под буком во мшанник и проспят до утра вольными бродягами – никто их не тронет: ни зверь, ни птица, ни змея. Кому они, старичье, нужны? Кто на них позарится? А коль позарится, то так тому и быть, не все же червям должно перепасть, пусть достанется и рыси, и медведю – всех ждет угощение… А чем «Москвич» для ночлега плох?

На нем и остановили свой выбор.

– Не жалеешь, что поехал со мной? – спросил Моше Гершензон у Малкина.

– Ничуть.

– Недоброе у меня предчувствие – сдается мне, что я тут в последний раз. Он глянул на Ицхака, а потом, как траурный букетик, прислонил взгляд к памятнику. – Вот я и подумал: чем кружить по золотому пустырю каждую субботу, лучше в выходной день поклониться родным могилам. Грешно умереть чужаком.

– Что это на вас нашло? Вчера Гирш Оленев‑Померанц… Сегодня – ты… – перебил его Малкин. – Тот, кто все время говорит о смерти, уходит позже других. Смерть щадит трепачей…

– Пари?

– Все равно проиграешь.

– Я пари всегда выигрываю… Всегда…

Он говорил об этом со странной уверенностью, будто заключил со смертью договор и установил точные сроки его выполнения. Не было в его словах ни показного мужества, ни рисовки, а какая‑то тихая и радостная просветленность.

– Спасибо тебе, Ицхак, что ты со мной…

– Ну что ты, что ты… Не стоит благодарности… я получил большое удовольствие… Сам подумываю о такой же поездке… Скоро пятьдесят лет, как всё… и всех потерял…

– Буду жив – отвезу… Я в твоих краях ни разу не был… – посулил зубной техник.

Он нагнулся, сорвал спелую ягоду земляники, поднес к поросшим седенькими кустиками ноздрям, обнюхал ее, но не съел, а стал перекатывать на шероховатой ладони.

– Ты, кажется, от моей болтовни расстроился. А чего тут, брат, расстраиваться? Приходит такое время, когда становится не то что невмоготу, а как‑то стыдно жить, когда не по докторской подсказке, а сам себе говоришь: эй, ты, пожил в свое удовольствие, уступи место другому. Пора выбросить жизнь, как окурок, и не мусолить ее до тошноты.

– Жизнь всегда успех. Даже если от нее с души воротит. А смерть…

– Что мы знаем о смерти? Ты что – хоть раз испытал ее?

– Нет. Только на зуб в войну попробовал.

– На зуб не считается.

– Все, Моше, считается, если ты хоть раз погибал.

Малкин подошел к дубу, тихо что‑то ворожившему над памятником, прислонился к стволу, впился взглядом в крону, и вдруг оттуда, сверху, заструилась какая‑то миротворная благодать. Она втекала в его усталые, пораженные глаза, в его израненное утратами и заблуждениями сердце, в его иссушенные работой ладони. Наполненный этой благодатью, он беззвучно и нельстиво благодарил жизнь за все – за каждый дымок, за сажу и копоть, за синеву небес и зелень луга, и, воздав ей за радости и муки, как бы сам врастал в эту землю, в эту непроходимую пущу, и, чем больше врастал, тем явственней ощущал, что никакого земляного неба величиной с гробовую крышку нет – есть только небо над головой, в беспредельности которого человек тает, как облако, и, как облако, проливается каплей, струйкой на землю, томящуюся от вечной засухи, проливается, чтобы за отмеренный ему срок оросить хотя бы одну пядь и помочь подняться хотя бы одному всходу.

– Как тут хорошо! – изумленно простонал Моше Гершензон.

– Рай, и только, – подтвердил Малкин.

– Может, не возвращаться?

– То есть, как?

– Вообще не возвращаться. Пуща тянется на сотни километров. Пока мы пройдем половину пешочком, глядишь, курево, то есть житуха, и кончится. Днем будем питаться ягодами, целебными кореньями, пить березовый сок, грызть кору, слушать шелест листьев и птичий щебет, а ночью заберемся в какую‑нибудь берлогу и, как медведи‑пенсионеры, будем сосать лапы – ведь на них не только горечь, но и мед. Что проку, если вернемся в город и там испустим дух?.. А тут… тут мы еще кому‑нибудь сгодимся на завтрак или на обед: прилетит стервятник – полакомится, забредет голодный волк – может, и он не побрезгует нашими трупами.

– Ничего себе лакомство, – съязвил Ицхак.

– А, может, желаешь поприсутствовать на вручении грамот и на большом концерте?

– Никакого желания…

– А зря… – Моше Гершензон насупился и, глядя в упор на Малкина, вдруг выпалил: – Будут вручать и твоему покорному слуге.

– Тебе?

– Так точно! – отрапортовал зубной техник. – По‑твоему, не заслуживаю?

– Почему же. Заслуживаешь… Смотря за что.

– Ну не за воинскую доблесть, конечно. За что в наш век больше всего благодарят?.. Не ломай голову над ответом. Ответ прост. За деньги. За чужие деньги…

– Ты говоришь загадками.

– Какая уж тут загадка. Перевел на строительство памятника кругленькую сумму, и грамота в кармане. Но мне нужна не их грамота, а Его, – Моше Гершензон ткнул пальцем в безоблачное, бескорыстное небо… – Может, Он смилуется надо мной – примет мою жертву, не сочтет ее подаянием хлыща и проныры. Может, простит мне мои грехи… Представь себе – всё до копеечки отдал… оставил только на похороны. Скажи кому – со смеху лопнут, не поверят. Моше Гершензон и добровольное пожертвование!.. Ха‑ха‑ха…

– А Изя?

– Пусть за свои грехи сам платит… Когда‑то я за его грешки крупно заплатил.

Моше Гершензон приблизился к памятнику, встал напротив топорно высеченной шестиконечной звезды, восстановленной в правах и мирно уживавшейся рядом с пятиконечной, и стал что‑то сумрачно и невнятно нашептывать. Его шепот не был похож на молитву, но и обыденной речи не напоминал. В нем звенело потускневшее родовое серебро, лучилось золото, извлеченное из глубин земли, но не на Заречье, а где‑то в недрах Иудейских гор или в долине Израэльской. Плечи его сгорбились, лицо расцвело красными лепестками стыда и раскаяния; надо лбом, как над вспаханной огородной грядкой, клубился пар; ушные ракушки раздвинулись, разверзлись не то для благой вести, не то для проклятия, а, может, для того и для другого.

Непрошено, непроизвольно белорусская пуща вклинилась в сероватый зимний рассвет. В пустом троллейбусе, в котором Малкин ехал в больницу, несло не земляникой, не целебными кореньями, не пахучими грибами, а перегаром и пьяной отрыжкой.

Больница еще тонула в густых, чуть подсвеченных инеем сумерках, когда Ицхак поднялся на третий этаж в онкологическое отделение, туда, где когда‑то умирала Эстер. Ему тут были знакомы не только ступеньки покрашенной в красный государственный цвет лестницы, но и каждая зазубрина, каждая вмятина.

В длинном коридоре отделения никого не было.

Малкин опустился в просиженное до дыр кресло напротив выключенного телевизора, до оторопи смахивавшего на кладбищенское надгробие, и почему‑то невольно, беспричинно зажмурился. В тишине, как ядреные листья дуба, тихо шелестели трубки неонового света. Шелест против воли усыплял, но Малкин не поддавался искушению. Еще не хватало, чтобы он заснул там, где умирают в бреду или опьяненные морфием.

Борясь с неотступной дремотой, он снова вспомнил свою летнюю поездку с Моше Гершензоном в Белоруссию. К удивлению Малкина, в утомленном мозгу всплыли не безотрадные прорицания зубного техника, оказавшиеся верными (он, увы, выиграл, пари!), не пышность торжества по случаю открытия обелиска, а загадочность и необозримость пущи, разноголосица птиц, поразительная стать деревьев, многоцветье ягодников и чистое, словно пасхальная скатерть, небо. Во всем, что Ицхак там увидел, было столько жизни, такая бесконечность, что сама мысль о смерти казалась смешной, нелепой, кощунственной до одури.

– Кого‑нибудь ждете? – тронула его за плечо чья‑то легкая, пропахшая лекарствами рука.

Ицхак встрепенулся.

– Прием у нас с одиннадцати, – сказала медсестра.

Малкин вытаращил на нее глаза, пытаясь вспомнить, где он ее видел. Это было давно. Очень давно. Но ей, растормошившей его, шел от силы двадцатый – двадцать первый год.

– Вы не медсестра Жемайтене? – невпопад спросил он.

– Я ее дочь. Жемайтите… Аста… Мама уже на пенсии.

– Да, да… Но вы очень похожи…

– Вы знаете маму? – Аста сверкнула голубыми глазами.

– Она просидела со мной всю ночь, когда умирала моя жена. Сейчас мой друг – Моисей Гершензон…

– Минуточку! Я позову доктора. Гайле, – крикнула она проходившей мимо подружке, – ты доктора Мотеюнаса не видела?

– Кажется, кофе пьет.

Аста надолго исчезла, наверно, тоже села пить кофе, и Малкин снова закрыл глаза.

Так вот, думал он, и совершается этот привычный и неумолимый круговорот. Меняются только лица и роли, возраст и прически, походки и улыбки, все остальное – кофе, морфий, смерть – остается неизменным в каждом поколении, при каждой власти, независимо ни от чего. Меняются палаты и больные, родственники и сослуживцы, лекарственные препараты и скальпели, но суть остается неизменной – никому не дано сойти с этого круга и переметнуться на другой, незамыкающийся.

Там, в глубине, сразу же за поворотом, была палата Эстер. На окне в керамической вазе стоял, как абажур, букетик лилий, два марокканских апельсина, как два засыхающих солнышка, светили из раскрытой тумбочки, набитой пузырьками, на стене плескалась о берег балтийская волна, но ее живительные брызги не долетали до койки смертницы.

Бог не проявил к ней своей милости – она умирала в полном сознании, говорила толково и складно, как учительница у доски, и водила в воздухе указательным пальцем, словно мелком.

Он не перебивал ее.

Неважно было, что она говорит, Ицхак радовался уже тому, что говорит, не бредит, четко произносит слова, и не испытывал от безжалостной ее откровенности ни боли, ни унижения. – Кроме тебя, никого, Ицхак, не любила… виновата перед тобой… ужасно… Но я боялась… Он мог меня отдать в руки немцев… И я уступила… Прости…

– Ради бога, успокойся. Мне… – он сглотнул ком, подступивший к горлу. – Мне хватило твоей любви… Ее было даже слишком… слишком…

– Ты всегда был добрее меня. Ты добрее даже нашего Бога… Он не прощает измены… Не утешай меня… Дай руку…

Ицхак протянул ей руку. Эстер поднесла ее к губам и попыталась поцеловать.

– Что ты делаешь?! – закричал он. – Что ты делаешь?!

Она уронила руку прежде, чем прикоснулась к ней омертвевшими губами…

Малкин сидел напротив безжизненного телевизора, пялился на провода, на вырванную с мясом из стены розетку. Мотеюнас все не приходил – видно, потягивал вторую чашку кофе.

Ицхак сам не отважился войти в палату. Он снова закрыл глаза, и в емкой темноте, которая была полна жизни, прежней и теперешней, под веками‑стражами возникали и перемешивались и проселок родного местечка, по которому Эстер провожала его в уланы, и Минское шоссе, выглаженное шинами, как выходные брюки, и пуща, со всех сторон обступившая памятник. Белизна палаты, в которой угасала Эстер, перемежалась с бархатным балдахином, под которым они венчались, а старенький «Москвич», как бы все время удиравший от погони, – с каталкой в коридоре, на которую санитары, может быть, через час‑другой положат Моше Гершензона, накроют казенной простыней и свезут в морг, и все погони кончатся, и незадачливый иностранец, богатый наследник богатого отца распрощается навсегда со своими честолюбивыми надеждами, сдастся на милость проклятому, чуждому времени‑мародеру, которое он многократно пытался перехитрить, как опытный торговец молоденькую торговку, и желанная свобода наконец‑то придет на смену долголетнему рабству в стране, где человека, прежде чем позволить ему стать всем, делают никем.

Ицхак тщился представить, каков будет его последний разговор с Моше Гершензоном, если, конечно, тот еще жив и может членораздельно изъясняться. Малкин чувствовал большое облегчение от того, что своими деньгами Моше Гершензон как будто уже распорядился. И слава богу, разбираться в чужом добре всегда морока, а с деньгами и подавно.

Но мало ли чего, кроме денег, накопилось у такого расчетливого человека за долгую жизнь. Останется прекрасно обставленная квартира, мебель, фаянс и фарфор – Моше Гершензон коллекционировал чайные сервизы и статуэтки, собирал почтовые марки. Что, например, делать с письмами Счастливчика Изи – к себе забрать или ждать, пока сын пожалует из Израиля?

О завещании Моше Гершензон ни разу не заикнулся, хотя на что‑то, бывало, намекал.

Поиски доктора затянулись, и Малкин стал нервничать, озираться, вышагивать взад‑вперед по коридору, читать от нечего делать надписи на дверях и по привычке выискивать еврейские фамилии. Еврейских фамилий в онкологическом отделении не было – ни врачей, ни медсестер, и Ицхак поймал себя на том, что скоро тут и больных‑евреев не станет. Все мало‑помалу вымрут, и некого будет звонком будить поутру и приглашать к умирающему собрату.

Прошло почти полчаса, пока, наконец, не появился старый знакомец – доктор Мотеюнас.

– Прошу прощения… Срочное дело… – скороговоркой оттарабанил он. – Как, понас Малкинай, поживаете?

– Лучше, чем ваши пациенты.

– Приятно слышать… Увы, мой прогноз насчет вашего друга не подтвердился. Его одежда совсем прохудилась – некуда заплаты ставить… – Он помолчал и, как бы совсем забыв о больном, полюбопытствовал: – Еще шьете?.. Через две недели лечу на конгресс в Иерусалим… в вашу страну.

Малкин поздравил его взглядом.

– Может, по старой памяти тройку сошьете?

– Рад бы… Если бы чуть раньше.

– Раньше в Израиль ни вас, ни нас не пускали. Сами туда не собираетесь?

– Мой поезд уже ушел.

– Все лучшие портные уехали.

– Другие вырастут.

– Но не евреи. Евреи шьют, как боги…

Ицхак не был расположен точить лясы. Ему хотелось поскорей узнать, жив ли Моше Гершензон или давно в мертвецкой, но Мотеюнас как нарочно не спешил, расхваливал Израиль, его медицину (мертвых воскрешают!), уверял, что скоро и Литва станет свободной и независимой, что евреи перестанут отсюда уезжать, и все будет, как до войны.

– Как до войны уже никогда не будет, – помрачнел Малкин.

– Будет, будет… Женщины нарожают детей… Откроются школы, лавки…

Мотеюнас весь лучился доброжелательностью и уверенностью: на лацкане у него сиял новехонький значок со столпами великого Гедиминаса – символами прежнего могущества и величия Княжества Литовского.

– У вашего друга есть кто‑нибудь из родных в Литве? – осведомился Мотеюнас.

– В Литве – никого. Сын в Израиле… Могу ему сообщить.

– Вряд ли успеет. Из Бен‑Гуриона только один рейс: Тель‑Авив – Бухарест – Москва.

– Ничего не поделаешь. Сами как‑нибудь похороним.

– Хоронить должны молодые. Таков закон природы.

– Видать, то ли закон не тот, то ли мы, евреи, не по закону природы живем.

Доктор задумался и, уважительно глядя на Малкина, промолвил:

– Чего только ради старой дружбы не сделаешь. Подержим его до прилета сына в холодильнике.

– Он что – уже? – дрогнул Ицхак.

– Может, еще сутки‑другие протянет. – Кто‑то его в этот момент окликнул, и Мотеюнас, извинившись, удалился.

Ицхак вошел в палату, нарочито бодро поздоровался, но Моше Гершензон не отозвался, лежал неподвижно, держа по‑солдатски по швам обескровленные руки с длинными замершими пальцами, уже посиневшими в фалангах. Провалившиеся, как бы вытекшие из впадин глаза были устремлены в потолок, где, как большая, со стершимися кубиками игральная кость, определяющая размер выигрыша или проигрыша, висел запылившийся светильник. Всегда аккуратно зачесанные волосы Моше Гершензона от долгого лежания слиплись и торчали колтуном над сузившейся кромкой лба.

На нем была голубая, в полоску, больничная пижама, жизнерадостный цвет которой не вязался с землистостью лица и почти полной неподвижностью тела.

Господи, с каким‑то жалостливым и стыдным отвращением подумал Малкин.

Неужели это тот самый щеголь и франт, благоухавший заграничными «шипрами», менявший два раза на дню пиджаки? Неужели это тот самый живчик и пролаза, который, презрев свою расчетливость, порой в кураже швырял – знай, дескать, наших! – на стол перетянутые бумажными полосками банкноты?

Неужели это тот самый человек, который до своей убийственной болезни ни разу в больнице не лежал?

Растерявшись, Ицхак снова виновато поздоровался, но Моше Гершензон только пожевал пересохшими губами.

– Это я – Малкин. Узнаешь?

Ни вздоха, ни стона. Только жевание губ, на которых запеклись какие‑то сокровенные, перезревшие слова.

– Привет тебе от всей команды, – беспомощно, тупо промолвил Ицхак. – От Гирша и Натана.

Моше Гершензон зашевелился, перевел оскопленный недугом взгляд с игральной кости, сулившей ему сокрушительный, непоправимый проигрыш, на Малкина и, скорее, из чрева, чем из горла выдохнул:

– Э‑э‑э… Иц…

– Да, да, Ицхак… – обрадовался Малкин.

Открылась дверь, вошла Аста со шприцем, подошла к койке, задрала умирающему пижаму и заученно воткнула иглу.

Морфий! Ицхак от догадки покрылся холодным потом.

Лекарство, однако, не усыпило Моше Гершензона, а взбодрило. Он вдруг поднес ко лбу руку, провел ею по морщинам, как будто вознамерился стереть их, и что‑то произнес по‑еврейски.

– Понятно, понятно, – приговаривал Ицхак, поощряя его усилия.

Но зубной техник мычал, как глухонемой, и из его мычания, из мелкой сечки его слов, из огрызков и жмыха его мыслей Малкин постепенно выстраивал что‑то цельное, разумное, прощальное.

Еще при первом посещении, осенью, Моше Гершензон просил Ицхака в случае смерти уведомить Счастливчика Изю, подробно описал место, где хранятся погребальные деньги – третья полка домашней библиотеки, шестой том сочинений Ленина (Ленина он держал не для собственного пользования, а для отвода глаз), страницы – от четырнадцатой до двухсот пятидесятой, каждая купюра – четвертак. Не делал он секрета и из того, куда спрятал письма сына – верхний правый ящик письменного стола, конторский скоросшиватель с пометкой «Взносы членов первичной организации ДОСААФ».

Почти шутя, питая в душе робкие надежды на выздоровление, Моше Гершензон, еще тогда совсем не похожий на покойника, с улыбкой делил свое имущество – предлагал устроить для бедных и нуждающихся своеобразный день открытых дверей – пусть каждый возьмет то, что ему нужно – посуду, столы и стулья, румынские занавески, простыни, одеяла, этажерки, люстру, ночники, коврики, траченные молью, шкафчики, книги, полотенца, махровые халаты… Весь свой гардероб он велел подарить городскому сумасшедшему Хаимке, а сервизы отдать в столовую ветеранов войны и труда, в которую он последние годы хаживал питаться по удешевленным ценам – пусть орденоносцы хлебают чай и вспоминают его, грешника, добрым словом.

Была у Моше Гершензона и одна особая просьба, огорошившая Ицхака, – отнести оставшиеся от проводов деньги родственникам Брониславы Жовтис, а также предложить им старенький «Москвич». Что с того, что они сексоты и фискалы – пусть простят его и не плюют на его могилу.

Малкина сперва забавляла его веселая и нагловатая щедрость, его напускная забота о ближних, его навязчивые, патриаршие заветы – выпишется из больницы и всем фигу покажет. Но чем дальше, тем больше Ицхак убеждался, что за всей этой бравадой, за всеми этими шуточками‑прибауточками кроется что‑то серьезное и твердо решенное.

Во всех наставлениях зубного техника, то смешивших, то путавших Малкина, была одна удивительная странность – в них он никогда не упоминал о сыне – Счастливчике Изе. Моше Гершензон ни разу не обмолвился и о письмах, которые он с такой гордостью читал им в Бернардинском саду.

За окном медленно и вяло приближался короткий февральский полдень.

Моше Гершензон тихо постанывал, что‑то бормотал, не заботясь о смысле.

В палату просунула голову санитарка с подносом.

– Исты будете?

– Спасибо, – ответил за умирающего Ицхак. – Сыты.

Запах картофельного пюре, лапши, говядины.

Малкин подошел к койке, приподнял голову Моше Гершензона, взбил подушку. Голова зубного техника была легкой, как охапка сухого, июньского сена. На виске слабо пульсировала одинокая жилка – она поклевывала желтый покров кожи, под которой с упорством саранчи откладывала свои прожорливые личинки смерть.

У Малкина не было сил ни оставаться, ни уходить.

Что за проклятая доля – быть душеприказчиком тех, кто моложе тебя и прочней сколочен. Господи, зачем ты караешь меня не только собственными, но и чужими бедами? У меня ведь их, своих, хоть пруд пруди! Кому исповедуюсь, кому пожалуюсь, когда пробьет мой час? Липе в Бернардинском саду? Застывшему от стужи воробышку на скамейке? Не потому ли ты даровал мне долголетие, что для меня никогда не существовало и поныне не существует ни чужих бед, ни чужих горестей? Не потому ли, что я никогда не пытался обрядиться в золото и тщеславие, прикрыть свою наготу, свои язвы и раны хитростью и вероломством? Не потому ли, что я – только не карай меня за мою гордыню – одновременно маленький человечек и все человечество. Ведь без каждого из нас оно – сирота? Не так ли?

Малкин нанизывал одну мысль на другую и, стыдясь своей торопливости, поглядывал на часы. Сиди, не сиди – ничего не высидишь.

Он встал и, поклонившись койке, покрытой серой простыней, как открытому гробу, выскользнул из палаты. По коридору сновали беспечные, защищенные своей молодостью от всех напастей, сестры в белых кокошниках, из‑под которых полузабытыми соблазнами струились роскошные волосы.

Через три дня, получив телеграмму Малкина, заверенную Мотеюнасом, прилетел из Тель‑Авива Счастливчик Изя. Вместе с ним прибыла его жена, высокая египетская еврейка, не говорившая ни на одном языке, кроме иврита и арабского. Статная, тонкорукая, она была вся, как перелетная птица, окольцована перстнями и браслетами. Большие серебряные серьги как бы приковывали ее крохотные ушки к изящной, немного диковатой голове.

– Ицхак Бен Моше, – представился гость. – Моя жена Варда.

– Ваш тезка. Портной Ицхак Малкин.

Счастливчик Изя перевел жене только фамилию.

– Командуйте парадом! – буркнул гость, ставший на родине праотцев из общедоступного Гершензона благозвучным, как звук лютни, Бен Моше. – Куда поедем? Надеюсь, не сразу на кладбище. – Он был деловит и напорист. – Надо бы умыться, переодеться, отдохнуть.

– Поедем к вам.

– К нам?

Малкина смутил вопрос гостя, но он не выдал своего смущения. Ицхак нашел такси, сам сел впереди, а Бен Моше и Варда устроились на заднем сиденье.

– Адрес, – проворчал таксист.

Малкин не торопился называть улицу, выжидал, когда ее назовет Счастливчик Изя, но гость сделал вид, будто не расслышал.

– Может, наконец, скажете, куда ехать? – возмутился рулевой.

– Магазин «Меркурий», – слукавил Малкин. Он не стал злить ни водителя, ни равнодушного к назревающей перепалке Бен Моше.

Вот это да! Приехал на похороны отца и не знает, где он живет. Наверно, забыл. Немудрено – прошло почти что два десятилетия.

Варда куталась в короткую, до колен, шубку – не то беличью, не то лисью, – прижималась к мужу, зыркала в окно и, глядя на крупные хлопья кружившегося в воздухе снега, простодушно восторгалась:

– Шелег! Яфэ меод![[2]](#footnote-2)

Настроение у нее было, отнюдь, не похоронным. Она никогда в глаза не видела ни Моше Гершензона, ни снега, ни этого по‑варварски хмурого города, без открытого неба и тепла, и потому, должно быть, испытывала необъяснимую приподнятость и волнение первооткрывательницы.

Было скользко, водитель осторожно вел машину по наледи, подержанную «Волгу» то и дело заносило в сторону, Варда подчеркнуто громко вскрикивала от неожиданности, Бен Моше успокаивал ее, чмокая с вышколенной нежностью в щеку.

Озадаченный Малкин, забыв пристегнуться, на ходу пытался попасть пряжкой в паз замка и на чем свет стоит журил себя за дурацкое милосердие.

Ну почему, почему он должен разрываться на части: и встречать Счастливчика Изю в аэропорту, и договариваться с могильщиками, и выбивать разрешение похоронить Моше Гершензона на еврейском кладбище – оказывается, и тут нужно дозволение!

Натан Гутионтов и Гирш Оленев‑Померанц палец о палец не ударили – спасибо бывшие сослуживцы покойного из военного госпиталя помогли; начальник пятерых солдат и одного сержанта, заканчивавших лечение, в подмогу дал, а то (срамота какая!) некому было бы и гроб к яме нести. Хоть на площадь выходи и во всю глотку ори: «Люди добрые! Евреи и христиане! Помогите своего ближнего до могилы донести. Может быть, завтра и вам понадобится помощь!»

Отец небесный, до чего обезлюдел город, кишевший некогда евреями, как море килькой! Как изменились времена: чужих все больше, своих все меньше.

Обида смешивалась у Ицхака с растерянностью. Как же так, терзался он, родной сын не помнит, где живет отец! Счастливчик Изя что, свои письма до востребования писал? А может, прав флейтист: не он их сочинял, а сам Моше, чтобы за подрубленный сук уцепиться.

– Еш по малоним товим? (Есть тут хорошие гостиницы?) – опылила дребезжащую колымагу прокаленным на солнце ивритом Варда.

– Можно получить в Вильнюсе приличную гостиницу? – спросил Бен Моше Ицхака.

– За деньги все можно.

– За ними дело не станет, – бросил Счастливчик Изя и объяснил: – Варда может спать либо в своей, либо в гостиничной постели – другими она брезгает.

– Желаете прямо в гостиницу?

– А куда прикажете?

– На квартиру… к отцу, – промямлил Малкин, чувствуя, как у него пересыхает во рту.

– Не возражаю, – чмокнув Варду очередной раз в щеку, произнес Бен Моше.

Дом, где жил покойный, находился на противоположном от аэропорта конце города. До него надо было добираться не меньше чем полчаса.

Уставшая от перелета, Варда откинула свою маленькую, словно вылепленную из черного воска, голову на спинку и задремала. Счастливчик Изя победителем поглядывал в окно – уехал выкупленным рабом, а приехал свободным и богатым.

Малкин шмыгал носом и задавал себе всю дорогу вечные еврейские вопросы.

О чем перво‑наперво спрашивает любящий сын, прилетевший на похороны своего отца?

Ну, конечно, не о гостинице.

Он спрашивает о том, как все произошло, какие просьбы отец высказал на смертном одре. Где установлен гроб с телом – дома или где‑нибудь в другом месте, в военном госпитале, например? Он, любящий сын, начинает не с прихотей своей жены, не с поцелуйчиков и шепоточков, а с молитвы.

Но может, укрощал свою неприязнь Ицхак, *там* , в Израиле, все иначе, может, у них там не принято распускать нюни, рвать на себе волосы, занавешивать в доме покойника зеркало. Может, *там* все к смерти привыкли, как к закату солнца. Гутионтова Лариса так и написала – с самого рождения жизнь как посмертная фотография, в черную рамку вставлена…

Чужая душа – потемки.

Совестить легко, поучать приятно. Если хорошенько пораскинуть мозгами, Счастливчик Изя мог и не прилететь… И писем не писать…

Неласков был отец, неласков. Не любовью к себе привораживал, а кошельком. Говорят, когда сына за денежки из тюрьмы вызволял – валютчиков в ту пору карали особенно сурово, – больше за себя боялся, чем за свое чадо. А вот от сиротства и беспризорности его не уберег.

Мотается где‑то с жульем – ну и пусть мотается, промышляет золотишком – ну и пусть промышляет, только бы его, Моше Гершензона, в покое оставил, в свои делишки не впутывал. Он за ним и в Израиль не поехал – не хотел с ним *там* на одних нарах баланду хлебать. Поди разберись, кто перед кем больше провинился…

Такси въехало во двор. Водитель помог внести чемоданы.

Варда спрятала свой тонкий, как амулет, носик в воротник шубки, Бен Моше уставился на обрывки предвыборных плакатов, испещренных русской матерщиной, Малкин беззвучно, по‑ученически считал этажи и молил Господа, чтобы только лифт не застрял.

На лестничную площадку высыпали соседи Моше Гершензона, увидевшие сверху подкатившее такси и узнавшие Счастливчика Изю. Они наперебой поздравляли его с прибытием на родину, гость деланно улыбался и раскланивался во все стороны, никого не желая обидеть.

Малкин протянул ему ключ, и Бен Моше открыл дверь в квартиру отца.

– Похороны отсюда?

– Нет. Прямо из… – Ицхак набрал в легкие воздух, – из морга… Завтра в четыре…

– Лё тов… – процедил гость.

– Ма ху омар?[[3]](#footnote-3)

– Левайя махар.[[4]](#footnote-4)

– Тишаль, Ицхак, од паам аль малой?[[5]](#footnote-5)

– Аль тидаги. Ийе бесейдер.[[6]](#footnote-6)

Варда вынула из сумочки зеркальце, помаду и, растянув губы, густо подкрасила их.

– В четверг мы улетаем. Стоит ли на два дня переселяться? – вслух усомнился Бен Моше. – Не сидеть же «шиве» в гостинице.

– Лучше дома, – поддержал его Ицхак. – Еду я вам буду приносить.

– Спасибо. Когда завтра встречаемся?

Он ни на минуту не терял ни своей напористости, ни деловитости.

– В два. В больнице.

Бен Моше и Варда оглядели квартиру, подошли к окну и с птичьего полета обозрели окутанный морозной дымкой город.

– Спасибо за вашу заботу об отце… о нас, – повернувшись к Малкину, растроганно сказал Счастливчик Изя. – Что бы мы без вас делали? – Он подошел к Варде, рукой распушил ее волосы, закусил губами черную прядь и глухо промолвил: – Всякое между нами было. Но отец – это отец… Спасибо…

– Еврей еврею должен помогать, – отмахнулся от благодарности Малкин.

– Хоронить друг друга? – усмехнулся Бен Моше, и в его усмешке Ицхак почувствовал горечь и обиду на отца.

– Не беспокойтесь. Все будет по первому разряду – и место на кладбище недалеко от могилы Виленского гаона, и могильщики, венки. Ваш отец просил не скупиться… Он для этого… и деньги отложил…

– Я заплачу за все. Тратьте сколько угодно. Вы с ним были до конца?

– Да.

– Он что‑нибудь в последние минуты говорил?

– Очень мало. Проваливался либо в бред, либо в молчание.

– Никого не вспоминал? Ни меня… ни деда Товия?

Малкин не хотел обижать его. Он что‑то нескладно соврал, но Бен Моше обрадовался даже этому вранью.

– Значит, вспоминал…

Счастливчику Изе хотелось услышать свое имя, но Ицхак вдруг замолк, нахмурился, видно, смекнув, куда гость клонит. Опять зарытое в чугунках золото, блеск которого пробивается и сквозь земную толщу.

– Ваш отец просил все раздать бедным.

– Меня тут, – Счастливчик Изя обвел рукой квартиру, – ничего не интересует. Своего барахла хоть отбавляй. Главное я давно увез – свою жизнь. Ничего больше мне не надо.

– А письма? Как быть с письмами?

Искреннее удивление смягчило грубоватое лицо гостя.

– С письмами? С чьими?

– С вашими… Отец их нам время от времени читал. И мы слушали, раскрыв рты.

– А‑а! – воскликнул Бен Моше, как будто счастливо ушел от погони. – Конечно, конечно… Мы друг другу простили все. После моего отъезда как никогда сблизились. – Он говорил без остановки, без пауз, как зубрила на уроке, но от его слов веяло чем‑то знакомым, повторяющимся, пошлым. – Разве папа их не выбросил в мусорную корзину?

– Как можно! Он их хранил, как величайшую драгоценность, – к удобной, расхожей пошлости прибег и Малкин.

– Замечательно, – млел от восторга Счастливчик Изя. – Обязательно возьму их с собой в Израиль. На память…

В его возбуждении, в его скороспелых восторгах было что‑то чрезмерное и натужное – ему не хватало задумчивости и сдержанности. Во взгляде же, как в весенней полынье, посверкивали и солнечные, и ледяные взблески: глянешь на воду – что ни на есть долгожданная весна, глянешь на белое обрамление – лютость зимы.

– Оказывается, вы тут все знаете, – похвалил Малкина сын покойного и внезапно, без стеснения, озадачил его вопросом:

– Папа о кладе ничего не говорил?

– О каком кладе? – не дрогнул Ицхак. Хотя Счастливчик Изя и увез в Израиль главный клад – свою жизнь, он от клада, ее изрядно облегчающую, не отказался бы.

– Наверно, все свиньям достанется, – по‑отцовски резко и раздраженно бросил гость.

Малкин не стал ломать голову, кого он подразумевает, засуетился и решительным шагом направился к выходу.

Редко в день похорон светит такое расточительное, щедрое солнце. Если бы не колючий северный ветер, шипами вонзавшийся в спину, погоду можно было назвать не погребальной, а праздничной.

Все провожане уместились в катафалке.

За гробом, как за семейным столом, скорбно восседали сын Моше Гершензона, его невестка, Ицхак Малкин и Гирш Оленев‑Померанц (Натан Гутионтов выразил свои соболезнования по телефону), шесть военнослужащих Советской армии, а также коренастый мужчина, представившийся как Иван Тимофеевич Курнов, бывший заведующий стоматологическим отделением военного госпиталя.

Курнов клевал носом, испуганно просыпался на ухабах и выбоинах и через минуту‑другую снова впадал в дрему.

– Господи, до чего мы дожили! – кипятился неугомонный Гирш Оленев‑Померанц. – На кладбище ходим чаще, чем в магазин.

– Тсс… – прошептал Малкин.

Счастливчик Изя, скрестив на груди руки, прижимался к жене, как бы желая согреться. Сама же Варда, не видевшая на своем веку катафалка, усыпанного еловыми ветками, все время пыталась хотя бы на вершок отодвинуться от гроба и избежать прикосновения с солдатами.

Те поглядывали на нее с откровенной похотью. Веснушчатый сержант даже подмигнул смуглянке, и Варда заерзала, встрепенулась, как вспугнутая камешком птица.

– Ляма итану цава? (Причем тут армия?)

Бен Моше что‑то отсыпал ей на том же жгучем иврите.

Иван Тимофеевич, не отличавший немецкий, который он изучал до войны в школе, от древнееврейского, оживился и одобрительно брякнул:

– Гут, гут… Их ферштей…

У ворот кладбища катафалк остановился. Солдаты и сержант напялили на бритые головы ушанки, спрыгнули на промерзшую землю, выстроились попарно, вскинули в воздух гроб, и опустили его на свои надежные плечи. К ним, подскользнувшись на льду, присоединился Счастливчик Изя. Он подставил плечо, поправил вышитую кипу, пристегнул ее скрепкой к волосам; Иван Тимофеевич нахлобучил на лоб фетровую шляпу, придававшую ему сходство с ушлым Никитой Хрущевым, Гирш Оленев‑Померанц взял под руки сопротивлявшегося Ицхака, и вся процессия двинулась по заасфальтированной дорожке к стынущей на морозе глине.

Озябшие вояки шли чуть ли не строевым шагом. Варда каблучками выстукивала на асфальте прощальную дробь, Курнов, стряхнувший с себя дрему, страдальчески сморкался в смятый простудой носовой платок.

Замыкали шествие Ицхак и Гирш Оленев‑Померанц.

Откуда ни возьмись выскочила лохматая дворняга кладбищенского сторожа и громко залаяла.

– Ну чё ты… – пристыдил ее Иван Тимофеевич. – Моисей Израилевич – золотой человек… Зо‑ло‑той, – увещевал он дворнягу. – Ангелы должны над ним петь. А ты, бессовестная, лаешь как оглашенная…

Но собачонка не унималась.

– Что это за похороны, что за похороны? – причитал Гирш Оленев‑Померанц. – Двенадцать человек и паршивая дворняга. Где оркестр? Где прощальный салют? Где почет мертвому и удовольствие живому?

– Побойся Бога! – одернул его Малкин. – О каком удовольствии ты говоришь?

– Разве толпа за гробом – не удовольствие? Сотни живых теплокровных людей с венками, блистательный Шопен… Это, брат, не то же самое, когда за гробом один живой, а вокруг уйма мертвых.

Счастливчик Изя оглянулся, опалил стариков укоризной – чего базарите на святом месте?

У вырытой могилы охлопывали себя по бокам от холода, как пленные немцы, могильщики. Как только процессия остановилась, они ухватились за толстые веревки, и Моше Гершензон плавно, бесшумно отчалил от мирской юдоли, от промерзшего берега, на котором остались два чугунка с фамильным золотом, разбомбленная стекольная фабрика Товия Гершензона, Аральское море, соляные копи, косоглазый следователь в тюбетейке, тюрьма в средневековом окраинном Ашхабаде, купе в международном поезде Москва – Варшава, харкающая кровью Бронислава Жовтис, пограничный город Гродно, беглая бухарская красавица Нона Кимягарова, последний его начальник – Иван Тимофеевич Курнов, двойник незадачливого Хрущева, шесть военнослужащих – защитников страны, которую он тихо и упрямо ненавидел, два ненужных еврея – Ицхак Малкин и Гирш Оленев‑Померанц и несчастная, бессовестная дворняга кладбищенского сторожа, лающая на живых и мертвых; отчалил и направился туда, где единственного сына давно дожидались его родители Товия и Перл Гершензоны, где о своем запоздалом счастье – статном и голубоглазом женихе, зубном технике – рассказывала своей подруге Эстер Малкиной Бронислава Жовтис, покашливая в кулачок; поплыл туда, где никто ни от кого вестей не получает и откуда никто никому не пишет ни добрых, ни злых писем, ибо мертвые живут в одном доме и не переписываются – каждый видит каждого, как в зеркале.

– Золотой человек был Моисей Израилевич… – бубнил Курнов.

Но никто его не слушал.

Варда косилась на солдат в чужих шинелях и в шапках‑ушанках и вспоминала часть, в которой служила – узкую, каменистую полоску на границе с Ливаном, маленький городочек Метулу, немилосердный хамсин и черного, как грозовая туча, горного орла в синем до оторопи небе. Вспоминала и куталась в свои воспоминания, как орлица в свое оперенье.

– Золотой был человек Моисей Израилевич!.. Какие протезы мастерил! Сносу им нет… – повторял Иван Тимофеевич и скалил вставные зубы.

Он был единственный, кто плакал над могилой.

Счастливчик Изя в кипе, в модном мохеровом пальто стоял неподвижно, прислушиваясь к хлопкам лопат о глиняный холмик, и каждый хлопок был звонкий, как пощечина – от него что‑то вспыхивало внутри, гормя горело лицо, и в морозном воздухе роились не снежинки, а буквы, складывавшиеся, как у доски в школе, куда тридцать с лишним лет тому назад его отвел отец, в слова, в строчки, страницы, беспрекословные, как заповеди, которые отныне, он, может быть, наконец‑то примет, как напутствие и утешение.

Он возложил огромный букет роз к могиле, низко поклонился и по мягкому снегу, как по терниям, зашагал прочь.

У ворот он помыл руки и раздал всем помощникам деньги – не обычные, а чужестранные.

Могильщики сразу сунули их за пазуху, а солдаты и сержант долго отнекивались, но и те не устояли перед хрустящими банкнотами, изображавшими американского президента в камзоле с расстегнутым воротом и в белой сорочке с жабо, смахивающим на крем с бисквитного пирожного.

Подошли к рукомойнику и Гирш Оленев‑Померанц, и Ицхак Малкин. Воды было на самом донышке, и старики, подняв крышку и набрав полные пригоршни снега, затолкали его внутрь. Глядишь, случится оттепель, и к следующим – чьим только? – похоронам растает.

Они возвращались с кладбища пешком, так, как повелось исстари, как привыкли в детстве, незамутненном никакими утратами, и с каждым шагом жизнь, галдящая, гудящая, заливающаяся на все лады, брала верх над смертью, но это было уже не столько их торжество, сколько ее, жизни.

## Глава десятая

Даже в далеком детстве Ицхак трудно переносил прощальную гульбу капризной прибалтийской зимы. Его охватывало неизбывное чувство отчаяния, когда откуда‑то с севера – говорили, с Финляндии – на местечко обрушивался ледяной ветер (литовцы и величали его финским), а вслед за ветром накатывала непререкаемая, все застящая пурга, от завывания которой заходилось сердце.

Малкин оживал и преображался весной. Он по‑детски радовался ее стремительному началу – неистовому таянию снега, жизнелюбивому журчанию ручьев, бесшабашности первой зелени. Бывало, убежит на косогор, отыщет молоденький, только что вылупившийся подснежник и, по‑христиански опустившись на колени, примется согревать своим дыханием, дуть на него, как на робкий газовый огонек.

Весна как бы распахивала перед Ицхаком какое‑то новое, доселе невиданное пространство, открывала доступ к тому, что зимой прозябало под снегом и отсекалось от его взора – к полноводной Вилии, к вдохновенно и призывно шелестящему лесу, к небу, очищенному от тусклой и толстой кожуры облаков.

В весенние месяцы у Малкина зарождалась великая и почти непристойная жажда жизни, которая вытесняла все горести и невзгоды и властно звала на свое лоно, как на любовное ложе, полное полузабытых и сладостных утех.

Ликование пробуждающейся природы притупило, видно, и растерянность, вызванную мучительным уходом Моше Гершензона, который как‑то незаметно, но прочно обосновался в его, Ицхака, жизни.

На дворе стоял не вьюжный и неуступчивый февраль, а конец плутоватого, склонного, как сердцеед к изменам, марта, и солнце уже по‑кошачьи вкрадчиво хозяйничало на крышах, заглядывало в незашторенные окна и понемногу растопляло лед недавних утрат. Ицхака снова потянуло в Бернардинский сад, на скамейку под старой и верной липой, к сметливым воробьям, к их вечному нищенскому промыслу, к по‑весеннему развязной Вилейке.

Все казалось не так безнадежно, как зимой во время съемки, когда он, слушая команды закутанного в толстенный шарф жизнерадостного Джозефа Фишмана, брел по парку, как по нескончаемой пустыне и мысленно прощался со всеми.

Что с того, что их осталось после смерти зубного техника только трое? Ицхак почти что уговорил приходить в парк азербайджанца‑еврея Михаила Рубинова, по‑комиссарски агитировал сапожника Аббу Гольдина и подполковника медицинской службы Савелия Зельцера. Даст бог, в их ряды вольются все вдовцы и калеки, все отставники и сироты.

Гирш Оленев‑Померанц по обыкновению только посмеивался над ним:

– Дал бы ты, Ицхак, лучше объявление в «Эхо Литвы»: так, мол, и так, требуются для совместных воспоминаний евреи разных возрастов, от шестидесяти пяти до девяноста. Столетних просим не обращаться… Сбор в Бернардинском саду… сегодня и всегда… Может, кто‑то, старина, клюнет и придет, как на массовку… Малкин храбро отражал его натиск. Но Гирш Оленев‑Померанц уверял друга, что воспоминаниями теперь никого – ни евреев, ни турок, ни русских, ни литовцев – не приманишь. Прошлое, конечно, хорошая приманка, ибо нет человека, который когда‑то чего‑то не лишился бы или чего‑то не приобрел, но оно несъедобно. Понимаешь, Ицхак, не‑съе‑доб‑но! Прошлым невозможно заплатить за газ и электричество, за воду и отопление.

Ицхак не спорил, внимательно выслушивал его возражения и думал о том, что хоть прошлое и неплатежеспособно, оно, пожалуй, единственный признак, отличающий разумное существо от животного. У волка, убеждал он флейтиста, нет прошлого. Только настоящее. Прошлая или будущая добыча его не волнует.

– Если ты, Гирш, такой умный, – хорохорился Ицхак, – ответь, пожалуйста: а что делать с теми, вся добыча которых – прошлое и еще раз прошлое. Мала ли эта добыча или велика, отнять ее у человека невозможно. Даже на костре… даже под страшными пытками… То, что свершилось, кажется притягательней того, что еще свершится.

– Ну да… Послушать тебя, Понары и Освенцим привлекательней, чем черта оседлости и погромы, – вел широкое наступление на фортификации противника Гирш Оленев‑Померанц.

– А послушать тебя, – крупными ядрами крушил позицию флейтиста Малкин, – сегодня тишь да гладь да божья благодать… Разве без газа не сжигают? Разве не убивают, не кромсают тысячами, как в мясорубке?

Малкину и самому было невдомек, что он защищал – бессмыслицу или смысл, когда Гирш Оленев‑Померанц припирал его к стенке, доказывал, что и прошлое сшито не из одного куска шерсти, что и в нем хватало всего, о чем и вспоминать‑то страшновато. Можно прополоть огород, но историю? Это еще никому не удавалось. Все времена плохи, ибо дерьма со дня сотворения мира всегда было больше, чем его производителей, – взбирался на крепостную стену победитель Гирш Оленев‑Померанц.

– Дерьмо‑то ты, Ицхак, стараешься не вспоминать…

– Стараюсь вспоминать только то, что было со мной.

– А то, что с тобой было, для истории то же самое, что капля для океана.

– Но капля океан бережет.

Как только подсыхала земля, и он, и Малкин спешили в Бернардинский сад. Первая завязь на оголенных деревьях, прилет пугливых, отливавших глазурью грачей, маляр с огромной кистью, перекрашивающий неказистые парковые скамейки, и витавшие в воздухе воспоминания доставляли им ни с чем не сравнимую радость, оправдывавшую, собственно, само их существование.

Малкину нравился гнездившийся издавна в ноздрях запах краски, способной утеплить и обновить мир быстрей, чем взгляд и слово. Ицхак, бывало, подойдет к молчуну‑маляру, заглянет в ведерко, как некогда заглядывал в колодец – выжидательно, настороженно‑суеверно и тихо что‑то бормочет, и от этого дружелюбного бормотания, от этого бессловесного побратимства, как от умокнутой в ведерко кисти, веяло и обновлением, и теплом. Не могло омрачить его радость и то, что ни азербайджанец‑еврей Михаил Рубинов, ни подполковник медицинской службы Савелий Зельцер, ни ангелоподобный сапожник Абба Гольдин не откликнулись на его приглашение – никто из них пока в Бернардинский сад не пожаловал. Мало ли чего случается с людьми! Нагрянул, к примеру, Ицхак к родне Брониславы Жовтис, чтобы последнюю волю Моше Гершензона выполнить – отдать остаток денег, хранившихся в первом томе Ленина, а они, Жовтисы, фьюить, фьюить – в Америку упорхнули. Сейчас все куда‑нибудь упархивают. Оседлый период в жизни евреев кончился – начался кочевой. А, может, никуда ни Зельцер, ни Гольдин не укатили – выбрали скамеечку около своего дома и сидят себе под деревом, воробьев подкармливают, в прошлую жизнь играют.

Чаще других в Бернардинский сад прибегал запыхавшийся музейщик Валерий Эйдлин, весь увешанный заграничной благотворительной аппаратурой. Он включал свой диктофон и принимался пылко, как влюбленный, задавать Ицхаку вопросы – расспрашивать о службе в Алитусе, в уланском эскадроне, о царивших там нравах, о покойной Эстер, о боях на Орловско‑Курском направлении, о распространенных среди литваков ремеслах, о забредавших в Литву хасидах.

Малкин отвечал Эйдлину устало, скупо, и музейщик возмещал его скупость тем, что записывал щебетание птиц на деревьях, плеск Вилейки и отдаленный шум города.

Отчаявшись разговорить Ицхака, Валерий принимался рассказывать о всякой всячине – скоро, Ицхак Давыдович, в Вильнюсе откроется еврейский ресторан, и всё там будет кошерное: повар, официанты, гардеробщик, пища и вино; хозяин, Ицхак Давыдович, – из Парижа, где вы в молодости учились шить, он согласился обеспечивать бесплатными обедами двести евреев. Представляете себе, Ицхак Давыдович, за столами сидят бедняки, и им на шикарных подносах подают устрицы и креветки, гусиную печенку и лягушачьи ножки в бургундском…

Малкин рассеянно слушал. Всю жизнь прожил без устриц и лягушек в шампанском и дальше проживет. Он не настолько беден, чтобы воспользоваться великодушием новоявленного Ротшильда, к тому же нет большей муки, чем задарма обедать на виду у всего города, уж лучше голодной смертью помереть.

Злоупотребляя терпеливостью портного, Эйдлин жаловался на свое начальство – мой директор, Ицхак Давыдович, прошу прощения за грубость, такой жополиз, такой жополиз – свет не видал… так лезет власти в задницу, так лезет, что без посторонней помощи ему оттуда уже, пожалуй, не выбраться.

Ицхак, увы, не был в состоянии помочь ни притесняемому Валерию, ни его директору. Наболело у бедняги, вот он и изливает перед ним душу.

Хотя Эйдлин и досаждал ему своими расспросами и жалобами, Ицхак искренне огорчался, когда музейщик исчезал надолго или уезжал в длительную командировку.

Малкин понимал, что настанет день, и интерес Валерия к нему будет исчерпан. Еще одну кассету запишет, еще сотню‑другую метров пленки ухлопает, и поминай как звали. Улетучился же из его, Ицхака, жизни Джозеф Фишман. Нет, нет, он на них, записывающих и снимающих, не в обиде, он благодарен им за ту вьюгу, через которую он продирался не в Америку, а к своему началу, к притулившемуся у Вилии местечку, к заждавшейся Эстер, ко всему тому, что обыденному зрению недоступно, ибо даже самому памятливому зрению дано увидеть только клочья. Тогда, в тот день, под стон вьюги и шуршание камеры все обрело какую‑то завершенность и целостность, он дышал не этим воздухом, а *тем* , на заснеженных дорожках Бернардинского сада, как на *том* прибрежном лугу, паслись не в воспоминаниях, а *рядом* те бессмертные коровы и тыкались мордами в его пальто на ватине, в его старость.

Те два часа съемки что‑то перевернули в его нутре, лишили его укоренившегося, вошедшего в кровь ощущения своего сиротства и самовнушенной неполноценности. Оказалось, самое живое вовсе не то, что вокруг копошится, чирикает, лопочет, не Натан Гутионтов и Гирш Оленев‑Померанц, а то, что бесследно и безвозвратно кануло в небытие. Небытие, уловил себя на мысли Малкин, при ближайшем рассмотрении и оборачивается что ни на есть настоящим бытием, самым необходимым и близким. Пока по снегу, как по лугу, бродят *те* коровы, пока по княжеской башне, как по крыше местечковой синагоги, расхаживает пушистый кот рабби Менделя, пока по той вон аллее, как по раскисшему от весенней распутицы поселку, спешит с пирогом на вытянутых руках Эстер, ничего, считай, не произошло, мир не взлетел в воздух, небо не рухнуло, никого из родного дома не изгоняли, никого не убивали в рощах и перелесках, не склоняли ради спасения к отречению и к измене.

Ицхак в одиночку бродил по парку, когда из‑за раскинутого на Кафедральной площади шатра, где которую уж неделю держали голодовку литовцы, требовавшие вывода оккупационной армии из Литвы, вынырнул пристрастившийся к Бернардинскому саду Валерий Эйдлин. Он был налегке, без фотоаппарата и видеокамеры, даже без диктофона, и Малкин сразу же смекнул, что на сей раз музейщик явился не за очередными рассказами, а по какому‑то, может, очень даже важному личному поводу. Неужели и он наладился уезжать? Что же он выбрал – Америку Джозефа Фишмана? Германию или Израиль?

Догадка сдавила сердце и долго не отпускала. Ицхак пригорюнился – ему стало жалко и себя, и Эйдлина, но он не мог себе эту жалость объяснить. Кто ему Эйдлин? Кто он Эйдлину?

– Здравствуйте, Ицхак Давыдович. Я к вам прямо из музея. Все бросил и помчался.

– А в чем дело?

– Вас один человек разыскивает.

Отлегло от сердца – стало быть, пока Эйдлин никуда не уезжает.

– Что за человек?

– Немец.

– Немец? – не выразил никакой радости Малкин.

– Разве немец – не человек?

– Все мы люди. Все… И что ему от меня нужно?

– Он из Тюрингии… Приехал с делегацией германо‑советской дружбы.

– А я причем?

Чем больше Малкин засыпал его вопросами, тем меньше было ясности.

– Пришли в музей на выставку: «Понары в фотографиях и документах».

– Может, ему не я, а Гирш Оленев‑Померанц нужен?

– Вы, именно вы… Хагер подошел к нашему директору и спросил: «Не слышали ли вы про такого Малькина?»

– Я без мягкого знака. Малкин. Как, говоришь, его зовут?

– Директора?

– Немца.

Как и водится у евреев, вопросы строились в колонны.

– Ганс Хагер. Он тоже портной. То есть бывший портной.

– Ганс, Ганс, – пожевал чужое имя губами Ицхак. – Был у нас в мастерской немец. Но как звали – хоть убей.

– Через два дня они уезжают. Он просит о встрече. Если не возражаете, конечно.

Весть и впрямь была ошеломляющей. Малкин не чаял, не гадал, что судьба сведет его когда‑нибудь с пленным немцем‑брючником, помогавшим им, вражеским портным, шить парадное галифе Рокоссовскому.

В темных и сырых подвалах памяти среди бесчисленных имен, дат и событий затерялись и его внешность, и возраст, и звание.

Единственное, что пылилось на полке, были яйцевидная голова с большими залысинами, огненно‑рыжие волосы и рыжие усы с вычурными завитушками.

Эйдлин переминался с ноги на ногу в ожидании решения. Но Ицхак почему‑то медлил, не спеша переваривал услышанное, морщил лоб. Фройндшафт, спору нет, хорошее дело. Но на кой ему приезжий немец, пусть и помощник в прошлом? Что с ним вспоминать, чем с ним делиться? Эстер в гробу перевернется, если он пригласит к себе домой немца…

– У меня кавардак… – наконец выдавил Малкин.

– А что если тут… на скамеечке?

Ицхак насупился.

– На свежем воздухе… Как в Кемп‑Дэвиде…

– Где, где?

– В Кемп‑Дэвиде, – безуспешно повторил музейщик. – Я до двух должен дать ответ.

– А как мы друг друга узнаем? – снизошел Малкин.

– Он маленький, лысенький, рыженький. В три у них прием в Совете министров. А с пяти они свободны. Я, с вашего позволения, приведу его.

– В полшестого так в полшестого. Только с одним условием.

– Честное кавалерское, диктофона не будет, – поклялся Эйдлин и опрометью бросился на Замковую улицу.

Они явились с немецкой пунктуальностью – ровно в пять тридцать. На подступах к Бернардинскому саду уже зажглись фонари. Их свет нетающим снегом падал на подсохшие дорожки, струился по очнувшимся от зимнего обморока веткам.

Маленький, приземистый Ганс в штурмовке плелся за высоким, очкастым Эйдлиным. Он смачно посасывал трубку, и запах отменного голландского табака дразнил ноздри старого курильщика Малкина. В правой руке Ганса поблескивал целлофановый мешочек с живописной картинкой – Тюрингский лес, карабкающийся на террасы горный город Зул, дорога в крепких сосновых объятьях, охотники у костра.

– Ганс Хагер, – подойдя к освещенной скамейке и обдав Ицхака душистым грехом, промолвил немец. – А вы – Малькин.

– Малкин, – поправил его Ицхак и глубоко вдохнул ароматизированный воздух.

– О, да, да, – смущенно затараторил Ганс. – Извините… Мы, немцы, все смягшаем… Отшень, отшень рад… Как фидите, я немного гаварйю по‑русски… Примите, пошалюста, потарок от меня и обшейства германо‑зовиецкой трушбы… – И он протянул Ицхаку Тюрингский лес, горный город Зул и пылающий костер, поначалу, видно, предназначавшиеся другому фройнду.

Малкин долго отказывался от подарка, но в конце концов под решительными взглядами Эйдлина его с благодарностью принял. Хагер, довольный, заморгал белесыми ресницами и, как стеклодув, выдул изо рта душистое облачко благородной «Амфоры».

– Отшень, отшень рад.

Он принялся что‑то втолковывать Ицхаку, но так тараторил, что тот вылущил из его тарабарщины только главное – Ганс приглашает его на все лето в горы, под Зулом, там у него, у Хагера, свой охотничий домик; они будут вместе отдыхать, ходить на охоту (найн, найн, не на медведя, а на зайца), собирать грибы и плести корзины; он, Ганс, научит его и соломенные шляпы делать; плетение отшень и отшень успокаивает. Когда же они отдохнут, то поедут в Берлин и сфотографируются на фоне рейхстага – Ицхак как победитель, а Ганс как побежденный, хотя на войне победителей не бывает, потому что поражение всегда терпит жизнь.

Малкин благодарно наклонил голову, оценив дружеские чувства Хагера, и пообещал, что, если здоровье не подкачает, он обязательно приедет в Тюрингию и научится плести соломенные шляпы. Он вспомнил военную пошивочную мастерскую, где они короткое время работали вместе, признался, что после расформирования интендантской части совершил недостойный поступок – разобрал чужой «Зингер», упаковал его и вывез из Германии.

– О, это невашьно… У нас много, отшень много «Зингер».

Но для Ицхака его слова не были искуплением. Он стал уверять Хагера, что хотя в Германии и полно «Зингеров», справедливость требует, чтобы он присвоенное вернул. Отыскался же среди сотен тысяч немцев Ганс Хагер – отыщется и хозяин швейной машинки.

Ганс удивленно, прощающе‑покаянно улыбнулся Малкину, пыхтя, пососал трубку, откинул капюшон, погладил, как школьный глобус, лысину в прожилках‑меридианах и снова улыбнулся.

Его улыбка странно подействовала на Ицхака. В ней была какая‑то унижающая снисходительность, плохо скрытое превосходство и вместо чувства облегчения Малкин испытал что‑то похожее на острый укол стыда – ну какого лешего он перед ним винится? Хагер все равно не поверит в его искренность. Они, немцы, в большем долгу перед евреями – никакими «Зингерами» его не покроешь.

Ицхак ругал себя за желание слыть добреньким, за самолюбование – чего, спрашивается, корчить из себя праведника. Еще рабби Мендель в детстве поучал его, что на свете есть одно изделие, которое лучше не делать, чем делать скверно. И имя ему – добро.

Малкин вдруг сник, скукожился, внимание его рассеялось, взгляд стал бесцельно блуждать вокруг; чуткий Эйдлин вовремя уловил перемену в настроении Ицхака и бросился спасать положение.

– Герр Хагер рассказал мне, как вы его спасли от неминуемой гибели…

– Я? – опомнился Малкин.

– Если бы не вы, его косточки давно бы истлели в какой‑нибудь Костроме или Калуге.

– Да, да, – закивал Ганс. – Если бы не герр Малькин, я бы уже не шьиль…

– Не жил, – перевел Ицхаку с русского музейщик.

– Да, да… – Хагер с той же доброжелательностью принялся тормошить память Ицхака, которому много, много лет тому назад начальник интендантской службы – полковник, оберст Иваньшенко задал вопрос жизни и смерти: «Нужен ли нам этот лысый немец?»

– И вы, Ицхак Давыдович, – перехватил у Ганса инициативу Эйдлин, – полковнику Иванченко будто бы ответили: – «Нужен, товарищ полковник! Такого брючника сейчас трудно найти…»

– Да, да… Мы вместе шьили его экзцеленции фельдмаршалю галифье…

– Наверно, – дипломатично произнес Малкин. – Разве это сегодня имеет значение? Маршал умер, парадный мундир висит на вешалке в музее, белый конь пал…

– Имеет, имеет, – воспротивился Хагер, отстаивая свое невермахтовское прошлое. – Я вас раньше изкал, абер не нашьоль.

Чем больше он кивал, тем острее Малкин жалел себя, его и то далекое время, когда жизнь человека значила не больше, чем портновская иголка – сломал, выбросил и заменил другой.

– Отшень рад, отшень, – как заведенный повторял немец. – Сделайте одольшение, – обратился он вдруг к Эйдлину и пальцами изобразил щелк фотоаппарата. – Чик, чик, и вылетит птищька….

– К сожалению, я камеру оставил дома, – сказал Валерий.

– Там есть… отшень хоршьая камера… – успокоил его Ганс и ткнул в целлофановый мешочек. – Нашь презент…

Эйдлин извлек из мешочка новехонькую «Практику», попросил Хагера сесть рядом с Малкиным на скамейку и, когда Ганс подкрутил свои рыжие завитки, легко и радостно щелкнул.

– Вундербар! Перфект! – воскликнул Хагер. Восторг его был не натужным, не лицемерным, а неподдельным, но таким же неощутимо холодным, как сияние Большой Медведицы над головой.

Ицхак проводил Ганса и Эйдлина до Кафедральной площади. Пока они шли, он договорился с Хагером держать связь через музейщика, знавшего немецкий язык, – герр Валерий пришлет ему в Зул снимки. Обещал Малкин, правда, с оговорками, приехать и в Тюрингию, поохотиться с ним на… комаров и привезти оттуда в Вильнюс соломенную шляпу собственного плетения.

Возле колокольни они расстались.

Ганс Хагер помахал Ицхаку рукой, и взмах ее привел в движение и джип беркута Чингиза, и крохотный самолетик неразговорчивого Бородулина, и охотников в Главной ставке фронта; с лаем побежали гончие, из ягдташей взмыли в небо подстреленные тетерева, маршал Рокоссовский вышел из‑за массивного стола и шагнул на середину пустой залы, еще мгновение, и он доверит ему, портному, свой торс и дату парада на Красной площади.

Вся жизнь, раскрутившись как ярмарочная карусель, устремилась назад, в прошлое, в кукольный немецкий городок, как бы сложенный из рафинада, и Малкину по‑детски захотелось не слезать с нее – пусть вертится и вертится вокруг него, как земля вокруг солнца.

– Уже домой? – раздался за его спиной знакомый баритон, и Гирш Оленев‑Померанц бесцеремонно снял его с карусели.

– Что‑то зябко стало. Боюсь простыть.

– А я к тебе направился. В парк. Может, в кабак на часочек заглянем?

– Почему ты меня в эту вашу… как ее… филармонию не приглашаешь… А в кабак тащишь и тащишь.

– Почему, спрашиваешь? Отвечаю: в музыке разбираться надо, а в водке не обязательно… Зайдем – я угощаю. На Бернардинском саду свет клином не сошелся. Люди живут, пьют, танцуют, трахаются. Чем мы хуже? Чарли Чаплин в твоем возрасте детей делал, за красотками волочился.

– Ты еще праотца Авраама вспомни, чтобы меня в кабак завлечь.

– С тобой не сладишь. А жаль… Разговор у меня, как говорил вождь пролетариев всех стран, архиважный.

– Бог с тобой. Пошли!

Кафе литераторов пользовалось в городе не самой дурной славой.

Гирш Оленев‑Померанц выбрал столик у окна, царственным жестом подозвал скучающего официанта и заказал двести пятьдесят граммов водки, котлеты по‑киевски, черный кофе и мороженое.

– Что стряслось? – спросил Малкин, когда подавальщик скрылся.

– Ну как тебе кабак? – придвигая к себе пепельницу и вытаскивая любимое «Мальборо лайт», скороговоркой произнес флейтист.

– Я сегодня рассиживаться не намерен. Выкладывай.

– Года три тому назад тут было куда лучше… – Гирш Оленев‑Померанц размял сигарету, сунул в рот и принялся ее перекатывать от одной щеки к другой. – Раньше можно было курить. А сейчас за одну затяжку – штраф, чуть ли не бутылка коньяка…

– Котлеты придется подождать, – сказал официант, ставя на стол граненый графинчик с водкой.

– Что за страна? – возмутился флейтист. – Кроме водки, приходится ждать всего.

За долгие годы дружбы Малкин хорошо изучил повадки Гирша Оленева‑Померанца. Ты его хоть каленым железом пытай или осыпай золотом, ничего не выудишь, пока он не выпьет. Причем чем новость ценней, тем длительней выпивка.

Ицхак томился – ему претили и кухонный смрад, и хлопанье осипшими дверьми, и учтиво‑наглые взгляды официантов. Ничего не поделаешь, надо терпеть, Гирш Оленев‑Померанц «примет на грудь» и раскроет все дворцовые тайны.

В кафе было малолюдно. На возвышении траурно чернело пианино. Музыкантов еще не было – на аккуратно составленных стульях лежали не расчехленные инструменты.

Гирш Оленев‑Померанц налил себе и Малкину, поднял рюмку и сказал:

– Давай за Натана.

Малкин замер.

– Что с ним? – только и выдавил он.

Тост был неожиданный – Гирш Оленев‑Померанц вообще презирал тосты – они, по его мнению, только затягивали удовольствие. И вдруг – за Натана!..

– Ты можешь не играть со мной в прятки? – взмолился Малкин.

– Стаська! Здорово! Ты тут бацаешь? Вот новость! – увидев боксерского вида мужчину, вдруг воскликнул флейтист и подозвал его к столику. – Рюмочку расщелкаешь?

– Не могу, маэстро… Только после первого отделения…

– Испортился, дружок… А помнишь, как мы с тобой в Друскининкай денатурат хлестали?

Стаська ничего не ответил, поморщился и зашагал к пианино.

– Король сакса… Стаська Келиуотис… Обрюзг, растолстел… уже не король, а боров…

Малкину не было никакого дела до королей и до денатурата. Надо встать и немедленно позвонить Гутионтову. Флейтист если и поднимает рюмку, то не за ордена, не за звания, не за премии, а за помин души.

– По‑моему ты за Гутионтова ни разу не пил, – не желая ссориться, промолвил Ицхак.

– Со скучными не пью и за скучных не пью. Натан – человек хороший, но тусклый, как засиженная мухами лампа. Он один из тех, кого даже страдания не красят… Такие люди живут себе, поживают… Все у них, как в школьном задачнике: дом, работа, жена, пудель… Сгорел дом – катастрофа, ушла жена – конец света, околел пудель – трагедия.

Официант принес котлеты по‑киевски.

Малкин отодвинул тарелку и, понизив от волнения голос, осведомился:

– Так что же все‑таки стряслось? Катастрофа, конец света или трагедия?

– Конец света, – старательно обгладывая белую косточку, ответил Гирш Оленев‑Померанц.

– Нина ушла?

– Ушла, не ушла, но пока ее найти не могут.

– Неужели руки на себя наложила?

– Так уж сразу и руки… – Гирш Оленев‑Померанц взял салфетку и тщательно принялся вытирать подбородок, как будто на нем были не пятна жира, а что‑то другое, несмываемое и неудалимое – то ли следы его ночных гульбищ, то ли крохи незасыхающей, въевшейся в кожу глины из понарских рвов.

Водки в графинчике оставалось на самом донышке. Официант, следивший за тем, как она иссякает, услужливо вырос перед ними, но Ицхак не дал ему даже рот раскрыть:

– Счет, пожалуйста.

– Ну куда ты, непоседа, торопишься? Звонить Натану? Я ему раз пять звонил. Дома его нет. Не рыскать же нам с тобой по городу…

– Ты как хочешь, а я пошел. Возьму такси и поеду к нему.

– Погоди. Допью, расплачусь и составлю тебе компанию.

Они поймали такси и поехали на окраину Вильнюса. Натан Гутионтов жил на улице с загадочным названием – Танкистов. Ни одного танкиста там и в помине не было. Вблизи день и ночь грохотали поезда; в окрестностях, в хатах‑развалюхах, ютилась беднота – кочегары, машинисты, прицепщики, уборщики мусора, стрелочники, кондуктора. За пригорком, наискосок от дома Гутионтова, маячила тюрьма, исправительно‑трудовая колония, расположенная на территории храма, окруженного колючей проволокой и хиреющими деревьями, на которых по‑прежнему, как в старые, добрые времена, справляли заутреню и вечерю птицы, молившиеся с радостным неистовством.

Света в окнах Гутионтова не было. Гирш Оленев‑Померанц и Малкин вошли в слабо освещенный, вонький подъезд, поднялись по витой лестнице со сломанными перилами на третий этаж и по очереди принялись нажимать на шоколадную плитку звонка.

Никто не отзывался.

Постояв в горестном молчании у дверей, они спустились вниз и, поглядывая на слепые окна и ежась от пронзительной весенней прохлады, зашагали взад‑вперед по выбитому тротуару.

Ицхак уже жалел, что выпил только одну рюмку – не приведи господь, схватит воспаление легких, надолго сляжет, и это, когда у друга такая беда. Правда, надежда еще своим воробьиным клювиком склевывала наихудшие предположения. Может, все еще уладится, Нина передумает и вернется, а Натан поклянется, что никогда… ни при каких обстоятельствах без нее в Израиль не поедет, и, стало быть, нечего приносить себя в жертву.

Малкин вспомнил угрозы Нины уехать к родичам на Волгу, в Балахну. Что если сложила вещички и укатила? Мол, теперь каждый из них свободен и волен делать все что заблагорассудится.

– Знаешь, Ицхак, какая мысль мне пришла в голову? – выдохнул в ночь Гирш Оленев‑Померанц.

– Какая?

Опять он что‑нибудь выкинет! Опять чем‑нибудь удивит!

– Тебе не кажется, что все вокруг нас – тип‑топ гетто?

– Не понимаю.

– Ни души. Ни огонечка… Мертвая тишина… Только где‑то там, вдали, поезд на стыках грохочет… И патруль по тротуару подковами стучит… Слышишь?

– Ничего не слышу.

– А лай овчарки? Оттуда, где тюрьма…

– И лая не слышу…

– А я слышу… Вот‑вот они нас настигнут…

– Глупости, – рассердился Ицхак. – Бред сивой кобылы.

– Бред, говоришь, а почему у меня все поджилки трясутся?

– Недопил…

– Нет, нет… Просто страшно…

– Перестань!

– А вдруг и на сей раз побег не удастся… Из этого гетто, брат, убежать невозможно.

– Ты бы лучше о Натане подумал, чем глупостями заниматься, – пристыдил его Малкин. – В твои годы надо поменьше заказывать…

– Хочешь знать, почему невозможно? – не обиделся Гирш Оленев‑Померанц. – А потому, что страх – самое вместительное гетто на свете… Тебе не кажется, Ицхак, что всю жизнь мы только и делаем, что от одного страха бежим к другому…

Надвигалась ночь.

Бедняга Натан, наверно, мечется, рыскает на своей культяпке по городу, набережные обходит, мосты, парки.

– Взял бы в жены еврейку, глядишь, беды и не было бы, – прогудел продрогший Гирш Оленев‑Померанц.

– А что – еврейки из дому не сбегают? Не кончают с собой?

– Сбегают и руки на себя накладывают. Но прежде чем покончить с собой, они петлю на муже затягивают. Может, Господь и покарал нас… меня… Натана… за наше отступничество… за то, что заветам предков изменили… – Он отдышался и тихо промолвил: – Ну да… Ему легко карать. Ведь Он – холостой.

– Шаги! – вскрикнул Малкин и весь напрягся.

Оба прислушались. В иссиня‑черной тишине, густой, как волосы, послышался стук деревяшки.

– Он, – обрадовался Гирш Оленев‑Померанц. – Точно… У меня абсолютный слух… даже на деревяшки…

– Один?

– Один.

Абсолютный слух не обманул флейтиста.

– Парочка – гусь да гагарочка… И давно вы тут сумерничаете? – спросил Гутионтов. Голос его звучал хрипло, как после болезни; он то и дело откашливался, но то был не кашель, а, скорее, нервный, зарождавшийся где‑то в недрах клик. – Пошли ко мне греться.

И двинулся к дому, припадая на деревяшку и все время оглядываясь: а вдруг из темноты, населенной его отчаянием и надеждами, вынырнет строптивица Нина, подойдет к ним и попросит прошения за свою глупую самоотверженность, чуть ли не стоившую ему, Натану, жизни.

– Объявлен розыск, – прохрипел он, вешая в прихожей на гвоздь пальто и осыпая ласками бросившегося к нему пуделя.

– Она что‑нибудь оставила? – краснея, осведомился Малкин.

– Нет. Пошла в парикмахерскую прическу делать ко дню рождения и исчезла. Люда, ее парикмахерша, говорит, что она была весела, шутила, анекдот про Горбачева рассказала. Не было ни гроша, да вдруг такой алтын, – как всегда, оперся на неуместную поговорку бедняга.

– Поверьте моему слову, – загорелся Гирш Оленев‑Померанц, – все кончится, как в голливудских фильмах: герои покочуют, покочуют, потом поплачут, поплачут и бросятся друг другу в объятия.

Обнадежил Гутионтова и Малкин. Он готов биться об заклад, что Нина через день‑два вернется. Таких мужей, как Натан, на старости лет не бросают.

Гутионтов страдальчески улыбался – изголодавшийся за день пудель ластился к нему, виляя хвостиком, просил есть, и Натан бросился его кормить, расчесывать мягкий каракуль.

Ицхак на всякий случай проверил, работает ли телефон, а Гирш Оленев‑Померанц, предвкушая выпивку, сел за стол, накрытый немаркой скатертью, присланной Ларисой из Израиля к юбилею матери.

Парикмахер откупорил бутылку украинской «Горилки», молча разлил по серебряным рюмкам и первый залпом выпил.

До самого рассвета сидели они, не пьянея, не мучая друг друга вопросами, глядя друг на друга исподлобья, засыпая на минутку коротким заячьим сном. Казалось, ни Гутионтов, ни Гирш Оленев‑Померанц, ни Малкин никогда между собой не говорили, словно были от рождения глухонемые – речь заменили тревожно‑понимающий взгляд, неожиданный, освободительный вздох, излом брови, застенчивость жеста. В этом молчании, в этом переглядывании, в этих наплывах сна, в подбадривающих вздохах и скупых жестах было что‑то от нерастраченной нежности, невесть для кого припасенной и оставшейся невостребованной, от незатейливого, но избыточного сострадания друг к другу.

То была неповторимая, нечаянная ночь, поразившая их своей неброской, как слог, слитностью, незримой спаянностью – может статься, у них такой ночи никогда и ни с кем не было, даже с женами и детьми, даже в вольной молодости, ибо молодость размашиста и беспамятлива, а старость жертвенна и почти лишена алчности – что ей лишний рассвет, лишний год, лишняя копейка?

– Билет у меня уже в кармане, – под утро объявил Гутионтов.

– Далеко ли собрался? – попытался шуткой снизить напряженность Гирш Оленев‑Померанц.

– Она либо у Зорькиных в Балахне, либо у Ковшовых в Горьком, либо у Карныгиных под Иркутском.

– Под Иркутском? – как спросонья, повторил Малкин. Куда ему одному в такую дорогу? Здоровяк, и тот ее не осилит. Но если уж Натан вылез из окопа, его обратно ни за что не затолкнешь, никакой обстрел его не остановит.

– Под Иркутском в монастыре ее сестра… Евдокия… Но пока билет у меня до Балахны.

– Вальс! Дамы приглашают кавалеров!..

Треск радиолы, шарканье ног, пот, шепотки, ситцевая поляна, мелькание серёг, гимнастерки, кирзовые сапоги, «Сталин под Царицыном», молодой, черноволосый, вдохновенный. Клуб машиностроителей заполнен до отказа. Сегодня – танцы.

Ицхак стоит в углу и ждет, когда кто‑нибудь подбежит к нему с ситцевой поляны, осторожно взяв за кончики пальцев, выведет на середину зала и низвергнет в водоворот пар.

Но – эко невезенье! – то ли он забрался на задворки, то ли из‑за широких спин однополчан его не видно, то ли он не заслуживает такой чести – никто не приглашает. А, может, Эстер грозит пальчиком, когда ему удается переглянуться с какой‑нибудь чертовочкой. Только привяжется к русоволосой прелестнице взглядом, как тут же доносится голос Эстер: не смей с чужими красотками якшаться, за плечи их обнимать, глазки им строить.

Пока только они двое не танцуют – Ицхак и Сталин. Но Сталин – это понятно, ему не до вальса и не до фокстрота, отец всех народов о наступлении немцев думает.

Танцевальный вечер до девяти. А время бежит быстро – вихри вальсов и фокстротов уносят его, как ветер пух с одуванчика; скоро и в казарму возвращаться.

– Можно вас? – слышит Ицхак тоненький дискант.

Перед ним – круглолицая, с тонкими косичками, с вплетенными в них бантами девчонка – может, еще школьница. Смотрит на него испуганными, немигающими глазами. Ицхак растерян, шмыгает носом, медлит. Наконец делает решительный шаг вперед, кладет даме руку на талию и бездумно, безоглядно бросается в эти теплые, эти ласковые «Амурские волны», которые гулко плещут о кирпичные стены, громоздятся одна на другую, растут, поднимаются в высь и, разбившись, как о волнорез, о лепной потолок, с упоительной яростью заливают пол.

– Меня зовут Вера. А вас?

Девчонка не из робких. Она преподносит ему свое имя, как подарок, и доверчиво ждет отдарка.

– Ицхак.

– Очень приятно. Такого имени я еще не слыхала.

Вера улыбается, скалит свои белые, словно на подбор, зубы, Ицхак улыбается в ответ, только Сталин хмурится и ревниво следит за ними, за их движениями, за их улыбками, за их губами.

Издали Малкину машет рукой Натан Гутионтов, поздравляет с победой, и они кружатся, кружатся, кружатся до изнеможения, до упаду.

– Вы грузин? – запыхавшись, допытывается Вера.

– Нет.

– Армянин? – Вера отбрасывает за спину непослушные косички с бантами. Глаза пылают, щеки горят. Она прижимается к Ицхаку своим худеньким тельцем, и ласковость «Амурских волн», тепло битком набитого зала и нежность этой неутомимой козявки вливаются в смятенную душу чужестранца.

– Я знаю – осетин! – шепчет она, готовая, кажется, до зари отгадывать эту головоломку. – К папе на стройку приезжал один осетин из Нальчика… Похожий на вас… Красивый… С большим носом, как рог для вина…

И заливается звонким, простодушным смехом, хохочет и клонит свою голову ему на грудь.

«Красивый» – эхом отдается в ушах Ицхака.

– Я – еврей.

– Еврей? Как интересно! – восхищается она. – А где они живут?

– Везде.

– Как интересно! В классе у нас ни одного не было… И на заводе тоже нет.

– Я плохо говорю по‑русски, – пытается спастись от ее расспросов Ицхак.

– Кавалеры меняют дам! – перекрикивает «Амурские волны» чей‑то зычный бас.

Вера искательно смотрит на Ицхака, в глазах у нее мольба и ожидание, и он не отпускает ее от себя, и вот уже их накрывает бархатным, звездным пологом южно‑американская ночь, и «Аргентинское танго» вдруг смывает всё на свете – и Эстер, и Литву, и войну, и Россию…

Всё, кроме Сталина в царицынской степи.

– Дамы меняют кавалеров!

И под звездами Аргентины внезапно вырастает белолицая, пухленькая соперница, отрывает Веру от Ицхака, кладет ему на шею свою тяжелую руку, закатывает глаза и, суча дубовыми ножками, начинает кружить на одном месте.

– Роза.

Ее не смущает его молчание. Она топает и сладострастно подпевает не то Козину, не то Лещенко.

Ицхак ищет в толпе тонкие косички с бантами, но видит перед собой не Веру, а разрумянившуюся, чем‑то напоминающую самовар Розу, ее полураскрытые, чувственные губы, пышки щек.

– Дамы меняют кавалеров.

– Кавалеры меняют дам.

Господи, как много с тех пор менялось! Менялись гимны и молитвы, менялись имена (Натан – Николай, Гирш – Григорий, Ицхак – Игорь, Зелик – Зорий), менялись вожди и лакеи, власти и присяги, вероисповедания и столицы, мужья и жены, месторасположение армий и народов, палачи и жертвы.

И все это выпало на их долю – Ицхака и Натана Гутионтова, Моше Гершензона и Гирша Оленева‑Померанца, Эстер и Веры… Мир‑меняла обчистил их до нитки, обменяв их молодость на окопную сырость, тюремную решетку, вынужденное затворничество и вдовство.

Назавтра Малкин проводил Натана в Москву – оттуда Гутионтов полетит в Горький.

– Не люблю, когда до последней минуты провожают. Баба с возу – кобыле легче, – сказал на перроне парикмахер. – Иди домой.

– Ну если тебе так хочется, – сглотнул обиду Малкин.

– Как мне хочется – не получается, к сожалению.

– Привет Балахне… Казарме… Ну и «Амурским волнам». Сходите с Ниной в клуб машиностроителей.

– Если найду ее. Как говорят, либо пан, либо пропал.

– Найдешь, найдешь…

– Ко всем моим бедам мне только танцев на культе не хватает.

– Что ни говори, а мы с тобой тогда по‑своему были счастливы. Может, счастливей, чем за все минувшие полвека.

– Ничего себе счастье! Без родины, без дома, в полном неведении, что будет с нами, с нашими близкими.

– А родина что нам дала? Что мы, вернувшись, узнали‑разведали? Что мы отравители в белых халатах… шпионы… Что во всем виноваты… Если хорошенько подумать, то еще неизвестно, спасла ли нас победа или доконала?

– Меня не доконала. До вчерашнего дня я был счастлив.

– Граждане пассажиры! Скорый поезд Вильнюс – Москва отправляется с первой платформы первого пути.

– Иди, – потребовал Гутионтов.

– Провожающих просим…

Ицхак подхватил чемодан и вслед за Гутионтовым метнулся в вагон.

– Снова на фронт еду… – сказал Натан. – Но теперь если что и потеряю, то не ногу. Снявши голову, по волосам не плачут…

Поезд тронулся, Малкин заметался, парикмахер вонзил беспомощный, щенячий взгляд в друга, но колеса крутились все быстрей и быстрей.

– Старый человек, а хулиганите, – мрачно бросила проводница.

– Я сойду… я на первой же остановке сойду, – виновато зачастил Ицхак.

Его ссадили недалеко от Вильнюса – в Новой Вилейке. Совместного пути хватило только для того, чтобы условиться с Натаном о связи – тот звонит Малкину в Вильнюс каждую среду, а Малкин ему в Горький каждую субботу.

Оставшись наедине с туго завязанными узелками забот, Ицхак долго и бесцельно бродил по пригороду, утопавшему в садах и в простонародной польской речи. Он корил себя, что не предложил Натану поехать вместе – на первой большой станции купил бы билет и отправился бы с ним в Балахну. Надо же ему, домоседу, хоть разок куда‑нибудь махнуть – ведь он дальше Белоруссии никуда и не выезжал.

Всегда хорошо искать вместе, думал Малкин. Он завидовал Натану; ему, Ицхаку, некого и нечего было искать. Все, что навеки потерял, нашел, а все, что нашел, навеки потерял.

Пустота, пустота. Обволакивающая, обступающая со всех сторон.

Завидовал он и Гиршу Оленеву‑Померанцу и даже Моше Гершензону. Все они, кроме него, проявляли похвальную настойчивость в достижении своей цели – первый отчаянно сражался за то, чтобы лечь рядом со своими убитыми родственниками, другой чуть ли не костьми ложился, чтобы вырваться из этого свинского загона на волю, пусть воображаемую, мнимую.

А что он, Ицхак? Целыми днями в Бернардинском саду землю утрамбовывал, карнавалы воспоминаний со старыми евреями устраивал. Как же ему не завидовать им – да что им, ледащим воробьям под скамейками, тихо шелестящей липе.

Кому нужен его шелест? В чем смысл его чириканья? Должен ли он, маленький, неприметный человек, быть иным, чем мир, в котором он живет, и чем время, которое ему против воли навязали?

Может, не стоит морочить себе голову и вылущивать из половы событий смысл? Большинство людей на свете не терзается такими вопросами.

Но если смысла нет, если зря течет река, шумит липа, чирикает воробей, если рождения и убийства – одинаковый вздор, сменяемый в каждом поколении таким же вздором, то какая разница между человеком, маленьким ли, великим ли, и лесным волком, для которого логово, корм, самка и есть величайший смысл?

У него, Ицхака, есть приличное логово и в корме нужды нет. И самка – Господи, прости и помилуй! – была.

И что?

Все, что он делал, чем, наверно, мог гордиться, износилось, истрепалось, расползлось по швам. Может, смысл – не в умножении, а в непрерывном вычитании?

Можно ли еще что‑то из его жизни вычесть?

Домой он вернулся поздно. Свет на лестничной площадке не горел, и Ицхак долго вертел ключом в замочной скважине, пока дверь не открылась. Скрип ее заглушил звонок телефона.

– Квартира Малкина слушает… Ты что, позже не мог?.. Ну совсем у тебя совести нет… Ну? Какой еще, к черту, воскресник? A‑а… Это меняет дело… Как добираться будем? Богач! А кроме нас? Никто… Мне все равно нечего делать.

Ицхак положил трубку, и тоска когтем впилась в сердце. Боже праведный, только вдвоем остались – он и Гирш Оленев‑Померанц. Как в белорусской пуще.

Ау, подполковник Савелий Зельцер!

Ау, сапожник Абба Гольдин!

Ау, ненужные евреи и христиане! Принимаем всех! Приходите!

В пору уже и себя окликнуть, как без вести пропавшего. Ицхака захлестнуло предощущение чего‑то неотвратимого. Но то была не боязнь смерти – еще на войне Малкин приметил, что чем больше ее боишься, тем она вероятнее. Может, впервые на своем долгом веку он почувствовал, как темнота поглощает все его существо, часть за частью, член за членом, которые откалываются от него, как льдины от припая, и с этим неосязаемым, безболезненным поглощением Ицхак не был в состоянии бороться. Зажигай свет, не зажигай – ничего не изменится. До других не докричаться, не достучаться, не дотянуться!..

В Понарах бесчинствовала весна – талые воды уносили сор, хвою и жухлые листья. Распоясавшись, пели птицы, и от их пения дрожал воздух. Кое‑где из‑под земли пробивалась первая травка, еще скромница, еще не сорви‑голова.

Гирш Оленев‑Померанц был в своей рабочей одежде – в синем кладбищенском комбинезоне с накладными карманами и в картузе с загнутым козырьком.

У ног его стояло небольшое эмалированное ведерко с разведенной известью. Флейтист старательно макал в него кисточкой и выводил на деревцах, посаженных им в прошлом году, аккуратные белые кольца.

– Лучшее средство от вредителей – пояснил он. – От всяких жучков и козявок.

– Рано белишь, – произнес несведущий в садоводстве Малкин. – Дай им подрасти.

– Не рано, – возразил флейтист. – Ты только посмотри, как подрос мой старший брат Файвуш… Как вытянулась моя сестра Хава. Мы с ней близнецами были…

– Ага, – умерял своим соглашательством боль Гирша‑Оленева Померанца благоразумный Малкин.

– Солнца маловато, – жаловался тот.

– Солнца тут поровну, – промолвил Ицхак. Он изнывал от безделья и никак не мог взять в толк, зачем он понадобился своему другу – то ли он позвал его на смотрины, то ли на толоку.

– Мама меня беспокоит, – прошептал Гирш Оленев‑Померанц. – По‑моему, она скоро совсем зачахнет. Надо было посадить ее поближе к дорожке, где намного светлей, а не тут, в тени.

– Родители на старости всегда в тени, – сострил Малкин.

– Может быть. Но мама состариться не успела… Ей было только сорок восемь…

Гирш Оленев‑Померанц закончил побелку, схватил ведерко, затопал к железнодорожному полотну, зачерпнул в воронке дождевую воду, притащил к своему семейству и стал медленно поливать каждое деревце.

– Когда я сюда прихожу, то говорю себе: «Гирш, постарайся прожить еще десяток‑другой, чтобы они, – он благословил взглядом свое семейство, – выросли в три обхвата. – Но стоит мне отсюда уйти, сесть в автобус, как на меня нападает такая хандра, такая тощища. Гирш, говорю я себе, трясясь и глядя в окно, зачем ты высадил деревца там, где их корни переплетаются с волосами твоей матери, твоих сестер? Там, где злодеи на веки вечные обесчестили саму землю, где каждая пядь жжет стопу и вопиет о несправедливости.

– Тем не менее ты их все‑таки высадил. Почему?

– Почему? А чтобы своими листьями шелестели и оплакивали себя и эту землю… Не пора ли нам с тобой червячка заморить?

С ним всегда так, беззлобно подумал Малкин. В середине самого серьезного разговора может такое спороть, что уши вянут. Гиршу Оленеву‑Померанцу ничего не стоит перейти от задумчивости к беспечности, от уныния к беспричинному веселью.

Флейтист расстелил на земле большой клеенчатый лоскут, предназначенный, по‑видимому, для трапезы на лоне природы, и стал выкладывать снедь: булочки с тонко нарезанными ломтями ветчины, бутерброды с сыром, термос с кипятком, пакетики с фруктовым чаем, консервную баночку, набитую вареными бобами – любимой пищей Гирша Оленева‑Померанца и две бутылки жигулевского пива.

– Ешь, – скомандовал он, вытер о мокрую прошлогоднюю траву руки и принялся уминать ветчину с бобами.

Взял булочку и Малкин.

– Знаешь, что я после отъезда Счастливчика Изи решил? – спросил он и сам себе ответил. – Я решил ухаживать за могилой Моше даром.

– Он тебя просил?

– Кто? Моше?

– Нет, Изя.

– Никто меня не просил. Сынок меня и знать‑то не знает. Да черт с ним. Приехал – уехал. Жаль только – бабу увез. Не баба, а соты, полные липового меда. Так и хочется: ам, ам… Где он только отхватил такую?

– Египтянка она, – невпопад вставил Ицхак.

– Арабка?

– Еврейка из Александрии.

– Мама миа! Что, Ицхак, ни говори, а лучшее, что наш Господь создал – это чужие жены.

Он подряд выпил обе бутылки пива, прополоскал последним глотком горло, сплюнул, бросил тару в мусорную урну, выгреб из консервной банки пригоршню бобов, раскрыл рот и стал ими бездумно обстреливать свое нёбо.

– Да, совсем забыл спросить, что с письмами сталось?

– Кажется, оставил.

– Кажется или оставил?

Последний из квартиры с саквояжем вышел он. Запер на ключ квартиру, и адью.

– А твой ключ?..

– Я ему отдал. Зачем мне ключ от чужой жизни?

– Не писал он их, негодяй… Ты что, не видел его на кладбище – ни одной слезинки над могилой отца не обронил. Пес шелудивый, и тот на похоронах хозяина плачет.

Все было выпито и съедено.

Гирш Оленев‑Померанц стряхнул с лоскута крошки, свернул его, сунул в авоську, спрятал в малиннике ведерко, снова вытер о прошлогоднюю траву руки, подошел к крайнему деревцу, погладил ствол, белое колечко.

– Маму я все‑таки пересажу. Пусть греется на солнышке. Она его и при жизни почти не видела: все у печки, все с пеленками, все с шитьем и латаньем… Одиннадцать душ на шее висели… – Он помолчал и еще раз погладил тоненький ствол. – Когда вырастет, я снова у нее на шее повисну. Выберу сук, и… повисну…

Автобус в Понары и обратно ходил редко, и поэтому они на остановку топали не спеша. Каждый втискивался мыслью в свой закуток, каждый льнул к своему деревцу, каждый гладил свой ствол.

– На родину собираюсь, – тихо сказал Ицхак. – Моше Гершензон обещал со всеми удобствами довезти, да наши дороги разминулись.

– Все разъезжаются, – пригорюнился Гирш Оленев‑Померанц. – Моше Гершензон, Лея Стависская, Натан Гутионтов. Он случайно не звонил?

– Звонил. В Горьком ее нет. Он решил отправиться в Иркутск. Там неподалеку в монастыре сестра Нины игуменьей служит. Натан просит немного денег прислать… на всякий случай…

– Бедный, бедный… Россия – громадна, а старость безнога и безденежна. Присылай, не присылай – кочевник из Натана никудышний. В чингисханы не годится… И вообще зачем еврею вся эта география?

Он закурил, смачно затянулся. Его крупно вырезанные, сладострастные ноздри раздулись, как у племенного рысака.

– Все разъезжаются, – повторил он, глядя с тревогой на Ицхака. – В детстве как‑то к нам в местечко цирк приезжал. На рыночной площади огромный шатер к небу взметнулся. Вокруг – вагончики с диковинными зверями – слоны, тигры, медведи, ученые собачки, лошадки‑пони, медведи. Вся малышня бегала к шатру и выстраивалась в длинную очередь у черного входа перед началом представления, чтобы хоть краем глаза чудо‑зверинец посмотреть. Билеты были не по карману. – Гирш Оленев‑Померанц вдруг дернулся, прервал рассказ, прислушался. – Это не наш гудит.

Вдали прогромыхал автобус.

– Так вот, – волнуясь, ухватился за обрывок тянущейся из детства нити, флейтист. – Пока музыка не стихала, и я, и мои братья, и мои дружки ни на шаг не отходили от шапито и ждали, когда зверей поведут обратно. Для счастливых обладателей билетов слоны отплясывали краковяк, тигры прыгали через горящие кольца, ученые собачки изображали хор гимназисток и пели a capella, фокусники вытряхивали из рукава разноцветные ленты, бусы, ожерелья. Мой старший брат Шая пустился на хитрость: в какой‑то вечер он явился с шилом и ножичком и прорезал в брезенте дырку. Как царь свою челядь, он подпускал каждого из нас к глазку только на одну минуточку… только на одну минуточку, и хотя этого было так мало, мы все были на седьмом небе от счастья… Ты, Ицхак, можешь спросить, зачем я своими россказнями дурю тебе голову?

– Что ты, интересно…

– Страшно, Ицхак, когда все разъезжаются сразу: и слоны, и тигры, и лошадки‑пони, и фокусники, и на рыночной площади остается только слоновье дерьмо и моча… Ах, если бы можно было сделать так, чтоб музыка не обрывалась внезапно, чтобы исчезновение происходило постепенно – сперва ученые собачки, пони, а потом слоны и тигры, медведи и наездницы с хлыстами, а напоследок фокусники в высоких блестящих шляпах! Какой смысл вырезать в брезенте дырку, за которой ничего нет… Не уезжай, Ицхак, прошу тебя…

– Ты так просишь, будто боишься, что не вернусь.

– Боюсь, боюсь. Честное слово. У меня был попугай. Вылетел в окно, прокричал «До свиданья, Гирррш!» и не вернулся.

– Да, но я не попугай…

Господи, как хочется захлопнуть все окна… чтобы мы еще… хотя бы чуточку вместе… полетали…

В глазах у Гирша Оленева‑Померанца тревоги было больше, чем зрения.

– Скоро полвека, как я там не был… – растроганно промолвил Малкин.

– Подумаешь, не был. Ну и что? Я в свой Слуцк ни разу не съездил. И не поеду.

– Тяжело, конечно, ездить на пепелища.

– Жизнь моя уехала оттуда, как цирк в детстве. Приезжала раз и уехала.

Пришел автобус. Кроме них, ни одного пассажира не было.

Натан Гутионтов больше не звонил, не тратился на звонки и Малкин. Пока парикмахер доберется до Иркутска, пока уговорит Нину, чтобы не постриглась в монахини, а вернулась в Вильнюс, пройдет не одна неделя. Нечего звонками тревожить и Ларису – там у них и так тревога по всей стране от Средиземного моря до Красного, и отбоя не предвидится.

Малкин сходил в сберкассу, заплатил за два месяца вперед за квартиру, проверил, не задолжал ли за газ и электричество, за воду и телефон, и в тот же день поездом Вильнюс‑Рига отправился к себе на родину.

До родины было недалеко, четыре часа езды, и духота в старом облупленном вагоне не успела его довести до полного изнурения. Прислонившись лбом к студеному оконному стеклу, словно Гирш Оленев‑Померанц в детстве к натянутому на высоких опорах брезенту, в котором его брат Шая прорезал чудодейственную дырку, Ицхак следил за бегущими вдоль железнодорожного полотна деревьями и, уподобляясь фокуснику, вытряхивал из рукава все, что было, и все, что будет.

Рукав был такой же ширины, как излучина Вилии, на которой – ни дать ни взять цыганский табор – гудело лавками, дымило пекарнями, искрилось, дышало кузнечными мехами, отсвечивало лудильными паяльниками и портновскими иглами, пахло сыромятными ремнями, звенело уздечками, перекатывалось из конца в конец бондарными обручами родное местечко.

Первой из рукава выползла разноцветная лента проселка.

Ицхак шагал по нему вольно и уверенно короткостриженный, в высоких армейских ботинках, изготовленных в Чехословакии, в тщательно выглаженной уланской униформе, насвистывая выученную в эскадроне бравурную песенку; солнце светило ему в затылок, пригревало его кудри, которые грачиной стаей чернели на голове; в солдатском ранце вместо маршальского жезла лежали подарки строгого командира (за примерную службу!) – блестящие шпоры и новехонькая уздечка. Он был первым евреем в местечке, которого так одарили, и его распирало от гордости.

Вслед за проселком из рукава вылетела стремительная, как ласточка, Эстер с пирогом на вытянутых руках, словно на свадебном подносе.

За Эстер, чуть не разорвав рукав, высыпали на проселок братья Айзик и Гилель, боявшиеся воинской службы, как огня, и тайно мечтавшие от нее укрыться за небоскребами в Америке.

За Айзиком и Гилелем из рукава, кряхтя, выбрались отец Довид и мать Рахель, благочинный рабби Мендель и его пушистый кот, сопровождавший своего хозяина и на амвон‑биму, и в нужник.

Кот трубно на всю округу мяукал.

До поры до времени в рукаве теснились мельник Мордехай Гольдштейн, лавочник Бениамин Пагирский и бургомистр Меделинскас, поспешивший поздравить на проселке Ицхака с успешным окончанием службы на благо отечества.

С проселка Ицхак свернул к синагоге. Там негде было яблоку упасть. Услужливый староста Шперлинг бросился к отслужившему улану и спешно заменил фуражку с государственным гербом на вышитую кипу.

Выскочивший из рукава Ганс Хагер, устроившийся на запястьи, как на дереве, щелкнул фотоаппаратом, и белая вспышка озарила не только передние ряды, где восседала вся местечковая знать, но и задние, где Счастливчик Изя чмокал в щеку свою египтянку Варду, Натан Гутионтов держал за руку, как за поводок, не постригшуюся в монахини Нину, Гирш Оленев‑Померанц тайком прикладывался к чекушке, нищие всей округи терпеливо дожидались подаяния (кто подаст, тот и Машиах).

Старательный немец из Тюрингии щелкал и щелкал, и дружелюбная улыбка светилась на его лице, как праздничная иллюминация. Он все снимал крупным планом – и родинки на лице Эстер, и призывно позвякивающие серьги Варды, и запеченную в мучную пудру лицо мельника Гольдштейна, и синий комбинезон Гирша Оленева‑Померанца, только‑только пересадившего свою маму из прохладной, невыгодной тени на выгодную солнечную сторону.

И вдруг все затянуло, засосало обратно в рукав. Только река, только коровы, пасшиеся на прибрежных лугах, только пчелы, залетевшие сюда словно из рая, только птицы, усыпавшие деревья, не подчинялись никакому колдовству, ибо сами были чудом.

Ицхак опустился на косогор и уставился на спокойное течение Вилии, и в один миг исчезло ощущение времени и возраста; прошлое, настоящее и будущее слились воедино, сочленились детство и старость, цветение и увядание.

До воды был один шаг.

Мальчик кувырком скатился на берег.

Его, как праотца, звали Ицхаком.

Худенькое, в пупырышках озноба тельце.

Лошадь у водопоя.

Брызги.

Фыркание.

Дядя Рахмиэль.

Голос бабушки:

– Ицхак, Ицхак! Куда ты, негодник, запропастился? Кугель стынет.

Стынет кугель, стынет лошадь, стынет безбрежное небо, стынет маленький счастливый человек – весь в листьях, как деревья, в трелях, как птицы, в жемчужных переливах, как вода.

Дядя Рахмиэль подводит к нему буланого.

Ицхак вытаскивает из ранца уздечку и шпоры.

Шпоры прикрепляет к босым, в цыпках, ногам.

– Скачи! – говорит Рахмиэль. – Скачи домой!

«Ицхак, скачи!» – слышит он вдруг голос с небес.

Всевышний.

– Не бойся… Я прорежу для тебя дыру в небе, как в брезенте, чтобы ты отныне видел все, чего не успел увидеть – и слонов, и тигров, и наездниц с хлыстами, и фокусников в высоких блестящих шляпах, сыплющееся из рукава золото, которое само себя сторожит, и жемчужные ожерелья, которые надевают только на праздники, и своих братьев Айзика и Гилеля, и Эстер, и самого себя… Скачи!

– Скачи домой, – спорит со Всевышним балагула. – Зачем тебе дыра в небе? Кугель стынет. Бабушка тебя заждалась.

Ицхак взбирается на лошадь.

Вонзает шпоры в ее бока.

Буланый срывается с места и, распугивая коровье стадо на лугу и пчел над лугом, залетевших из рая, пускается вскачь.

И небо смыкается над ними, и смыкаются кроны деревьев и вода Вилии.

Только земля зияет, раскрытая настежь, как дом, готовая в любую минуту принять и человека, и его лошадь, чтобы навсегда избавить их от бездомности.

Благословенная, проклятая, продолжающаяся из рода в род, из поколения в поколение, непрекращающаяся ни на миг скачка через парки евреев и христиан, через пустыни и пущи, через прерии и джунгли, через страны и континенты, из дома времени в дом вечности, ниоткуда в никуда.

*Кфар Саба – Торонто*

*1993–1996*

1. Свободу Литве! [↑](#footnote-ref-1)
2. Снег! Потрясающе! [↑](#footnote-ref-2)
3. Что он сказал? [↑](#footnote-ref-3)
4. Похороны завтра. [↑](#footnote-ref-4)
5. Спроси, Ицхак, еще раз о гостинице. [↑](#footnote-ref-5)
6. Не волнуйся. Все будет в порядке. [↑](#footnote-ref-6)